

ISBN 5-7027-0640-4



9 785702 706405 >



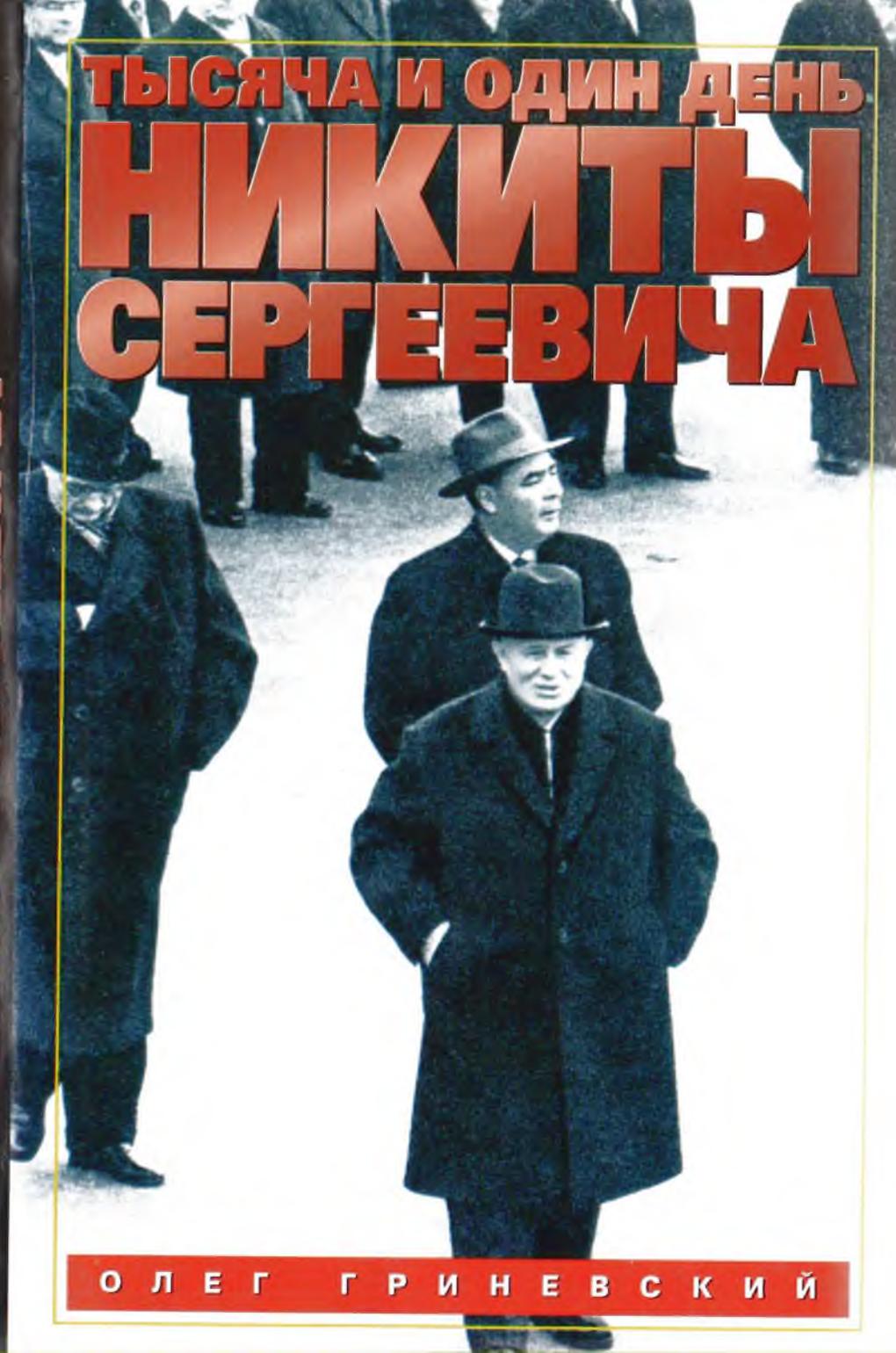
ВАГРИУС®

Олег Гриневский

ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ  
НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА



# ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА



О Л Е Г   Г Р И Н Е В С К И Й



**М**огли ли демократические преобразования в СССР, стартовавшие в 1985 году, начаться значительно раньше? Оказывается, могли. В конце 50-х годов, несмотря на жесткое противостояние в правящей команде, Хрущев, развенчав культ Сталина, взял курс на смягчение международной напряженности и серьезные реформы внутри страны.

**Р**оковыми для этих планов оказались 1961 и 1962 годы, когда излишняя подозрительность в отношениях Хрущева с президентом США Эйзенхауэром привела к срыву наметившейся разрядки и к новому витку «холодной войны», а затем и к отставке самого Хрущева.

**О**б этом и о многом другом, связанном с закулисными сторонами внешней и внутренней политики СССР, — книга видного советского дипломата Олега Гриневского.

**О**лег Гриневский увлекался физикой, но стал дипломатом. В МИДе новичка встретили неприветливо, и он решил податься в литераторы, начал писать повесть о том, как американцы делали атомную бомбу. Отрывок из нее, опубликованный в «Известиях», попал на глаза Хрущеву, и тот позвонил Громыко:

—Ты почему, Андрей, от меня таланта-щелкопера прячешь?

**С** тех пор Гриневский стал писать речи и памятки высшему боссу, ездить с ним по свету. Отсюда и книга про «дорогого Никиту Сергеевича».

**О**лег Гриневский занимал ответственные посты заведующего отделом стран Ближнего Востока, руководителя делегаций по выработке мер доверия и безопасности в Европе, по Договору о сокращении обычных вооружений в Европе, с 1991 по 1997 год был послом России в Швеции. Сейчас — профессор Стэнфордского университета в Калифорнии.

О Л Е Г Г Р И Н Е В С К И Й  
Т Ы С Я Ч А И О Д И Н Д Е Н Ъ  
Ц И К Л Ы  
С Е Р Г Е Е В И Ч А



**Вагриус®**



О Л Е Г   Г Р И Н Е В С К И Й  
**ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ  
НИКИТЫ  
СЕРГЕЕВИЧА**



Москва   Вагриус®   1998

**УДК 882-94**  
**ББК 84Р7**  
**Г 85**

*Охраняется законом РФ  
об авторском праве.  
Воспроизведение всей книги или  
любой ее части запрещается без  
письменного разрешения издателя.  
Любые попытки нарушения закона  
будут преследоваться в судебном  
порядке.*

**ISBN 5-7027-0493-2**

© Издательство «ВАГРИУС», 1998  
© О.Гриневский, автор, 1998  
© Студия «ДИЗАЙНБОКС»,  
оформление, 1998

*Памяти моих друзей-дипломатов,  
с кем вместе прошли через события,  
о которых рассказывает эта книга,  
но не доживших до сегодняшнего дня:  
Виктора Смолина, Ивана Чепрова,  
Владимира Баскакова, Владимира Жеребцова*

*Посвящаю...*



1 мая 1960 года. В спальне Хрущева в особняке на Воробьевых горах тревожно зазвонил телефон. Никита Сергеевич с трудом открыл глаза, бросил взгляд на часы — еще не было и семи, — недовольно пробурчал: «Кого это черт несет в такую рань?» День предстоял нелегкий: парад на Красной площади и другие праздничные хлопоты. Аппарат правительственной связи — в обиходе «вертушка» — продолжал настойчиво звонить. Хрущев поднял трубку:

— Да!

Хриплый голос на другом конце провода:

— Докладывает министр обороны маршал Советского Союза Малиновский. Американский разведывательный самолет пересек нашу границу с Афганистаном, вторгся в советское воздушное пространство и теперь летит по направлению к Свердловску.

— Вторгся? Так сбейте его. Любыми средствами!

Раздраженно бросив на рычаг трубку, Хрущев подошел к окну. Весенняя Москва лежала внизу, как на огромном блюде. Сквозь легкую дымку золотились купола Новодевичьего монастыря.

Этот умиротворяющий пейзаж никак не вязался с испорченным ранним звонком настроением. Сон как рукой сняло, в голове роились невеселые мысли. Хрущев спустился со второго этажа в огромный холл, обитый коричневыми, под орех, деревянными панелями, и вышел во двор.

Охранник в будке взял под козырек, нисколько не удивившись столь раннему появлению «хозяина». Хрущев кивнул ему и свернул на обсаженную молодыми березками аллею, это было его любимое место для вечерних прогулок. Еще в бытность свою секретарем Московского горкома партии он взял на заметку этот живописный уголок столицы, где сохранились сады старинного подмосковного села Воробьева, сюда в свое время Петр I наведывался к своим сестрам. Весной белым цветом покрывались вишни и яблони, разрывали душу своими трелями соловьи.

После смерти Сталина он велел построить здесь особняки для членов Политбюро. Себе выбрал особняк за номером 40, соседом справа стал Маленков. Но ненадолго, Хрущев выселил его оттуда, когда снял с поста Председателя Совета Министров. При воспоминании об этом по спине пробежал холодок: может быть, и ему самому уготована та же участь, он знал о глухом недовольстве его политикой, которое бродило и в армии, и в КГБ, и даже в среде самых близких соратников. Ему не могли простить доклада о культе личности Сталина, расколовшего партию, многие считали, что это ему понадобилось для собственного возвеличивания. Не простили и многого другого: посягательства на централизованное управление страной, что создавало угрозу самому принципу планового хозяйства; узурпации внешнеполитической деятельности, все, мол, здесь решает сам; непозволительного для большевика либерализма, который, говорили, привел к венгерскому восстанию; реабилитации антисоветчика Солженицына и уступок проклятому Сталиным югославскому ревизионисту Тито; отставки любимого в армии и народе маршала Жукова, с которым, утвердилось мнение, он поступил по-свински.

И конечно же — заигрывания с американцами, которым он якобы потакал в Кэмп-Дэвиде. Дух Кэмп-Дэвида, шептали, дурно пахнет. Хотя, видит Бог, он вел себя во время недавнего визита в Штаты как истинный марксист-ленинец. Но людям ведь рта не заткнешь, общественное мнение — вещь скользкая.

Хрущев очень любил власть, и ему очень не хотелось ее терять. А вместе с ней и этот полюбившийся ему особняк на Воробьевых горах, и многое, многое другое. Мысль вернулась к проклятому самолету, который уже не в первый раз безнаказанно вторгнулся в воздушное пространство СССР и даже однажды пролетел над самой Москвой. Это был мощный козырь в руках противников, которые обвиняли его в повороте империалистам.

Но это был и его козырь тоже; своим не очень богатым, но изощренным умом он понимал, что может использовать его против американцев, дать задний ход и этим обезоружить складывающуюся против него внутреннюю оппозицию, сохранить еще на какое-то время власть. И особняк, и многое другое.

Главное разыграть эту козырную карту первым.

...Остались позади заснеженные пики Гиндукуша, прорезанные темной лентой Хабберского перевала. Самолет черной птицей вошел в пухлое одеяло облаков, прикрывавших советскую землю. Первая цель разведки — осмотр Тюра-Там, позднее названного Байконуром, — отсюда запускались спутники и ракеты.

До сих пор все шло нормально, хотя полет откладывался со дня на день, над Россией стояла нелетная погода. На базе в Пешаваре, где ждал вылета У-2, уже начинали нервничать. Однако в ночь на 1 мая Фрэнсиса Гарри Пауэрса — бывшего пилота американских ВВС, а теперь наемного летчика ЦРУ — подняли из гамака и он наскоро позавтракал яичницей с беконом. Теперь ему предстояло поститься тринадцать часов — время перелета через территорию СССР в Норвегию, где его ждут.

Разрешение из Вашингтона на вылет поступило в 6 часов 27 минут по местному времени...

...В Соединенных Штатах была глубокая ночь, и президент Дуайт Эйзенхауэр спал в своей загородной резиденции, расположенной в горной долине на отрогах Аппалачских гор. В этом, 1960 году истекал второй срок его пребывания в Белом доме. Он вошел в него, окруженный ореолом полководца, по-

ставившего на колени Германию Гитлера. И хотел выйти из него, увенчанный лаврами миротворца, начавшего процесс разоружения и потепления международного климата. Скоро он должен отправиться с визитом в Москву, где закрепит вместе с Хрущевым договоренности, достигнутые в Кэмп-Дэвиде. Совесть его была спокойна, и сон крепок.

...Никита Сергеевич Хрущев с приемной дочерью Юлией ехал в это время на Красную площадь на Первомайский парад. За завтраком он ругал американцев, обещал показать Эйзенхауэру кузькину мать, но сейчас успокоился, всю дорогу молчал, уйдя в себя. Он уже принял решение. Визиту американского президента в Москву не быть. А жаль, еще совсем недавно все складывалось так удачно.

Мысли перенесли его в недавнее прошлое...

Август 1959 года, Южный берег Крыма. Синее бездонное небо. Море тихо катит свои зеленоватые волны. И огромный пляж, на котором ни души. Только письменный стол под парусиновым тентом. На столе несколько телефонных аппаратов: «вертушки», ВЧ, обыкновенные. А за столом, в плетеном кресле, маленький толстый человек в черных сатиновых до колен трусах, над которыми свисает неуклюжий живот.

Отсюда он руководит огромной страной. Звонят телефоны, спешат курьеры, летят самолеты. Из МИДа, ЦК, Министерства обороны везут справки, проекты речей, памятки к беседам. И при каждой из них специалист, который мог бы дать пояснение...

Но апогеем всего было появление на этом пустынном пляже двух ведущих советских дипломатов — министра иностранных дел Громыко и постоянного представителя СССР в ООН Соболева. Несмотря на несусветную жару, оба в черных официальных костюмах. Громыко нахлобучил еще темную фетровую шляпу, а Соболев вместо положенного галстука прицепил легкомысленную бабочку.

Гости садятся в пляжные кресла. Громыко закинул ногу на ногу, и из-под брюк выглянули голубые трикотажные кальсоны. Термометр показывал за тридцать градусов.

— Я позвал вас, товарищи, — торжественно начал Хрущев, — чтобы обсудить нашу линию поведения в Америке. Американцы жесткие люди, одним словом — бизнесмены. И понимают только один язык, когда им кулак показывают. Это они соображают и без перевода. Но и перегибать палку с ними нельзя — можно получить сдачу. Поэтому главное в наших отношениях с американцами — это найти правильное соотношение силовых приемов и политической гибкости. Нашу линию нужно вести твердо, но так, чтобы не вызвать войны.

— За многие тысячелетия, — глубокомысленно вставил Соболев, который в МИДе считался интеллектуалом, — человечество наработало несколько моделей политического поведения, которые позволяют предотвратить войну. Но большей частью государства стремились удержать воинственного соседа, создавая грозные контрсилы — будь то луки, стрелы или атомные бомбы, которые делали бы нападение бессмысленным и опасным... В общем, *Si vis pacem, para bellum*.

Хрущев удивленно посмотрел на него.

— Хочешь мира, готовься к войне, — хмуро подсказал Громыко. — Это не наша политика. Американской стратегии ядерного устрашения мы противопоставляем политику мира и предотвращения войны. Конечно, сдерживание путем создания могучих вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием, является важной составной частью нашей политики мира. Но только частью, причем не доминирующей. Главное — это политический курс, определенный ЦК КПСС, на консолидацию всех прогрессивных сил в мире и изоляцию американского агрессора, использование ленинской стратегии разжигания межимпериалистических противоречий...

— На такой политике мы с американцами каши не сварим, — засмеялся Хрущев. — Это для них так — семечки. Тут надо больше на военную мощь опираться и не забывать жестокого урока 1941 года... Не пойму вот только — одни говорят,

что Соединенные Штаты проводят в отношении нас политику «сдерживания», другие — что «устрашения». Есть ли здесь какая-то разница или же только пропагандистская трескотня?

— Американцы называют свою стратегию политикой «сдерживания», — сказал Соболев. — По-английски это «deterrence», и точный перевод этого термина — «сдерживание». Мы неправильно переводим его как «устрашение». «Сдерживание», в понимании американских политологов, означает создание такой военной структуры, которая удерживала бы Советский Союз от войны с США и их союзниками.

— Нет, — твердо сказал Громыко, — это не так. Задача сдерживания не в том, чтобы удержать Советский Союз от войны. В США знают, что на них никто нападать не собирается, — а сдерживать рост нашего влияния и могущества в мире. Есть у них секретный документ Комитета национальной безопасности за номером шестьдесят восемь. Там прямо говорится: «заставить» Советский Союз отказаться от политики, основанной на его идеологических концепциях, то есть от коммунизма! Да еще «посеять семена» разрушения внутри советской системы. И методы для этого обозначены: политические, экономические, подрывные, а не только наращивание вооружений. Так что это не просто сдерживание, как бы оно по-английски ни называлось, а самая настоящая агрессивная политика устрашения.

Хрушев прервал его:

— Что-то я не вижу по сути большой разницы между нашей политикой борьбы за мир и их политикой устрашения или — как ее там — сдерживания, если, конечно, отбросить пропагандистскую брехню. Есть две ведущие силы, которые определяют положение в мире. Это — США и СССР. Американцы после войны создали ядерное оружие и вроде бы взяли нас за горло. А мы создали такую мощную армию, которая в считанные дни освободит всю Европу, и, значит, тоже взяли их за

горло. Называй это как хочешь — «борьба за мир», «сдерживание», «устрашение» — один черт. Прежде чем начать войну, каждый теперь не семь, а сто раз отмерит. А тут мы еще свою атомную бомбу сделали и ракеты межконтинентальные построили. Можно сказать, американцев второй рукой за горло взяли. — Говоря это, Никита Сергеевич жестикулировал, показывая, как взяли мы американцев за горло, а живот его над черными трусами важно переваливался из стороны в сторону. — Так оно, конечно, сподручнее держать: и крепче и надежнее. Вот и результат есть. Во время Суэца как пригрозили, так англичане и французы сразу в штаны наложили, а американцы в стороне остались. И Венгрию нам простили, хотя и поскулили. А куда им было деваться? Не воевать же из-за нее. Теперь из Берлина их надо выдавить.

— Все бы хорошо, — продолжал Хрущев, — да вот только американцы одной рукой нас за горло держат, а другой работают, и неплохо у них это получается. Мы же их двумя руками за горло держим, а для работы рук не осталось. Дела в экономике не совсем ладно идут — очень много средств на вооружение тратим. Так и по миру пойти можно. Я думаю, одну руку придется снять. Ядерное и ракетное оружие вроде бы понадежнее — его и оставим, а армию потихонечку сокращать будем. Если, конечно, переговоры с Эйзенхауэром пойдут хорошо. Со временем, думаю, можно будет прекратить и производство атомного оружия. Может быть, даже в одностороннем порядке. Потому что ведь атомная бомба — это не огурец, который вырастил и скушал. Атомную бомбу сделал — она и лежит наготове.

Теперь Хрущев солировал, а дипломаты внимательно слушали и записывали, стараясь не пропустить ни единого слова из его откровений:

— В Америке надо будет жестко поставить вопрос о разоружении — может быть, прямо в ООН. Всеобщее и полное разоружение, роспуск всех армий, а оставить только милицию для охраны внут-

ренного порядка. Если мы будем разоружаться, то нужно решить вопрос о ликвидации военных баз. Нам трудно будет убедить наших людей, что можно сокращать армию, если останутся американские базы, которыми, как волк флажками, обложен Советский Союз.

Я думаю так повернуть разговор с Эйзенхауэром. Спрошу его: «Зачем вам эти базы?» Мы много думали об этом и пришли к выводу, что они нужны вам для того, чтобы истощить нас экономически. Вы, видимо, считаете, что, окружив нас базами, заставите держать большую армию и тратить много средств на вооружение, а это подорвет нашу экономику. Думаю, господин президент, что если это было заложено в основу вашей стратегической концепции, то она полностью несостоятельна...

Хрущев посмотрел на часы. Время приближалось к обеду.

— Пошли купаться.

Плавать он не умел — болтался у берега, либо в пробковом жилете, либо на надувной автомобильной шине. Причем пугался даже небольшого волнения. Но всем говорил, что это доктора запрещают ему много плавать, чтобы он не перегружал себя. Таким образом, он отплывал обычно метров на пятьдесят от берега — не больше. Но рядом на некотором отдалении неотступно следовала лодка с офицером КГБ, который к тому же постоянно поглядывал на часы — Никита Сергеевич точно соблюдал предписанное врачами время.

Полезли в воду, правда, без особого удовольствия и Громыко с Соболевым, но к Хрущеву не приближались. Никита Сергеевич как-то рассказал, что, когда купался в Крыму вместе с Жуковым и тот очень уж приблизился к нему, у него возникла мысль: «А почему это он так подплыл ко мне?»

Так что приглашенные купаться, зная об этом эпизоде, держались от Хрущева на расстоянии и оттуда вели умные разговоры.

Несколько дней после этой встречи Хрущев здесь же, на пляже, диктовал свои мысли машинистке,

но все как-то не получалось. То нагрянут отдохавшие неподалеку секретари обкомов, то неожиданно другие дела возникнут. А однажды начал было работать и только разошелся, как вдруг в грохоте камнепада к нему прямо на пляж почти по отвесной скале съехала женщина.

В этом месте узкая лента пляжа была отгорожена высокими горами. Там, наверху, пролегал «царская тропа». Ниже стояла охрана, да и спуститься по крутому обрыву было практически невозможно. И вот надо же, вниз по скалам скользит, лежа на спине, женщина. Ее нижние белые юбки развеваются, как флаги. При этом она громко кричит, но не от страха и боли — в ее крике явно звучат победные нотки, а в руке она держит какую-то бумагу. Боже, подумал один из охранников, что будет с ее спиной и пониже? Однако женщина бодро вскочила на ноги и кинулась было прямо к Хрущеву, но охрана тут же остановила ее. Никита Сергеевич, как был в своих черных до колен трусах, поднялся с кресла и шагнул навстречу женщине.

— Отпустите ее, — бросил он охране. — Что у вас случилось?

Женщина, то срываясь на крик, то давясь слезами, стала рассказывать, что приехала из Архангельска. Там она жила очень хорошо. В коммунальной квартире было три семьи, хотя и тесно, не ссорились. Однажды у одной из хозяек взорвался примус. От ожогов она умерла. Женщина была уверена, что взрыв специально устроила соседка, и подала на нее в суд. Но суд виновной соседку не признал, и тогда женщина начала ходить по инстанциям. Это стало целью ее жизни. От нее отмахивались, считая сумасшедшей, но она продолжала жаловаться. Приехала в Москву искать правду и стала пробиваться к нему, Хрущеву. Один раз ей даже удалось въехать в Кремль в машине-холодильнике с мясом, но охрана ее все-таки обнаружила и выставила вон. Прочитала в газете, что Хрущев отдыхает в Крыму, и тотчас же собралась

в Ялту. Разыскала его дачу, и вот теперь она здесь и просит помочь ей наказать мерзавку, убившую ее лучшую подругу.

Хрущев слушал не перебивая, потом взял письмо и сказал, что во всем разберется, а она пусть спокойно возвращается в Архангельск. Женщина смотрела на него как на Бога, и уехала со слезами на глазах.

Вот в таких условиях приходилось Хрущеву готовиться к предстоящей поездке в Америку.

Тем не менее 10 августа Хрущев все же надиктовал соображения к полученной от подчиненных памятке для своей беседы с Эйзенхауэром — так скромно именовались директивы для таких высоких руководителей, как советский премьер. Нельзя же, да и просто неприлично, было давать им указания. Вот и придумали умные чиновники такое хитрое словечко — памятка.

— Мне думается, — начал излагать свои мысли Никита Сергеевич, — что о подписании мирного договора с Германией договориться — с США невозможно. Это означало бы для них капитуляцию.

Эти слова, когда они дошли до МИДа, вызвали там настоящий шок. Конечно, многие понимали, что вся история с договором — пустая затея. Но услышать это от Хрущева, который с такой энергией и так горячо ее отстаивал...

Из всего сталинского наследия во внешней политике, безусловно, самой опасной была германская проблема. Еще в 1945 году на встрече в Потсдаме союзники по войне с Германией поделили ее на четыре оккупационные зоны и учредили четырехстороннее управление Берлином. Такую систему предполагалось сохранять до тех пор, пока они не договорятся о создании общегерманского государства и не заключат с ним мирного договора.

Однако «холодная война» внесла в этот план серьезные коррективы: в мае 1949 года три западные оккупационные зоны слились в новое государство — Федеративную Республику Германии. В ответ Сталин создал Германскую Демократическую Республику.

Для всех было очевидным, что разделение немецкой нации в самом центре Европы таит в себе страшную угрозу для мира. Особенно учитывая тот факт, что внутри ГДР остался Западный Берлин все под тем же четырехсторонним управлением. «Кость в горле» социалистической Германии, как называл его Хрущев; «заложник в руках у русских» — по определению Эйзенхауэра.

И вот теперь, десять лет спустя, каждый из них мыслил решить германскую проблему по-своему. Американцы настаивали на воссоединении страны на основе «свободных выборов», отдавая себе отчет, что в воссоединенной Германии более развитая и сытая ФРГ проглотит ГДР.

Понимал это и Хрущев и потому предлагал заключить мирный договор с обоими государствами, узаконив таким образом, по существу, разделение Германии, а Берлину дать статус «вольного города». Что, разумеется, было вряд ли приемлемо для американцев. И Хрущев это сознавал, а потому считал, что лучше всего оставить все как есть и использовать германскую проблему, особенно же положение Берлина, как постоянный рычаг давления на Соединенные Штаты. «Берлин, — говорил он, — это яйца Запада, которые у меня в кулаке. Сожму — и Запад орет, разожму — улыбается». В конце 1958 года он «сжал», изложив советские предложения Западу в виде настоящего ультиматума.

Сейчас, на пляже в Крыму, Хрущев надиктовывал план своей предстоящей тактики во время визита в США и тезисы своей беседы с президентом Эйзенхауэром.

— Думаю, — диктовал он, — вы, господин президент, должны согласиться, что в силу логики вещей мирный договор с Германией должен быть подписан. Я уверен, что вы согласны с этим, но опасаетесь принять такое решение, считая, что...

И так далее. Я не буду с самого начала утомлять своего читателя деталями всех перипетий тогдашних международных проблем; специалистам они

хорошо известны, а широкой публике малоинтересны. Думаю, гораздо увлекательнее и объемнее описываемый мной период будет выглядеть при знакомстве с характеристиками, психологическими портретами и помыслами людей, вершивших в те годы большую политику. Именно такую цель я и ставил перед собой, берясь за рассказ о событиях, свидетелем и участником которых мне, в то время совсем молодому дипломату, довелось стать.

Эта книга охватывает период длиной в тысячу дней с хвостиком. А поскольку мне после окончания Института международных отношений довелось работать в высотном здании Министерства иностранных дел в комнате под номером 1001, я не удержался от соблазна назвать ее так, как назвал: «Тысяча и один день Никиты Сергеевича».

Но не только поэтому. Думаю, что читатель, прочтя эту книгу, согласится: события, описываемые в ней, по увлекательности не уступают рассказам знаменитой Шахразады.

## В БЕЛОМ ДОМЕ

В Вашингтоне тоже готовились к предстоящему саммиту. Эйзенхауэр говорил, что «ломает голову, как бы придумать такую штуку, которая не выглядит как уступка, но на ум ничего не приходит».

Как и Хрущев, президент начал с оценки стратегической ситуации. Советский премьер, вспоминал он, не раз поднимал вопрос о ракетах средней дальности, размещенных вблизи границ Советского Союза, — РСД, как они именовались на военном жаргоне. Но если мы ожидаем прорыва в создании более совершенных ракет межконтинентальной дальности, рассуждал президент, почему бы не отказаться от планов размещения средних ракет? Их военное значение, считал он, невелико. Скорее, можно говорить об их политической или психологической роли. На ближайшую перспективу намечалось размещение этих ракет в Греции. Но что это даст? Если посмотреть на карту — она так мала и уязвима.

17 июня президент вызвал министра обороны Маккелроя и заместителя госсекретаря Диллона. Обсуждался вопрос о его встрече с Хрущевым. Эйзенхауэр сказал:

— Есть все основания для размещения РСД в Англии, Германии и Франции. Другая ситуация с флангами и выдвинутыми вперед районами, такими, как Греция. Размещение там этих ракет —

дело проблематичное. Как вы думаете, что мы должны сделать, если Куба или Мексика начали бы вдруг склоняться к коммунизму, а Советский Союз послал туда свое оружие и снаряжение? В этом случае нам пришлось бы вмешаться, причем если бы понадобилось, то и военным путем.

И потом задал неожиданный вопрос своим собеседникам:

— А если Хрущеву сказать, что мы не будем размещать РСД в Греции, и посмотрим, что он захочет сделать со своей стороны для улучшения положения?

Но военные и дипломаты упорно возражали. Маккелрой заявил:

— С территории Греции можно нанести удар по многим целям, которые недосыгаемы для ракет ТОР, размещенных в Англии. Поэтому она должна стать частью ракетного кольца, которым мы надеемся окружить Советский Союз.

Диллон заходил с другой стороны:

— Хрущеву ни в коем случае нельзя показать, что США уступают под давлением его угроз. К тому же в НАТО возникнут серьезные проблемы, если мы будем относиться к Греции и Турции иначе, чем к другим союзникам.

После долгих споров Эйзенхауэр, как всегда, занял половинчатую позицию: размещение ракет в Греции следует отложить, но этот шаг не должен быть связан с советскими угрозами. Проблему РСД решено было вообще не включать в число возможных уступок Хрущеву.

Перебирая одну проблему за другой, президент приходил к выводу, что Берлин является, по сути дела, единственным вопросом, где можно поискать точки соприкосновения с русскими. Как и прежде, он считал образование Западного Берлина серьезным просчетом. Месяц спустя после Кэмп-Дэвида он скажет: «Западный мир сделал ошибку в 1944 — 1945 годах и должен сейчас найти способ, как заплатить за нее». Поэтому ему импонировали разного рода идеи с образованием «свобод-

ного города Берлина» под эгидой ООН и гарантированным доступом к нему.

— Русские считают нашу позицию по Берлину нелогичной. Мы признаем это, но не откажемся от наших прав и обязательств до тех пор, пока нами не будет найдено способа, как сделать это.

Если брать советскую и американскую позиции не в том виде, как о них заявлялось публично, а как их обсуждали в Крыму и в Вашингтоне, то пропасть между ними была не столь уж велика, и дипломаты могли бы перебросить через нее мостик. Вот только удастся ли это сделать и как?

## «СТАРЫЙ ХРЕН»

Казалось, как хорошо просчитал Хрущев решение германского вопроса к предстоящей встрече в верхах. Главное — признание двух германских государств. Кто станет возражать против этого? Англия? Франция? Да они так «обожают» немцев, что с радостью пойдут и на три, и на четыре германских государства. В частных беседах они этого и не скрывают. Недавняя женеvская встреча министров показала, что есть основания для такого решения. Надо только вести дело постепенно, шаг за шагом. Начать с вывода войск из Западного Берлина, пусть даже символического, а завершить все дело подписанием мирного договора с ГДР и ФРГ.

Хрущев был доволен. Пожалуй, впервые поверил, что дипломатия на что-то годится. Поэтому, широко улыбаясь, сказал Громыко и его команде: «Молодцы!» Но тут же забеспокоился:

— А что этот старый хрен? Он не испортит нам обедни?

Все поняли, что Хрущев имеет в виду канцлера ФРГ Аденауэра.

В том, 1959 году Конраду Аденауэру исполнилось 83. Но, казалось, своих лет он не замечает. Один из его старых друзей, который, кстати, был на четыре года моложе, стал как-то жаловаться, что они стары и им пора на покой. Аденауэр ничего не ответил, но позвонил его жене и спросил:

— Что случилось с вашим мужем? Я боюсь за него: он что, болен?

Это был худой высокий старик, аккуратный и педантичный, сверхпедантичный, как однажды отозвался о нем Громыко. Выглядел он величаво, хотя и старомодно, — всегда в темном костюме, жилетке и тщательно повязанном галстуке. Широкое скуластое лицо, изборозженное глубокими морщинами, обрамляла короткая «прусская» стрижка — так гигиеничнее. Однако выдающиеся скулы и чуть раскосые пронизательные глаза придавали ему монгольский облик. Как-то Хрущев, рассматривая его фотографию, спросил:

— Он что, татарин?

Этот вопрос поверг хрущевское окружение в смятение, и помощники срочно переадресовали его КГБ и МИДу. Те, посоветовавшись между собой, доложили, что Аденауэр чистокровный немец. В 1917 году он попал в автомобильную катастрофу и у него была сломана челюсть, которая неправильно срослась. Отсюда и этот монгольский облик.

Но Хрущев продолжал свой допрос. Его не удовлетворяли обычные характеристики, которые готовили эти ведомства на лидеров иностранных государств, где в основном перечислялись посты, которые те занимали в различные годы своей жизни. Хрущева интересовали детали поведения — по ним он пытался представить облик человека, с которым имеет дело.

Ему доложили, что Аденауэр встает рано, много работает — порой 18—20 часов в сутки — и во всем требует порядка и дисциплины. В общении вежлив и точен, но умеет держать людей на расстоянии.

В общем, из этих реляций Аденауэр мог бы показаться занудой, если бы не глубокое чувство юмора и пронии, которое бывает обычно у людей умных и пронизательных. Его шутки порой доставляли ему немало неприятностей. Так, пруссаков, неприязнь к которым никогда не скрывал, он назвал славянами, которые не помнят своих предков. Был шум, но обошлось. Однако, когда Аденауэр сказал, что немцы — это те же бельгийцы, только буруемые чувством мегаломании, разразился настоящий скандал, и ему пришлось извиняться.

Вот такой «старый хрен» уже десять лет твердо держал

в своих руках руль западногерманской политики. Он, и только он, принимал решения в правительстве. Правда, в экономику не вмешивался — там чудеса творил Эрхардт. Немецкие дипломаты на женевской конференции, посмеиваясь, рассказывали своим коллегам такую историю: однажды — это было в Париже — Аденауэр и его министр иностранных дел фон Brentано сели в лифт. Нужно было подняться на второй этаж. Фон Brentано нажал кнопку, но лифт поехал в подвал. Это был первый и последний случай, когда канцлер разрешил своему министру проявить инициативу.

Никита Хрущев его не понимал и потому не любил. Его поступки никак не вписывались в простую и кристально ясную логику марксизма-ленинизма. Поэтому, говоря об Аденауэре, он обычно сердился и требовал объяснить, что у него на уме. КГБ тут же докладывал, что он реваншист, милитарист... Хрущев сердился еще больше.

— Вы мне еще скажите, что он лакей империализма! — кричал он. — Это я и без вас знаю. Вы лучше объясните мне, что же он хочет? Объединения Германии? Но мы уже предлагали ему это! И что? Неужели он всерьез думает, что мы пойдем на объединение Германии в довоенных границах, да еще в составе НАТО! Он что, нас за придурков считает?

Ему объясняли: Аденауэр боится, что нейтрализация Германии станет прологом к ее советизации, чего, кстати, всегда добивался Сталин. А публично признать границу Германии по Одру и Нейсе он не может, потому что против этого выступает восемьдесят процентов населения ФРГ.

— Хорошо, — не унимался Хрущев, — тогда объясните мне, что же он все-таки хочет? Независимой самостоятельной ФРГ? Но мы и это ему предлагали, а он лезет в НАТО и Европейское сообщество!

Корнями этот спор уходил в не столь далекое прошлое, когда Запад одно за другим с порога отвергал все советские предложения по германскому вопросу. И хотя внешне ФРГ себя особо не проявляла, Хрущев был уверен, что застрельщиком столь жесткой позиции выступает Аденауэр. И в этом он был прав.

Больше всего проблем как внутри страны, так и с союзниками вызывала политика Аденауэра в отношении ядерного оружия. Конечно, канцлера не могло не беспокоить соотношение сил в Европе, которое определенно складывалось не в пользу Запада. Он был недалек от истины, когда говорил, что 9 тысячам советских танков реально противостоят всего лишь две с половиной американских дивизии и половина английской дивизии. Большая часть слабой французской армии брошена в Северную Африку, а вклад Бельгии, Голландии и Дании можно считать чисто символическим.

Сам бундесвер находился еще в зачаточном состоянии. По Парижским соглашениям его численность была определена в 500 тысяч человек. Но к концу 1956 года под ружьем находилось всего 80 000 человек, а к концу 60-х она возросла только до 272 000 человек.

А тут еще поползли слухи, будто США собираются урезать свои вооруженные силы. В сентябре 1956 года журнал «Тайм» сообщил о плане адмирала Редфорда сократить 800 тысяч американских солдат и офицеров — с 2,8 миллиона до 2 миллионов человек. При этом, разумеется, должна быть уменьшена и численность американских войск в Европе.

Аденауэр тут же послал генерала Хойзингера в Вашингтон проверить, так ли это. Тот подтвердил — разговор об этом идет серьезный. Когда в Бонн приехал директор ЦРУ Аллен Даллес, канцлер устроил форменную истерику. «НАТО в опасности, — говорил он. — Она старчески бессильна и превращается просто в офицерский клуб».

Вот на таком драматическом фоне Аденауэр делает сногшибательное заявление, что бундесвер не может отказаться от ядерного оружия. Между тактическими и стратегическими ядерными средствами, утверждал он на пресс-конференции 5 апреля 1957 года, существует определенное различие. Тактическое ядерное оружие — это «не что иное, как усовершенствованный вид артиллерии... Совершенно очевидно, что ввиду огромного развития оружейной техники, которое, к сожалению, произошло, мы не можем лишить наши войска

новейших видов оружия и помешать им использовать эти последние открытия».

Когда Хрущеву доложили о заявлении Аденауэра, он не поверил:

— Не может быть. Он что, с ума спятил? Или газетчики опять все переврали?

В советские посольства в Бонне и Берлине пошли указания перепроверить. Очень скоро все три ведомства — МИД, КГБ и военная разведка — доложили, что Аденауэр здоров и действительно сделал такое заявление.

Тогда Хрущев собрал в своем кабинете в ЦК на Старой площади узкое совещание. Присутствовали министр иностранных дел А. А. Громыко, министр обороны Р. Я. Малиновский, председатель КГБ А. Н. Шелепин, заведующий международным отделом ЦК Б. Н. Пономарев и еще несколько человек.

— Ну-ка, мудрецы, — сказал Первый секретарь, — помозгуйте, что на этот раз старый хрен удумал?

Ему дружно рассказали о заявлении Аденауэра на пресс-конференции, сделав вывод, что канцлер в реваншистском угаре совсем зарвался и надо бы по нему ударить. Реакция Хрущева, как обычно, была эмоциональной.

— Вы мне бросьте газеты пересказывать — читать я и сам умею. Лучше мозгами пошевелите — что он задумал. Добро бы, стратегическое оружие требовал. Это понятно — нас достать. А тактическое ему зачем? Ну займет он десять атомных зарядов, пускай даже двадцать или тридцать. Ну и что? Испепелит он своих братьев восточных немцев. Разнесет в пух и прах поляков и чехов. Но мы ведь тоже сидеть сложа руки не будем. Сколько нам нужно атомных бомб, чтобы успокоить Западную Германию? — обратился он к Малиновскому. — Восемь? Да одной хватит, чтобы они лапки кверху подняли. Разве Аденауэр этого не понимает? Прекрасно понимает. Так зачем ему это надо? Ну попугает он поляков, а еще больше своих же французов, бельгийцев и голландцев. Для них ядерное оружие у немцев — нож к горлу. Сразу немецкую оккупацию вспомнят. Костями лягут, но не позволят ФРГ

иметь ядерную бомбу. Разве Аденауэр этого не понимает?

Хрущев вопрошающе оглядел притихших начальников. Он был в ударе, и прерывать его было не принято, хотя он вроде бы и спрашивал.

— Что там ни говори, — продолжал он, — а раздел Германии превратил ее в прифронтовую страну. Какая бы заваруха ни случилась — большая или маленькая, — на нее сначала все бомбы посыпятся. А потом еще посмотрят, стоит ли продолжать. Правильно я говорю, Родя?

— Так точно, Никита Сергеевич, — ответил маршал Малиновский.

— А если так, то Аденауэр должен не о войне, а о мире думать, как бы спасти от этой напасти свою дорожку Германию. Сдается мне, — продолжал Хрущев после недолгого раздумья, — что он тревогу бьет, только уж очень по-хитрому закручивает. Советскую угрозу грамотно разыгрывает, но ядерного оружия ему все равно не дадут, а вот НАТО наверняка усилят, чтобы ему рот заткнуть. Можем ли мы этому помешать? Едва ли, хотя надо постараться по максимуму. А вот антивоенную кампанию на всю катушку развернем. Шум надо поднять на весь мир, что германские милитаристы рвутся теперь к ядерному оружию, хотят осуществить свои реваншистские замыслы. Наши газетчики это хорошо умеют. И по линии борьбы за мир надо поработать. Пусть международный отдел этим займется.

По сценарию Хрущева советская пресса подняла шумную кампанию против вооружения бундесвера ядерным оружием. В течение апреля — июня 1957 года МИД направил правительству ФРГ одну за другой три ноты протеста. С гневными речами не раз выступал и сам Хрущев.

Хотел того Аденауэр или нет, но его политика была одной из главных причин глубокого паралича в решении германского вопроса.

Хрущев это знал и потому тогда же, в Крыму, решил направить личное послание канцлеру, с тем чтобы нейтрализовать его. Он был убежден — если тот откликнется, разговор с ним можно будет направить в русло

политических уступок. Послание Аденауэру, которое Хрущев сам отдиктовал стенографистке, можно считать образцом его личного творчества. Начиналось оно, как обычно, с весьма жесткого изложения позиции Советского Союза. Там и признание ГДР, и образование конфедерации двух германских государств, и объявление Западного Берлина вольным городом. Советский руководитель убеждал канцлера принять этот план — в противном случае он вынужден будет заключить сепаратный мирный договор с ГДР.

Однако послание содержало не только угрозы, но и обещания. Если канцлер скажет «да», Хрущев нанесет визит в Бонн и тогда откроются шлюзы для широкой торговли и сотрудничества. Огромные ресурсы Востока в сочетании с технологическим гением немцев произведут чудо. В учебниках истории будет отмечаться вклад Аденауэра в решение благородной задачи ликвидации «холодной войны».

Конечно, Хрущев не мог удержаться от того, чтобы не попытаться вбить клин между канцлером и Эйзенхауэром. «Мы придаем огромное значение предстоящим переговорам с американским президентом, — писал он. — Возможно, они приведут к «прорыву» в отношениях между двумя сверхдержавами». При этом делался намек, что германский вопрос может быть решен и за спиной Аденауэра, так как предстоящие «беседы в Кэмп-Дэвиде не могут ограничиться только проблемой выращивания кукурузы и огурцов».

Хрущев надеялся, что его послание произведет должный эффект, и энергично принялся утрясать последние детали своего визита в США.

# В АМЕРИКУ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Хрущева не покидало некое горделивое чувство: приглашение в Америку — это его личный триумф. Ни один российский или советский руководитель до него — даже царь — не бывал в Соединенных Штатах.

Но интересно другое. Читая барабанные реляции прессы о том, как «наш Никита Сергеевич» приехал и враз покори́л Америку, трудно представить, что на самом деле он страшно боялся ехать туда. Хотел и боялся.

Хрущев искренне надеялся установить хорошие отношения с Эйзенхауэром и убедить капиталистов начать торговать с Москвой. Ему хотелось доказать американцам, что он не обманывает, когда предлагает мирное сосуществование, — пусть они окажут давление на свое правительство, чтобы оно уступило по германской проблеме и разоружению.

Но сможет ли он, крестьянский сын и полуграмотный рабочий, иметь дело с высокообразованными и блестящими представителями западного мира? В уме у него не раз звучало предостережение Сталина:

— Слепые котята, ну что вы можете без меня? Пропадете. Обведут вас империалисты вокруг пальца. Вы даже врага различить не можете.

Видимо, поэтому Хрущева постоянно точил червь сомнения: а достойно ли его принимают? Не хотят ли американцы унижить честь и достоинство Советского Союза?

Это было какое-то полумистическое чувство, идущее

из глубины веков, — от Запада всегда ждали подвоха. А может быть, от классового подхода к жизни — они-де все-таки баре, а нас за ровню не считают...

Теперь эти страхи могут показаться несерьезными и даже смешными. Но они были. И поведение Хрущева в Америке никак не понять, если упустить из виду эти моменты.

С одной стороны, его распирало от гордости.

— Видите, чего мы добились за эти годы, — втолковывал он своему окружению. — Разве могли мы подумать, что меня, простого рабочего, капиталисты позовут в гости?

А в душе копился страх: а вдруг обманывают, заманивают, хотят унижить, по носу шелкнуть — сиди, мол, знай свой шесток. Впрочем, эти страхи он сам ярко изобразил в своих магнитофонных задиктовках, хотя они были сделаны много лет спустя, уже на пенсии. Значит, запало в память: «Мы несколько беспокоились о том, какая будет встреча, какая процедура, не будет ли этим устроена какая-то дискриминация... Я помню, что когда первые контакты устанавливались с буржуазным миром, то советские делегации приглашали — не знаю, по какому вопросу, — на Принцевы острова, и тогда в газетах разъясняли, что такое Принцевы острова. Это туда собирают бездомных собак, где они подышают. Одним словом, это была какая-то дискриминация... Вот я и думал, не является ли Кэмп-Дэвид именно таким местом, куда президент приглашал меня на несколько дней».

Эти страхи задали немало хлопот нашему посольству в Вашингтоне. Во-первых, нужно было убеждать Москву, что Кэмп-Дэвид — это не место, где собирают бездомных собак, а вполне приличная загородная резиденция президента США. В Москву лично для Хрущева пошла справка. Кэмп-Дэвид — это дача президента в трех часах езды от Вашингтона, говорилось в ней. Вокруг — лес и горы. Ею любил пользоваться президент Ф. Рузвельт. Он называл это поместье «Шангри-Ла». Трумэн им не пользовался. Эйзенхауэр назвал его Кэмп-Дэвид в честь внука.

Во-вторых, нужно было добиться от Вашингтона,

чтобы Хрущева принимали по первому разряду, как главу государства, со всеми вытекающими отсюда протокольными почестями. Наказ был строг: передать американцам, что при ответном визите Эйзенхауэра в Москве встретят точно так же, как Хрущев будет принят в Америке.

В Вашингтоне между прочим был составлен довольно точный психологический портрет советского премьера, разумеется, конфиденциальный, который назывался «Хрущев: человек и его взгляды». В нем, в частности, говорилось: «Гордясь своим пролетарским происхождением, он тем не менее полон решимости получить полное признание и все почести, оказываемые руководителю великой державы. Решительно борясь против прославления личности Сталина, он позволяет во все большей степени льстить самому себе».

Так что в Вашингтоне, готовясь к встрече высокого гостя, учитывали его личные качества и амбиции.

Семейная жизнь Хрущева — сплошное белое пятно. Обычно фотографии показывают довольно улыбающегося Никиту Сергеевича в окружении трех дочерей и сына. Рядом с ними неизменно Нина Петровна, как добрая наседка, охраняющая покой и согласие этой большой и дружной семьи. У ног копошатся внуки.

На самом деле в семье отношения были сложными. «Стиль дома был холодным», — вспоминает зять Хрущева Алексей Аджубей. «Обстановка была гнетущей», — говорит другой его зять. Всем в доме заправляла Нина Петровна — женщина сухая и безапелляционная. В ней ничего не было от доброй, ласковой бабушки, какой она выглядела на фотографиях. Скорее, наоборот, обладая тяжелым характером, она и в семье продолжала быть партийным пропагандистом, комсомолкой 20-х годов, на которой женился молодой партвыдвиженец Хрущев. Ровная со всеми, она создавала атмосферу строгости, которая усиливалась сдержанностью самого хозяина. В общем, не было в той семье доброжелательности, радушия, наконец, любви и преданности. Наоборот, суровость, замкнутость и отчужденность, даже грубость, в том числе и по отношению к матери.

Порой казалось, что Никита Сергеевич отдыхал душой не дома, в кругу семьи, а среди немногих сотоварищей. Он не доверял им — в Кремле никто никому не верил, но между ними установилось некое подобие близости. Там Хрущев отмякал, выпивал и пел — «Реве та стогне Днипр широкий...», «Черные очи», «Дывлюсь я на нэбо».

После женитьбы супруги практически вместе не жили — партия посылала их на разные участки, как пелось тогда в популярной комсомольской песне: «Дан приказ ему на Запад, ей — в другую сторону...» Конечно, они встречались временами, и у них даже родилась дочь Рада, но окончательно семья воссоединилась только в 1930 году после назначения Хрущева в Москву.

Однажды Нина Петровна, уже в начале 60-х, сказала одной из своих немногих подруг:

— Разве у меня была жизнь? Ведь мы не живем с Никитой Сергеевичем как муж и жена почти тридцать лет.

Может быть, это и есть ключ к разгадке ее характера?

И все же, пожалуй, главной формирующей психологического климата этой семьи был страх — обыкновенный животный страх, глубоко въевшийся во все поры жизни. Хрущевы здесь не были исключением — это было общей чертой для всех кремлевских семей. Сам Хрущев, хотя и участвовал в репрессиях на Украине и в Москве, хорошо знал и боялся, что в один прекрасный день он и его семья тоже могут стать жертвами карающей руки Сталина.

Собственно, это и произошло. От первого брака у Хрущева был сын Леонид — бравый летчик, весельчак и гуляка. Однажды группа молодых офицеров, в их числе и Леонид, в хорошем подпитии развлекалась старинным гусарским манером: ставили друг другу по очереди на голову бутылку с водкой и стреляли в нее с расстояния в десять шагов. У Леонида рука дрогнула, и он всадил пулю прямо в лоб своего товарища. Историю эту, как рассказывал потом шеф КГБ Серов, удалось замять, но Леонида спешно отправили на фронт. Там он через три месяца погиб в воздушном бою.

Случилось это в 1943 году. Но в том же году в Куйбы-

шеве, куда была эвакуирована семья Хрущевых, была арестована жена Леонида — Любовь Хрущева. Она вздумала изучать французский язык. А в преподаватели взяла жену французского дипломата мадам Жаннэ. Само по себе в те годы это уже считалось криминалом, хотя Франция и была нашей союзницей в этой войне. Поэтому арестовали ее как шведскую шпионку.

От этого несчастного брака осталась совсем маленькая девочка — Юлия Хрущева. Никита Сергеевич, надо отдать ему должное, не колеблясь, взял ее к себе в дом и воспитал как собственную дочь, так что она многие годы даже не догадывалась, кто ее настоящие родители.

Десять лет ее мать — невестка Хрущева — провела в лагерях и только в 1953 году, после смерти Сталина, вышла на свободу. А еще через три года получила разрешение приехать в Москву. Но семейные тайны хранились в этом доме строго.

И вот теперь, отправляясь в Америку, что само по себе было событием из ряда вон выходящим, Хрущев решил пойти на нововведение — взять с собой жену, и не потому что безумно любил, а по чисто практическим соображениям. Он хотел показать миру новый облик советского руководителя — человеческого, открытого и, конечно, хорошего семьянина. И тут Нина Петровна очень хорошо дополняла своего мужа. Она сглаживала острые углы и непредсказуемые его эскапады. Перед западной публикой Никита Сергеевич предстал обычно в облике скандалиста с перекошенным от гнева лицом и яростно размахивающим кулаками. Однако появление рядом с ним дородной, спокойной и тихо улыбающейся женщины, которая выглядела доброй бабушкой из русской провинции, как-то снимало напряжение: ну ничего, покричит мужик и уймется — она его успокоит.

Казалось бы — какая проблема для первого лица в государстве взять с собой в заграничную поездку жену и детей. Но для Советского Союза в те годы это была если не крамола, то, по крайней мере, нововведение, рушащее привычные устои. В послевоенные годы при Сталине жизнь жен партийных руководителей своей уединенностью и замкнутостью больше всего напоми-

нала восточный гарем. Никаких приемов и праздников, где присутствовали бы жены и дети. Только замкнутый круг семейных знакомств, где поддерживались отношения с себе равными. Нина Петровна общалась, например, с женами Маленкова и Булганина. А с женами других членов Президиума — лишь во время торжественных заседаний или парадов на Красной площади, на которые приглашались все чада и домочадцы. При Хрущеве и тут многое изменилось. Тем не менее вопрос о поездке Нины Петровны в Америку специально решался на заседании Президиума ЦК. Сам Хрущев вспоминал об этом так: «Сталин ревниво относился, если кто-нибудь ехал и брал жену... В общем, это у нас считалось не то роскошью, не то обывательским, неделовым и прочее. Поэтому мы этого никогда не делали. Встал вопрос о поездке в Америку. Я тоже думал ехать один. По-моему, Микоян стал говорить, что за границей обыватели лучше относятся, когда гость приезжает с женой. А если его другие члены семейства сопровождают, то это еще больше располагает, поэтому он предложил мне взять Нину Петровну и включить других членов семейства, это будет хорошо расценено американцами и будет лучше для нас. Я несколько сомневался, что это нужно делать, но все другие поддержали Анастаса Ивановича, и я согласился».

Что ж, на американцев это действительно произвело хорошее впечатление. Нина Петровна всегда приветливо улыбалась. Вместе с нею были дочери — бойкая Юлия, хорошенькая блондинка Рада, задумчивый сын Сергей, деловой зять Алексей Аджубей. В общем, все как у нормальных людей.

# ВСТРЕЧА С ЭЙЗЕНХАУЭРОМ

Ровно в семь утра 15 сентября 1960 года с правительственного аэродрома «Внуково-2» поднялся в воздух огромный Ту-114 — самый большой тогда самолет — и взял курс на Америку. Советская пресса, изображая неумемный восторг, писала: «В этом самолете, как в капле воды, отразилось необъятное море советской индустрии, бурное победное развитие ее, гибкая экономическая структура, гуманистическое направление... И казалось, что не только подъемная сила стреловидного крыла, могучая тяга двигателей, превосходящих по мощности турбины иных гидростанций, подняли в воздух самолет Н. С. Хрущева, перенесли его за океан, но и заботливая, бережная сила миллионов советских тружеников, всех прогрессивных людей земли, их неукротимая, страстная тяга к миру».

А Хрушев по-хозяйски осмотрел просторные салоны: свою спальню, кабинет, помещения для приближенных. Заглянул и в общий салон с длинными рядами кресел, сплошь забитый дипломатами, сотрудниками КГБ, журналистами, переводчиками, охранниками и совминовской обслугой. Подчеркнуто демократично поздоровался за руку с теми, кто был поближе, пошутил и вернулся к себе в кабинет, где уже собрались сопровождающие его лица.

Их подбор был необычен для советской делегации такого калибра. Прежде всего потому, что в ней полностью отсутствовали партийные боссы и военные. А их

место заняли известные ученые и писатели, имеющие к тому же солидные посты в партийно-государственной иерархии.

Пожалуй, только писатель Михаил Шолохов не занимал никаких постов. Но он-то и доставлял больше всего хлопот. Нет, не вольнодумием, а пристрастием к спиртному. В окружении Хрущева следили, чтобы он не сорвался и не испортил благостной картины интеллектуального ореола вокруг советского лидера.

Особую группу составляли начавшие входить в силу помощники Хрущева: Шуйский, Лебедев, Трояновский. Это были «негры», дни и ночи корпевшие над составлением многословных речей и заявлений «Энэса», как между собой называли Хрущева. К ним тесно примыкала журналистская верхушка — Ильичев, Сатюков, Аджубей.

Громыко со своей командой держался несколько стороной и выглядел ненужным приложением к задуманной грандиозной агитационно-пропагандистской феерии. Однако по программе предстояли кое-какие официальные переговоры, и дипломаты могли понадобиться.

Любопытный человек был Андрей Андреевич Громыко, и о нем следует сказать особо, ибо в повести этой он выступает как тень и эхо главного героя, которого неизменно сопровождал во всех заграничных поездках.

Когда Хрущев собрался сделать Громыко министром иностранных дел, многие его отговаривали: безынициативный, мол, он человек и дубоватый. Но именно такой человек и нужен был Хрущеву, который с самого начала твердо решил заниматься внешней политикой собственноручно. Тем, кто критиковал Громыко, он говорил:

— Ну чего вы волнуетесь? Пост секретаря ЦК у нас важнее. А внешняя политика не зависит от того, кто будет министром. Вот назначьте завтра председателя колхоза, и он вам такую линию проводить начнет, что пальчики оближете. Потому что политику у нас делает не министр, а партия.

И назначил министром Андрея Громыко, который, к слову, начинал свою дипломатическую карьеру совет-

ником по сельскому хозяйству в посольстве в Вашингтоне. Там, в Вашингтоне, и сложилось его жизненное кредо, которое идеально выражено плашкой на окнах московского трамвая: «Не высовываться». Он так и сидел за своим письменным столом и читал газеты. Ничем не отличался, был нем и сер, что дало основание тогдашнему послу в Соединенных Штатах Максиму Литвинову в характеристике, данной Громыко, начертать: «К дипломатической службе непригоден».

А он еще как оказался пригоден! Почти на тридцать лет стал несменяемым: пережил и Хрущева, и Брежнева, и Андропова, и Черненко. В личной жизни любил хорошие вина, поэзию, читал книги по истории и философии. А в политике вытягивался в струнку и колебался только вместе с линией партии. Сам инициативы не проявлял и сотрудникам своим не советовал:

— Не знаете, что делать? Выполняйте инструкцию. У вас нет инструкции? Так ничего и не делайте, ждите, когда появится.

При всем том его, бесспорно, сильной стороной была поистине лошадиная работоспособность, рабская безотказность и профессиональная компетентность в рамках спущенных сверху директив. Был отменным переговорщиком. Как бульдог, вцеплялся в противника и доводил дело до конца. Называл это по-своему, тяжело: «Не дать погаснуть огоньку в конце тоннеля». Пример тому — заключение договоров о запрещении ядерных испытаний и о нераспространении ядерного оружия, — это его прямая заслуга.

В своих воспоминаниях Громыко дал одному из госсекретарей США, Дину Раску, такую хвалебную, с его точки зрения, характеристику: «Раск отличался завидной настойчивостью. Если у него имелась какая-либо запасная позиция по тому или иному вопросу, то он раскрывал ее лишь тогда, когда партнер по переговорам уже собирался встать из-за стола, чтобы закончить беседу. Выдержка и пунктуальность у него были отменные». Как будто писал о самом себе.

...Не успел самолет оторваться от земли, как Никита Сергеевич развил кипучую деятельность. С борта посыпались приветствия лидерам тех стран, над которыми

пролетал Ту-114. Еще раз провели совещание, уточняя стратегию и тактику предстоящей встречи. Потом был обед — шумный, веселый, с тостами. Все выпили, но по маленькой.

А после Никита Сергеевич заснул. Проснулся он уже над Атлантикой. «Когда я проснулся, солнце уже взошло, — вспоминал Хрущев. — Разные мысли приходили мне в голову, когда я глядел на океан внизу. Я был горд, думая, что мы на пути в Соединенные Штаты на нашем новом пассажирском самолете. Нет, мы не поклонялись Америке... Причина нашей гордости была в том, что мы в конце концов заставили Соединенные Штаты признать необходимость установления более тесных контактов с нами...»

Президент Эйзенхауэр в это время уже ждал его на военно-воздушной базе Эндрюс в пятнадцати милях от Вашингтона. С ним был государственный секретарь Гертер, другие члены кабинета. Тут надо сказать, что с американцами произошел некий конфуз: советский самолет оказался слишком большим и посадить его в аэропорту Вашингтона было просто невозможно. Поэтому выбрали базу ВВС США Эндрюс. Однако и там самолет еле-еле развернулся на рулежных дорожках.

Это тешило самолюбие Хрущева. Но тут пилот огорошил его сообщением, что у американцев нет таких высоких трапов и ему вместе с семьей придется выкарабкиваться из самолета, извините, на карачках и, повиснув на руках, искать ногами трап. И это на глазах у всего Вашингтона, перед иностранной прессой и телевидением! Старые подозрения, что в Америке хотят унижить его, нахлынули с новой силой.

Но, слава Богу, все обошлось. Американцы подогнали специальный трап, в два раза более высокий, чем обычно. По нему, расточая улыбки, Никита Сергеевич спустился на американскую землю.

Журналисты тут же отметили, что, вопреки обыкновению, на нем был хорошо сшитый итальянский костюм темного цвета. Но в руках, несмотря на жару, толстая фетровая шляпа, которую по совету Громыко он взял с собой в Америку. К лацкану пиджака при-

креплены две Золотые Звезды Героя и золотая медаль лауреата Ленинской премии.

Эйзенхауэр был сдержан и немногословен. То ли простудил горло, играя накануне в гольф, то ли хотел показать Америке, что не очень уж рад приезду этого гостя.

— Как прошел полет? — спросил он. Переводил Олег Трояновский.

— Очень хорошо.

— Никита Сергеевич, приветствуем вас на американской земле, — раздался из-за спины президента масляный голос советского посла Меньшикова.

Как всегда, он широко улыбался, за что получил в Америке прозвище Улыбающийся Майк. Полчаса назад он настаивал, чтобы ему позволили первым встретить Хрущева прямо в самолете. Зная вспыльчивый характер гостя, Меньшиков хотел узнать, нет ли каких проблем, которые он мог бы быстро уладить. Его просьба была доложена президенту, но Эйзенхауэр не любил Меньшикова, называл его «злым и глупым». Он сказал:

— Передайте ему, чтобы он поступал в соответствии с нашими порядками или пусть убирается домой.

Хрущев только кивнул послу. Перед ним была красная ковровая дорожка, и он пошел по ней, гордо подняв свою массивную лысую голову, туда, где уже торжественно застыли четыреста американских солдат почетного караула. Командующий караулом генерал-майор Кенуорти салютует Хрущеву и докладывает:

— Сэр, почетный караул выстроен!

Звучат гимны Советского Союза и Соединенных Штатов. Гремит артиллерийский салют из двадцати одного залпа. И все это в честь него — Хрущева. Серые дымки вырываются из стволов четырех гаубиц и, подхваченные ветром, тают в безоблачном синем небе.

Никита Сергеевич доволен. «Нам был организован такой прием, — скажет он позднее, — который был достоин нашей великой страны, нашего великого народа». Так что страхи оказались напрасными.

Теперь Хрущев и Эйзенхауэр поднимаются на трибуну. «Она была устлана красным ковром, — вспоминал

Хрущев. — Стояли микрофоны, так что наши речи можно было услышать не только по всему аэродрому, но, возможно, передача шла также по всей стране. Это произвело на меня впечатление. Все блестело и сверкало. Мы не делаем так у нас в стране. Мы всегда работаем по-пролетарски, что иногда, боюсь, означает, что сделано несколько небрежно».

Но Никита Сергеевич и здесь быстро освоился. Неожиданно для всех он вешает на столбик трибуны свою фетровую шляпу. Но американцам это даже нравится — они люди простые.

В это время Эйзенхауэр начинает читать по бумажке приветственную речь. Она была пустой и формальной. Однако ответ Хрущева явно задел его. Как раз накануне советская ракета достигла Луны, оставив на ней контейнер весом в 390 кг с аппаратурой и маленький вымпел с гербом Советского Союза. Этим не преминул воспользоваться дорогой гость. «Мы не сомневаемся, — заявил он, — что замечательные ученые, инженеры и рабочие Соединенных Штатов Америки, которые работают в области завоевания космоса, также доставят свой вымпел на Луну. Советский вымпел как старожил Луны будет приветствовать ваш вымпел, и они будут жить в мире и дружбе...»

Эйзенхауэр поморщился. Но грянули аплодисменты, и президент тоже стал хлопать в ладоши, а потом пожал Хрущеву руку.

Теперь в Вашингтон. Оба лидера усаживаются в открытый черный «кадиллак». На левом крыле полощется большой красный флаг СССР, на правом — полосатый американский. Оглушительно воют полицейские сирены. Спереди, сбоку, сзади мчит полицейский эскорт на мотоциклах. Над шоссе висят полицейские вертолеты. И только робко жмутся к обочине кучки любопытных. А по сторонам мелькают невысокие холмы, поросшие лесом, зеленые луга и маленькие аккуратные домики.

В столице машины резко сбрасывают скорость. На улицы вышло более 300 тысяч человек — явление для Вашингтона необычное. Гремят оркестры. Высоко в синем небе самолет прочертил две белые пересекающи-

еся линии. Буква «Х»? Или крест? Над толпой колыхаются плакаты: «Вы — желанный гость, господин Хрущев», — написано на одном. «Убирайся домой, тиран», — гласит другой. Хрущев широко улыбается, размахивая шляпой. Люди на улицах смеются и аплодируют.

Но Никите Сергеевичу кажется, что и здесь его хотят обвести вокруг пальца.

— Едем мы с президентом, — говорил он, — огромное количество людей стоит, кое-кто руку поднимает, машет, но я вижу — быстро отдергивает руку, словно прикоснулся к электрическому току. Вначале мне было трудно понять, в чем дело. Тогда я решил внимательно всмотреться в лица людей, стоящих по обе стороны пути нашего следования. Я стал делать знак приветствия легким кивком головы и многие начали отвечать мне тем же. В чем же было дело?

Оказывается, американцы просто боятся раскрыть свои истинные чувства и от души, как это делают советские люди, приветствовать Хрущева. Ему рассказали, что впереди кортежа промчался мотоциклист с плакатом, на котором было написано: «Никаких аплодисментов! Никакого приветствия Хрущеву!»

Стереотип советского мышления срывает моментально. Вот она, рука истинных хозяев Америки — монополистического капитала. Это их приказ. Президент даже может и не знать о нем: ведь он просто их марионетка, подставная фигура. Но его, Хрущева, капитализм явно боится.

Самое курьезное в этой истории не в том, что мотоциклист был — он действительно проехал по пути следования правительственного кортежа минут за десять до него, — а в том, как прореагировали на это руководители США и Советского Союза. Реакция Хрущева нам известна. А руководитель аппарата президента генерал Гудпастер дал указание ФБР немедленно проверить, не КГБ ли это пустило своего человека, чтобы поставить Америку в неловкое положение...

Но вот и конец пути. Миновав Белый дом, машины останавливаются у желтого в три этажа здания с мансардой. Это Блэйр-Хауз — гостевая резиденция прези-

дента Соединенных Штатов, где теперь будет жить Хрущев.

В 3.30 пополудни энергичный, с горящими глазами, Хрущев уже входил в Белый дом. Глядя на него, трудно было поверить, что всего несколько часов назад он сошел с самолета, совершившего двенадцатичасовой бросок через Атлантику, а в апреле ему минуло шестьдесят пять лет. За ним почтительно жметя его свита — Громыко, Меньшиков, Солдатов, Трояновский.

— Почему этот дом называют Белым? — неожиданно спрашивает Хрущев.

— Да, вот... так повелось, — мямлит Меньшиков.

— Так, с тобой все ясно, — ирснично, но жестко бросает Хрущев. — Может, кто-нибудь объяснит?

Из окружения Хрущева желающих не находится. Поэтому отвечает американский переводчик Александр Акаловский:

— В 1814 году английские войска заняли Вашингтон и почти полностью сожгли. От резиденции президента остались одни только обугленные стены. Дом восстановили. Но, чтобы стереть следы пожара, стены выкрасили в белый цвет.

У дверей знаменитой Овальной комнаты, на протяжении пятидесяти лет служившей личным кабинетом американских президентов, уже поджидал Эйзенхауэр. Его худое, аскетическое лицо смягчила доброжелательная улыбка. Широким жестом он пригласил Хрущева войти. Никита Сергеевич шагнул вперед и, к удивлению своему, оказался в небольшой, выдержанной в умиротворяющих зеленых тонах комнате, ничем не похожей на помпезные и огромные кремлевские кабинеты.

Правда, прямо перед ним стоял массивный, темный, палисандрового дерева стол, размерами напоминавший родной кремлевский. За ним кожаное крутящееся кресло. Джон Эйзенхауэр — сын президента, служивший у него еще и помощником, подшучивал, что стол этот выглядит как огромное футбольное поле, на котором играет всего лишь один игрок. Напротив — мраморный камин, которым, по-видимому, не пользо-

вались, а на нем два бюста, как пояснил Эйзенхауэр, Вашингтона и Франклина. Рядом с камином — американский военный флаг с длинными боевыми лентами. По бокам две картины. «Батальная морская сцена» Андре Вьета и «Дикая утка, висящая на стене» Джорджа Коупа. Из широкого французского окна с двухдюймовыми пуленепробиваемыми стеклами видны розарий и лужайка, на которой стоит президентский вертолет морской пехоты номер один.

Пожалуй, ничто в этом кабинете не свидетельствовало о вкусах хозяина — ни мебель, ни картины, ни даже книги. На полках уныло выстроились 24 тома Британской Энциклопедии и 54 тома собрания «Великие произведения западного мира», включая Дарвина, Гегеля, Канта, Адама Смита, Толстого и даже Маркса. Но явно не для чтения, а так — для антуража.

Правда, Хрущеву еще в Москве доложили, что хобби президента — живопись. Нередко поздним вечером случайные прохожие могут заметить свет в окнах второго этажа западного крыла Белого дома. Но это вовсе не значит, что президент занят государственными делами. Свет горит в комнате, примыкающей к спальне. Там он пишет картины, в основном — пейзажи. Живопись, считает он, — лучший отдых.

Расселись не за столом для переговоров, как в Кремле, а на диване и в мягких креслах — вроде бы для того, чтобы просто поговорить по душам. Правда, еще в Москве договорились, что беседы по существу состоятся в Кэмп-Дэвиде, а здесь разговор будет самый общий, ну, может быть, наметят вопросы, которые предстоит обсудить.

Эйзенхауэр сказал, что поднимет берлинский вопрос. От его решения зависит возможность проведения встречи большой четверки. Может быть, они смогут обсудить также проблемы советско-американской торговли, обмен идеями и людьми.

В ответ Хрущев разразился длинной тирадой о необходимости укрепления доверия:

— Американцы боятся марксизма. Посмотрите на вице-президента Никсона, он не знает марксизма, но боится его. Недавно он произнес в Ассоциации зубных

врачей жесткую речь. Она не вызвала у меня зубной боли, но холоду в международные отношения добавила.

Эйзенхауэр сказал, что не читал этой речи, но теперь обязательно прочтет ее.

— Читать это выступление не стоит, дело прошлое, — заметил Хрущев.

И так далее и все в том же духе: обмен любезностями, вымученными шутками, которые не всегда были понятны. А о делах — только вскользь. И то по Берлину.

— Конечно, — признал Эйзенхауэр, — положение ненормальное, когда союзники продолжают оставаться в этом городе спустя пятнадцать лет после окончания войны. Но еще в 1945 году США взяли обязательства перед германским народом и, пока не выполнят их, не должно быть никаких односторонних действий Советского Союза, которые мешали бы им сделать это. Поэтому ваш ультиматум, господин Хрущев, вызвал серьезный кризис.

Никита Сергеевич не стал заострять эту тему.

— Поверьте мне, — сказал он, — у нас нет намерений предпринимать односторонние действия, хотя именно Соединенные Штаты предприняли односторонние действия в Японии, которые лишили нас наших законных прав.

— Было бы желательно, — со значением говорил он, — выработать общий язык, признающий сам факт существования двух германских государств. При этом подтвердить, что ни одна из сторон не будет прибегать к силе. От США не потребовалось бы юридического признания ГДР, а просто признание того положения, которое уже существует. Германское урегулирование способствовало бы и решению проблем Берлина.

Так прошло полтора-два часа вместо получаса, предусмотренного программой. Потом позвали журналистов и фотокорреспондентов, чтобы запечатлеть историческую встречу двух лидеров великих держав. Эйзенхауэр и Хрущев пожимали друг другу руки, улыбались, садились, вставали, снова садились, изображая серьезный, деловой разговор. После этого президент сказал, что хочет поговорить с гостем наедине.

Странный получился разговор. Эйзенхауэр сообщил напрягшемуся от внимания Хрущеву, что пригласил его в США, так как глубоко убежден: он, Хрущев, может стать величайшим политическим деятелем в истории. У него сильная власть в союзе государств, обладающих огромной мощью. А президент распоряжается только в США и то на шестнадцать месяцев — до ближайших выборов. После этого он будет продолжать любить людей — всех людей в мире, включая и русских. Эйзенхауэр хочет, чтобы они жили в мире и согласии. Но советский премьер будет обладать огромной властью еще долгое время. Если он мудро использует ее, то может стать человеком, который внесет огромный вклад в обеспечение мира во всем мире.

Хрущев был явно озадачен такой тирадой. Он ждал чего угодно — угроз, ультиматума, наконец, предложения поделить сферы влияния в Германии или на Ближнем Востоке, но не такого «наивного лепета». Что это, опять его испытывают на прочность?

Поэтому он довольно сухо ответил: «Советский Союз в одиночку не может обеспечить мир. Обе стороны должны работать для разрешения существующих противоречий». Эйзенхауэр заявил, что будет молиться за это. Вот и все.

Позднее президент скажет Анне Уитмен, своей секретарше, о беседе с Хрущевым:

— То были приятные слова. Но они ни в чем не изменили его взглядов.

И он был прав.

Солнце клонилось к закату, когда Эйзенхауэр и Хрущев вышли на лужайку перед Белым домом, где стоял вертолет. Жара спала, но по-прежнему было душно. Еще по дороге с аэродрома президент предложил гостю совершить экскурсию над американской столицей на его личном вертолете. Он хотел показать огромный город и уличное движение в часы пик, рабочих и служащих, разъезжающих после работы домой на собственных машинах. Хрущев не поверил Никсону, что в Соединенных Штатах 60 миллионов автомобилей — что ж, теперь он может увидеть это собственными глазами.

Поначалу Хрущев колебался. Американцы даже по-

думали, не боится ли он, что его взорвут вместе с вертолетом или, чего доброго, выбросят из него. Однако, узнав, что Эйзенхауэр будет его сопровождать, Хрущев согласился. Президент разложил карту на коленях и попросил пилота лететь низко, чтобы гостю хорошо было видно скопление автомобилей в час пик. И действительно, тысячи служащих — кто пешком, кто в автобусах, но большинство в автомобилях, растекались по домам. Вашингтон необычный город. Ни в пригородах, ни тем более в центре не увидишь фабричных труб. Это город чиновников, государственных учреждений и юридических контор.

Но если все увиденное и произвело впечатление, то Хрущев не показал этого. Во время полета он не проронил ни слова. Но десять дней спустя на ферме Эйзенхауэра в Геттисберге он неожиданно вернется к этому полету:

— Да, меня потрясло то, что я увидел. Но потрясло бессмысленностью. Это бесчисленное количество машин является лишь пустой тратой времени, денег и усилий.

— Хорошо, — возразил Эйзенхауэр, — но дороги-то наши произвели впечатление?

— Нет, — ответил Хрущев. — Мы не нуждаемся в таких дорогах потому, что советские люди живут близко друг от друга. Они редко передвигаются, и им не нужны автомобили. Американцам, по моим наблюдениям, не нравятся места, где они живут. Они в постоянном движении и все ищут, куда бы еще поехать. А индивидуальные дома стоят дорого, требуют куда больших затрат для отопления и содержания, чем многоквартирные дома в Советском Союзе.

А в целом экскурсия на вертолете ему понравилась, и он приказал закупить три такие машины для собственных нужд.

## ФРАК ДЛЯ ХРУЩЕВА

Вечером все того же долгого дня Эйзенхауэр давал официальный обед в Белом доме. И тут — первый дипломатический казус. По строгим обычаям протокола форма одежды — белый смокинг.

— А что это? — спросил Хрущев. — Давайте посмотрим.

Принесли несколько образцов на выбор. Он примерил, и даже выдержанная челядь не удержалась — расхохоталась. Перед зеркалом стоял огромный белый живот на коротких толстых ножках. Над животом возвышалась круглая лысая голова, на которой природа своим острым резцом изваяла грубые черты простого крестьянина. Тяжелые руки торчали из элегантных рукавов. И все это сооружение венчалось раздвоенным хвостом. Пингвин и тот выглядел куда элегантней.

Хрущев был обескуражен:

— Я эту буржуазную одежду носить не буду! Для чего она нужна? Какую функцию несет? Работать в ней нельзя, за станок не встанешь, в поле сеять не выйдешь — мешать будет. Ее капиталисты для собственного развлечения придумали. А я в их игры играть не буду. Так и передайте это Эйзенхауэру — я приду в пиджаке, как простой рабочий.

Все дружно поддержали вождя. Даже светский Меншиков, грешивший хождением в буржуазных одеждах, решил не выделяться. Только Шолохов,

пользуясь положением придворного писателя, сказал:

— Что вы, Никита Сергеевич, в сельском хозяйстве фрак очень даже нужная вещь. В гражданскую войну одна барыня из Ростова, когда совсем оголодала, пошла по нашим донским станицам свои платья распродавать и мужнин фрак прихватила. Юбки и кофты там разные наши бабоньки в момент расхватывали. А фрак не берут. Совсем барыня отчаялась, как вдруг увидел фрак один казак и говорит:

— Беру. Даю за него мешок картошки. А еще принесешь — два мешка дам.

— А зачем он вам? — удивилась барыня.

— Как зачем? — тоже удивился казак. — В нашем крестьянском деле хвостатка вещь необходимая. Пахать в ней удобно. Спереди не мешает и сзади не дует. Так что носи еще хвостатку.

— Вот, вот, — сказал Хрушев, — хорошо народ определил — «хвостатка». Так и скажите Эйзенхауэру, что Хрушев хвостатку носить не будут.

Жена Эйзенхауэра Мамми, когда узнала про бунт Хрушева, рассердилась и сказала шефу протокола:

— Вы знаете, что они решили надеть обычные костюмы на государственный обед. Мой муж оденется так же, если, конечно, я ему позволю.

Но Эйзенхауэр все равно встретил гостей в белом смокинге. Он провел Хрушева и членов его семьи на второй этаж в свои личные апартаменты. Там их ждала вся большая семья Эйзенхауэров. Хозяева стали показывать комнаты. Почему-то долго стояли у кресла, в котором президент по вечерам смотрит телевизор.

— У меня такого места в доме нет, — то ли с шуткой, то ли с укоризной сказал жене Никита Сергеевич.

Потом спустились вниз, в большой зал Белого дома, где уже был накрыт огромный стол на сто персон в виде гигантской перевернутой буквы «Е». Он был украшен желтыми хризантемами, сервирован золотом и серебром. Первая леди приказала подать чисто американское меню: дыню с ветчиной и жарен-

ную индейку со смородиновой приправой. Играл оркестр.

Перед Хрущевым, как на параде, прошла вся американская правящая элита. И каждого Никита Сергеевич постарался уколоть в разговоре. Сенатору Линдону Джонсону сказал:

— Знаете, я никогда не мог уловить какой-либо разницы между двумя американскими партиями — республиканской и демократической.

Но высокий и вежливый Аллен Даллес — шеф ЦРУ, — в свою очередь, решил подковырнуть Хрущева. Со значением он сказал ему:

— Может быть, иногда вы смотрите некоторые мои разведывательные сообщения?

— Думаю, мы получаем одну и ту же информацию от тех же самых людей, — бросил Хрушев озадаченному разведчику.

Тот, однако, нашелся:

— Может быть, мы соединим наши усилия...

— Да, давайте покупать разведывательные данные вместе и тем самым экономить деньги. Тогда и вы и мы будем платить этим людям только один раз.

Постепенно вокруг Хрущева собирается плотное кольцо гостей. Начинается полемика. Президент Эйзенхауэр зорко следит за тем, чтобы она не выходила за пределы допустимых приличий. В самый разгар он полушутливо вмешивается:

— Бросьте, вам все равно не переспорить Хрущева!

И так до половины двенадцатого ночи. Хозяин явно пренебрег строжайшим распорядком своего дня, предусматривающим покой и сон в половине одиннадцатого.

Рано утром на следующий день Хрушев как ни в чем не бывало вышел из парадных дверей Блэйр-Хауза подышать свежим воздухом. Он приветливо улыбался и махал рукой ранним прохожим и фотографам.

А день обещал быть напряженным. В 9.30 Хрушев был уже в Белтсвилле, под Вашингтоном, где расположен исследовательский центр министерства сель-

ского хозяйства. Только-только разошелся Никита Сергеевич, чтобы поучить американцев, как надо разводить свиней и овец, а уже надо уезжать. В 12.45 он в Национальном клубе печати. Его проводят в отдельную комнату для почетных гостей и предлагают стакан виски с содовой водой.

День жаркий, Хрущеву хочется пить. Он берет стакан, делает большой глоток и морщится. Журналисты, которые следят за каждым его движением, тут же набрасываются на него:

— Вам не нравится американский виски?

— Да, испорченная вода, — посетовал Хрущев. — Трудно понять, чего больше — воды или виски!

А пока журналисты соображают, не заложен ли здесь какой-нибудь глубокий политический смысл, Никита Сергеевич проходит за длинный стол президиума. Настроение у него отличное.

Зал полон так, что яблоку упасть негде. У противоположной стены на подмостках выстроилась армия теле- и кинооператоров. Всего в зале собралось 450 человек — все отборные мастера пера.

Первый вопрос огородил его:

— Правда ли, что во время XX съезда вы получили записку, в которой спрашивалось: что делал Хрущев, когда Сталин совершал свои преступления. Записка была не подписана. Рассказывают, что вы предложили этому человеку встать и показать себя залу. Никто не встал. Тогда вы сказали: «Вот вам ответ».

Зал разразился хохотом. Глаза у Никиты Сергеевича сузились, лицо налилось кровью.

— Я хотел бы спросить тех, кто придумал этот вопрос, — вкрадчиво начал он, — когда они его сочиняли, когда они его выдумывали, какие цели они преследовали, чего они хотели? Вы, очевидно, хотите поставить меня в глупое положение и уже заранее смеетесь... Но на провокацию я не пойду. Ложь, на каких бы ногах она ни ходила, никогда не сможет угнаться за правдой.

— В своем выступлении вы говорили, что не должно быть вмешательства во внутренние дела дру-

гих стран. Как совместить эти слова с русским вмешательством в дела Венгрии?

Хрущев разъярился не на шутку.

— Венгерский вопрос у некоторых завяз в зубах, как дохлая крыса, — кричал он. — Им это и неприятно и выплюнуть не могут. Я вам не одну дохлую кошку могу подбросить. Она будет свежее, чем вопрос известных событий в Венгрии.

И наконец, может быть, самый острый вопрос, «отшлифованный, как писала советская пресса, на кузне «холодной войны»:

— Не объясните ли вы вашу знаменитую фразу: «Мы вас похороним»?

— Да, — признал Хрущев, — я действительно говорил нечто подобное, но мое высказывание извратили сознательно.

Он с удивлением оглядел аудиторию:

— Я не имел в виду какое-то физическое закапывание... Моей жизни не хватило бы, если бы я вздумал каждого из вас закапывать. Речь шла об изменении общественного строя. — Тут Никита Сергеевич сел на любимого конька. — Каждый грамотный человек знает, что в мире существует не один общественный строй. Был феодализм, его заменил капитализм. Но капитализм породил непримиримые противоречия. Каждый строй, изживая себя, порождает своих наследников...

Напрасно ведущий с отчаянным видом поднимал над головой цифры, показывая, что время, отведенное для пресс-конференции, истекает. Вот счет пошел уже не на минуты, а на секунды. Они пройдут, и телевизионные станции будут автоматически отключены, но Хрущев уложился секунда в секунду.

— Спасибо за внимание, — произнес он с широкой улыбкой.

Непостижимо быстро мог менять настроение этот человек.

Через несколько часов та же тема в центре дискуссии с американскими сенаторами в Капитолии. Хрущев провел ее в стиле лихой кавалерийской атаки. Он посоветовал сенаторам подать в отставку ввиду их

несостоявшихся прогнозов о крахе социалистической системы. При этом он показал на бородавку у своей переносицы.

— Бородавка здесь, я ничего не могу с ней поделать. Так и вы с социализмом. Я понимаю, — иронизирует Никита Сергеевич, — что не всегда бывает легко отказаться от старого, отживающего и перейти к новому, прогрессивному.

И с доброй улыбкой, так, чтобы уже самому непонятливому стало все ясно, говорит с обезоруживающей простотой:

— Бывает и так: вы ждете дочь, а жена родит вам сына, или, наоборот, ждете внучку, а на свет появляется внук, конечно, вы испытываете разочарование, но что поделаешь...

В зале стоит тишина. Сенаторы переваривают услышанное.

А Никита Сергеевич уже с металлом в голосе продолжает:

— Мы успешно строим сейчас коммунизм. Для нас — это наилучший строй. Мы не просим вашего одобрения. Мы хотим одного: чтобы нам не мешали.

— Еще один вопрос, — говорит сенатор Фулбрайт. — Вы убеждены, что ваша система лучше нашей...

— Абсолютно убежден, — отвечает Хрущев.

— Но что произойдет, если вдруг выяснится, что капиталистический строй лучше? Примиритесь ли вы с этим фактом или же примените силу?

— Если бы история подтвердила, что капиталистический строй действительно открывает наилучшие возможности для развития производительных сил общества и лучшей жизни человека, — а мы в это ни на копейку не верим, — то я первым проголосовал бы против коммунизма.

С опозданием вошел сенатор Джон Кеннеди, который уже начал свою кампанию за избрание президентом. Он сел в конце зала и вопросов не задавал. По неписаным правилам конгресса молодые сенаторы должны уступать старшим. Поэтому он молчал и

чертил на листе бумаги какие-то каракули. По случаю судьбы они сохранились: «Чай — Водка — Если бы мы пили водку все время, мы не смогли бы запускать ракеты на Луну... Коричневый костюм — Французские манжеты — Коротышка — Толстяк, две красные ленточки, две звезды».

Что хотел, да и хотел ли сказать этим что-нибудь будущий президент? А может быть, просто оставил нам нечто вроде имажинистского портрета — так, отдельные слова-образы без особого смысла между ними?

После выступления Хрущева сенатор Фулбрайт подвел Кеннеди к Хрущеву.

— Какой молодой, — сказал Хрущев, пожимая ему руку.

— Это не всегда мне помогает, — отвечает Кеннеди.

«Кеннеди произвел на меня впечатление, — позднее вспоминал Хрущев. — Я запомнил его приятное лицо, которое временами было суровым, но неожиданно преобразалось простодушной улыбкой...»

Несколько недель спустя Фулбрайт переслал Кеннеди визитную карточку Хрущева, которую тот направил всем сенаторам с такой шуточной припиской: «Дорогой Джон... Может быть, эта карточка поможет вам выбраться из тюрьмы, когда произойдет революция...»

В тот же вечер Хрущев дал ответный обед Эйзенхауэру в советском посольстве в Вашингтоне. Это было первое посещение американским президентом нашего посольского здания. По этому поводу вся 16-я улица была перекрыта полицейскими кордонами.

После борща и шашлыка Хрущев произнес тост:

— Мои друзья и я провели сегодня прекрасный день. Должен сказать, что вы — настоящие эксплуататоры и хорошо поработали, эксплуатируя нас. Не знаю, как эксплуататоры, остались ли они довольны нами, но эксплуатируемые в данном случае довольны эксплуататорами.

Все смеялись.

В общем, все шло хорошо. Вот только совпосол грустил. Ему слово:

«Мы, должно быть, несколько перестарались с приведением посольства в порядок. На обеде Эйзенхауэр начал расхваливать помещение, чем сильно нам напортил. Дело в том, что только накануне мы пожаловались начальству, что здание посольства очень старое и крайне неудобное для работы сотрудников, прося согласия на строительство нового. После хвалебных высказываний Эйзенхауэра, побывавшего только в представительских залах, а не в рабочих помещениях, Никита Сергеевич заявил: «Вот видите, президент США считает помещение посольства прекрасным, а посол не доволен, хочет строить новое здание». Словом, наше предложение было отклонено».

Первые два дня в Америке прошли в идеологических дебатах. С каким-то болезненным сладострастием Никита Сергеевич рвался разъяснять американским бизнесменам, конгрессменам и политикам примитивизированные до уровня средней школы азы марксизма-ленинизма. Для него, очевидно, это было своего рода самоутверждением, переходящим порой в обыкновенное ребячество: за мной, мол, весь ход истории и деваться вам все равно некуда. Из выступления в выступление на разные лады он назойливо разыгрывал один и тот же спектакль: вы капиталисты, а мы коммунисты — давайте дружить и мирно соревноваться, а потом мы вас все равно закопаем.

И так везде и во всем. Если только есть малейший повод, обыкновенная житейская неурядица, он тут же использует ее: глядите, капитализм загнивает. Например, случилось так, что он застрял в лифте между 29-м и 30-м этажами в самом дорогом отеле мира «Уолдорф Астория» в Нью-Йорке. Пришлось Никите Сергеевичу встать на табурет и вылезать на площадку тридцатого этажа. Казалось бы, ерунда, дело житейское, но Хрущев тут же ищет идеологическую подоплеку:

— Типичные капиталистические неполадки, признак загнивания.

Но вот что удивительно: его внимательно слушают, с ним пытаются спорить. Развертываются долгие и страстные идеологические споры. А это как раз то, что нужно Хрущеву. Железная логика простой арифметики хрущевского марксизма, как ему кажется, сокрушает все доводы оппонентов. Он искренне верит, что побеждает.

Постепенно вокруг него создается аура конфронтации. Никсон призывает дать почувствовать Хрущеву «силу и волю Америки». Подливает масла в огонь прессы. Каждую его встречу подают, как бейсбольный матч, — кто победил. И в них Хрущев неизменно выигрывает. Его подают как непревзойденного оратора и полемиста. «Он относится к разряду борцов, — писала о нем «Нью-Йорк таймс», — которого нельзя сбить с ног...»

Однако в Нью-Йорке сам Хрущев резко меняет тональность своих выступлений. Нет, он не перестает обличать капитализм. Но эти обличения отходят теперь как бы на задний план. А на авансцену выходит новая тема: покончить с «холодной войной», утвердить на земле мир.

# КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ ПОЛНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ

Может быть, немного наивный и даже сентиментальный Эйзенхауэр хотел, чтобы Хрущев увидел Соединенные Штаты своими глазами — огромную великую страну, раскинувшуюся от океана до океана, где живут свободные люди, которые трудятся в поте лица. Ему хотелось показать дом своего детства в Абилене, чтобы этот самоуверенный русский лидер мог представить, как маленький мальчик из провинциального американского городка может стать президентом США. Эйзенхауэр знал, что советского премьера не удивишь новинками техники и гигантскими предприятиями. Но пусть Хрущев убедится, что американцы действительно живут в небольших и даже скромных, но хороших домах — таких, которые показывал ему Никсон на выставке в Сокольниках в Москве.

Что касается Хрущева, то он больше всего не хотел выглядеть наивным простаком, которому коварные капиталисты, как фокусники, достают из шляпы и показывают всякие чудеса процветания этого загнивающего мира. Ему все уши прожужжала подобными предупреждениями дружная команда помощников и советников — Аджубей, Сатюков, Ильичев и другие.

— Времена изменились, — внушали они. — Это Петр Первый в скромном костюме плотника ехал учиться на Запад. А вы, Никита Сергеевич, едете в

Америку, чтобы учить. Любой американский генерал из артели «юпитеров» и «авангардов» с удовольствием сменит свой мундир, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на советские звездные верфи или межпланетные пристани, от которых взмывают в высь советские космические корабли.

А Хрущев, падкий на лесть, с удовольствием слушал. Громыко молчал, и весь этот бред стал лейтмотивом хрущевской поездки по США. А в результате между Хрущевым и Америкой пролег глубокий ров.

Возник этот ров уже во время первой встречи в Нью-Йорке с некоронованными королями Америки — американскими мультимиллионерами, истинными хозяевами страны, как глубоко верил Хрущев.

Она состоялась в особняке Аверелла Гарримана, выходца из династии железнодорожных королей Америки, бывшего посла США в Москве, друга Советского Союза и сторонника разрядки. В свой дом на Ист-Сайде он пригласил тридцать самых именитых людей Америки. Почти каждый из них контролировал капитал более чем в 100 миллионов долларов. Одни их имена звучали как перечень ведущих корпораций мира. Среди них были Дин Раск, Дэвид Сарнофф, Джон Макклой, Джон Рокфеллер и Герберт Лимэн. Только вот бывший президент США Гарри Трумэн публично отклонил приглашение.

Собрались в библиотеке, стены которой были увешаны редчайшими картинами великих мастеров прошлого и настоящего. Хрущев питал надежду, что, поговорив с верхушкой американского делового мира, он сможет побудить ее к сотрудничеству и торговле с Советским Союзом. Уже тогда он понимал, что без этого ему будет трудно поднять экономику. Но разговор не получился. Именитые гости стали задавать все те же провокационные вопросы об оккупации Венгрии и рабском труде в Советском Союзе.

Никита Сергеевич обиделся. Эти люди показались ему типичными капиталистами, сошедшими с плакатов времен гражданской войны. Только у них не

было свиных рыл, которыми наши художники всегда их наделяли. И еще они много курили. «Как тени, сквозь табачное облако подходили они ко мне, — вспоминал Хрущев, — чтобы обменяться несколькими словами, определенно пытаюсь прощупать меня и узнать, что я за человек».

Но и гостям Хрущев не понравился. Вид сердящегося советского лидера показался Джону Гэлбрайту просто забавным: представьте «очень бесформенного человека в довольно бесформенном костюме, с очень большой розовой головой и короткими ногами, сидящим под картиной Пикассо». Наверное, действительно смешно.

Вечером Экономический клуб давал обед в «Уолдорф Астории». Надо сказать, что Хрущев нисколько не тушевался в компании этих элегантных мужчин во фраках и дам в вечерних туалетах. Наоборот, казалось, он получает удовольствие, эпатируя своим видом высший свет Америки. Садясь за стол, где на белоснежной скатерти возле тарелок были разложены ряды ножей, вилок, ложек и ложечек, он не терялся, а просто пользовался тем, что попадалось под руку. Больше того, он нарочито демонстрировал некий пролетарский снобизм. Тыкая толстым пальцем в длинный ряд расставленных перед ним фужеров и рюмок, Никита Сергеевич изволил пошутить:

— Ну ладно, из большого фужера мы водку пить будем. Это мне ясно. А эти маленькие зачем?

Во время обеда Хрущев произнес речь. Она была нацелена на одно: давайте торговать. Он даже привел слова Франклина, высеченные на фронте американского министерства торговли: «Целью США должна быть торговля на равной и справедливой основе».

Но серьезного разговора с бизнесменами не получилось. Вместо деловых предложений снова посыпались вопросы. Почему в Советском Союзе запрещают слушать американские радиопередачи? Почему нет свободной продажи американских газет и журналов? Почему введена цензура на сообщения американских корреспондентов?

Никита Сергеевич надулся:

— Не ваше дело, что слушают наши люди по радио. Кстати, вы иногда тоже глушите американские голоса. Я имею в виду печальный факт, когда великому негритянскому певцу Полю Робсону в течение пяти или семи лет отказывали в праве выезда за границу. Почему его голос глушили?

В это время огромная демонстрация собралась на Парк-авеню напротив «Уолдорф Астории». Это была самая крупная антихрущевская демонстрация в Америке. В ней участвовали венгры, украинцы, прибалты, американцы. Повсюду виднелись плакаты: «Хрушев — палач Украины», «6 000 000 заморены Хрущевым голодом», «Свободу Венгрии». Настроенные толпы менялось: то она скандировала бесконечные лозунги, порой и с русским матом, то замолкала, и тогда тишина заполняла улицу, а то вдруг начинала петь тоскливые украинские песни...

18 сентября ровно в три часа дня Хрущев поднялся на трибуну ООН и провозгласил свою знаменитую программу всеобщего и полного разоружения. Суть ее была примитивно проста: в течение четырех лет государства уничтожат все оружие и все средства ведения войны — армию, авиацию, флот. В результате у них останутся только ограниченные контингенты полиции и милиции, оснащенные легким стрелковым оружием для поддержания внутреннего порядка.

Больше часа говорил Никита Сергеевич, и зал слушал его как замороженный, хотя то, что он рассказывал, напоминало скорее добрую рождественскую сказку, чем серьезную программу. Несмотря на утопичность этого плана, его позитивно встретила мировая общественность.

Западные представители в ООН пытались сбить этот интерес. Они указывали, что Советская Россия уже дважды — в 1927 и 1932 годах — вносила подобные пропагандистские предложения в Лиге Наций. Испанский делегат напомнил, что ответил тогда советскому наркому Литвинову известный испанский историк Сальвадор де Мадарьяга:

— Помнит ли господин Литвинов басню про конференцию разоружения зверей? Когда они собрались, лев внимательно посмотрел на орла и сказал: нужно запретить когти. Тигр взглянул на слона и заявил: нужно обрубить бивни. Слон, посмотрев на тигра, предложил вырвать клыки. И так по очереди каждое животное предлагало запретить то, чем не обладало, пока, наконец, не поднялся медведь и не произнес с медоточивой разумностью: друзья, давайте запретим все, все, кроме всеобщих объятий.

Но... Ассамблея дружно аплодировала Хрущеву. «Ни один христианин не мог выдвинуть лучшего плана, чем этот», — заявил глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джерри Фишер.

Что ж, расчет Хрущева оказался точным. В обстановке, которая складывалась в мире к концу пятидесятых годов, мало кто мог бы решиться открыто выступить против самой идеи всеобщего и полного разоружения. Американским, да и другим западным представителям в ООН пришлось скрепя сердце сделать вид, что они тоже одобряют эту идею. Делегация США даже стала соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой указывалось: «Вопрос о всеобщем и полном разоружении является самым важным вопросом, который стоит перед миром в настоящее время».

Много шума наделал тогда Хрущев своим выступлением. Все это было красочно описано. Вот только одна маленькая деталь выпала — где, когда и при каких обстоятельствах появилась у него эта гениальная идея? Неизвестно. В анналах ЦК или Министерства обороны ответа на эти вопросы не найти. Да и серьезной проработки, когда просчитываются цифры, делаются выкладки, рассматриваются варианты, — ничего этого не было. Все обстояло куда проще.

Идея эта родилась в комнате № 1001 в МИДе на Смоленской площади, где находилась референтура по разоружению.

Разоружение пользовалось особым расположением

Громыко. И не только потому, что тут была та самая ниша, где он мог раскрыть свой талант как дипломат. Но и потому, что тут ему представлялась возможность еще и отличиться перед Хрущевым инициативностью и нестандартным подходом.

Наступившая в стране «оттепель» требовала стряхнуть оковы льда и с внешней политики. Хрущев искал новые широкие подходы к международным проблемам. Особенно к тем, которые дали бы ему доступ к высокой трибуне для пропаганды обновленного социализма. На эту трибуну Хрущев хотел взойти под знаменем борьбы за мир и разоружение.

Но вот беда — кинулись искать эту программу, а ее нет и в помине. Хуже того, ни в ЦК, ни в МИДе, ни в других высоких учреждениях не оказалось даже специалистов, которые бы серьезно занимались разработкой проблемы разоружения.

Вся сталинская программа разоружения занимала две трети странички, а наблюдали за ее осуществлением — один, от силы два дипломата пенсионного возраста, которые для активной дипломатической работы уже не годились.

Громыко решил срочно поправить дело. По его указанию наскоро отобрали два выпуска аспирантуры МГИМО 1956 и 1957 годов, и при отделе международных организаций была торжественно создана референтура по разоружению. Она сплошь состояла из молодых атташе, и только начальником у них был второй секретарь Юлий Воронцов. Он казался им тогда ужасно старым и консервативным.

Очень скоро они стали вызывающе называть себя «славной референтурой» — Glorious referenture. Для них это был знак качества. Что ж, они были молоды и безрассудны, влюблены в проблему разоружения и преданы ей. Дни и ночи проводили они в своей славной референтуре на 10-м этаже высотного здания на Смоленской, отчаянно споря над фантастическими планами, которые сами и сочиняли. Там же писались и длинные речи для Хрущева и Громыко.

Сама референтура размещалась в небольшой ком-

нате с огромным окном, глядящим на тихую улицу Веснина. В комнате — шесть канцелярских столов и большой плюшевый диван. Упоминание о нем — деталь немаловажная, поскольку всем членам «доблестной референтуры», как ее именовали в МИДе, столов не хватало и некоторым приходилось сидеть на диване, ожидая, когда освободится какой-нибудь стол.

Впрочем, были люди, которые не претендовали на место за столом. Например, Марат Антясов — один из лучших речеписцев в этой комнате. Он приходил с утра и тихонько садился в уголке дивана. Если его не было, то записку ему прикрепляли скрепкой на спинку дивана. Получив задание сочинить речь или интервью, он спокойно складывал нужные ему бумаги в авоську и уходил работать домой — он был «разоруженец-надомник». Ему кричали вслед:

— Марат, стой! Ты секретные бумаги запихнул в авоську!

Но он отмахивался от шутников как от назойливых мух. Всем было хорошо известно, что секретных бумаг он не терпел и принципиально их не заводил. Непорядок, конечно. Но речевик он был отменный, и поэтому ему прощали.

В комнате 1001 постоянно спорили. Темы были разнообразны, но всегда актуальны: можно ли прийти в коммунизм прямо из феодализма, хороший ли человек — вождь Мао Цзэдун, как определить, что у тебя аппендицит, можно ли обнаружить подземный ядерный взрыв с помощью мировой сети сейсмических станций и так далее.

За средним столом справа сидел сильно сутулый, худенький молодой человек в больших очках и с пышной шевелюрой выющихся волос. Он всегда что-то писал и в то же время принимал самое активное участие в любом споре, азартно крича и жестикулируя. Его взгляды были радикальны и безапелляционны — выкинуть Сталина из Мавзолея немедленно, запретить поэзию как глупую и ненужную выдумку. И еще он брался лучше любого врача поставить ди-

агноз каждому заболеванию и очень бывал доволен, когда он оправдывался.

Этим молодым человеком был Аркадий Шевченко — будущий советник Громыко, заместитель генерального секретаря ООН и агент ЦРУ, мирно живущий сейчас в одном из фешенебельных пригородов Вашингтона.

Ради справедливости следует признать, что он был одним из самых одаренных представителей «доблестной референтуры», хотя из ее рядов вышло немало известных дипломатов. Приехав завоевывать Москву из Евпатории, где простыми врачами трудились его родители, Шевченко сам пробился в МГИМО, прекрасно его закончил и по «громыкинскому набору» попал на стезю разоружения. Там он стал звездой первой величины и, разумеется, писал кандидатскую диссертацию на тему о разоружении.

Из-за этой диссертации все и произошло. Дело в том, что в его неординарной голове нередко рождались мысли, которые никак не удавалось втиснуть в прокрустово ложе советской науки. Кафедра в МГИМО их просто отвергала, и Аркадия бесчисленное число раз заставляли переделывать диссертацию.

— Грязные торгаши от науки, — кричал он в комнате «тысяча и одна ночь», — я публично посрамлю вас и заставлю признать, что я был прав.

И заставлял, причем не раз. Для этого он нашел безотказный способ. В те времена Хрущев чуть ли не каждый день выступал или давал интервью по вопросам разоружения. Практически все они готовились в 1001-й комнате. Откуда прямым ходом шли к завотделом Новикову, а от него — к помощникам Хрущева. В эти речи Аркадий Шевченко наловчился вставлять пассажи, которые в нужном ему свете трактовали тот или иной спорный вопрос разоружения, да притом еще в агрессивной хрущевской манере.

Обычно разоруженческий раздел в этих речах не менялся — МИДу доверяли, а в разоруженческих делах никто не разбирался, да и не хотел разбираться. Но заведующий ОМО К. В. Новиков длинных хрущевских речей не любил.

— Вот этими руками я написал все письма Сталина Черчиллю во время войны, — поучал он молодых дипломатов. — Я усвоил его стиль так, что они шли без единой поправки. Ну, например, «Ваше письмо получил. Точка. С письмом не согласен. Точка. И. Сталин». Точка. Вот как надо писать! А теперь? Какое-то словоблудие! Социализм — это не колбаса, давайте торговать. Нет, я так писать не могу. Это вы, молодые, пишете.

Поэтому приносимые ему проекты читал по диагонали, в суть особенно не вникая. Так и получалось, что обычно проходило то, что было написано в комнате 1001. Из этого не следует делать вывод, что «доблестная референтура» творила, что хотела, а Хрущев был ее бездумным рупором. Боже упаси, нет. Референтура творила в строгих рамках официально заявленной позиции. Ну, как, скажем, мастера-иконописцы XVI—XVII веков. В этом-то и была суть игры. Ведь в рамках официальной линии всегда есть много нюансов, которые можно повернуть то так, то эдак...

Конечно же вся комната 1001, затаив дыхание, следила за этой неравной борьбой Аркадия с кафедрой. Каждое выступление Никиты Сергеевича ждали с нетерпением не потому, что хотели услышать, какую очередную истину провозгласит вождь, а чтобы узнать, сохранился в ней Аркашкин пассаж или нет.

И обычно пассаж был на месте. Диктор произносил его в зависимости от содержания то торжественным, а то и угрожающим тоном. Но заявленное Хрущевым сразу же становилось непреложной истиной, законом науки.

— Ага, — кричал Шевченко, — съели? Теперь вы у меня попляшете!

Так же случилось и с всеобщим и полным разоружением. Зашел на кафедре спор о прошлых советских инициативах по всеобщему разоружению, выдвинутых еще в Лиге Наций. Он доказывал, что это хорошие предложения, а ему возражали — пустышка, мол, это все так, одна пропаганда.

Вернувшись к себе на десятый этаж, Аркадий,

как всегда, поклялся проучить «грязных торгашей». В очередную речь Хрущева был вставлен прекрасный пассаж о смелых инициативах советской дипломатии, выступившей еще в конце двадцатых годов с программой всеобщего и полного разоружения. Но к вящему изумлению референтуры на этот раз речь Хрущевым была произнесена, а о всеобщем разоружении — ни слова.

Разгадка пришла через несколько дней, когда в комнату 1001 поступило задание от Громыко: готовить новую масштабную инициативу — советскую программу всеобщего и полного разоружения. Тут все стало ясно, да еще помощники рассказали:

— Прочитал Никита Сергеевич проект речи и говорит: зачем же такую хорошую идею отдавать прошлому. Надо нам самим такую программу разработать. Мне осенью в Америку ехать придется, там, в ООН, и выдвинем.

Случилось это в конце лета 1959 года. Так что времени на разработку новой программы разоружения совсем не было. Проклиная на чем свет стоит Аркашку, день и ночь трудилась «доблестная референтура» над этой программой и речью Хрущева в ООН.

## ПО АМЕРИКЕ

Никита Сергеевич покидал Нью-Йорк воодушевленным. Еще находясь под впечатлением своей замечательной речи в ООН, он решил пообщаться с простыми людьми, проехать по знаменитым нью-йоркским трущобам, о которых читал у Горького, и пожать руки обездоленным неграм — настоящим братьям по классу. А вместо этого его возят туда-сюда по автостраде вдоль скучной Ист-Ривер.

Посольство тоже считало, что американцы хотят ограничить контакты советского лидера с простыми людьми. «Не было организовано здесь ни одного посещения предприятий или встреч с рабочими, — сетовал Меньшиков. — Даже фешенебельную Пятую авеню отказались показывать, не говоря уже о негритянском районе Гарлем, хотя это и было обещано».

— Вы что же, боитесь показать, как живут у вас негры? — спрашивал Меньшиков.

Теперь, когда ехали в аэропорт, Хрущев настоял: давайте проедем по Гарлему. Кортёж машин промчался по пустой негритянской части города.

— Вот видите, — говорил Лодж, сопровождавший Хрущева, — никаких трущоб здесь нет.

— Вы везете нас не там, где они есть, — парировал Меньшиков.

С этой небольшой интермедии начиналась знаменитая семидневная поездка Хрущева по Америке. Сопровождал его в ней специальный представитель президента Генри Кэбот Лодж. Хрущев ему сразу заявил:

— Мы оба военные, хотя и в резерве. Я — генерал-лейтенант, а вы — генерал-майор. Поэтому вы — мой подчиненный, и я ожидаю, что вы будете вести себя как младший по званию.

Лодж встал по стойке смирно и отдал честь:

— Генерал-майор Лодж готов к выполнению поручений.

И выполнял. Два раза в день он регулярно сообщал президенту все, что делал и говорил Никита Сергеевич.

Хрущев знал это и постоянно дразнил Лоджа. То вдруг невзначай скажет, что Советский Союз имеет беспрепятственный доступ к правительственным линиям коммуникаций США. А то и намекнет, что в руководстве ЦРУ сидит агент КГБ. Однажды он рассказал Лоджу, который замер от внимания, что русские строят куда более мощные атомные подлодки, чем американцы. В другой раз Хрущев утверждал, что Советский Союз имеет все виды атомного оружия, которые только можно создать. Скоро то же самое будет с ракетами. Но число ракет не назвал — просто сказал, что их много. Что касается тактического ядерного оружия, то он заявил обескураженному Лоджу, что Советский Союз вовсе не намерен его иметь: слишком дорогое удовольствие. То же относится и к ядерной энергии в мирных целях. Он рассказал, что Москва прекратила работы по созданию атомных электростанций и вместо них решила полагаться на газ, нефть и уголь.

Естественно, Лодж тут же бежал и докладывал об этих «откровениях» Хрущева. А Хрущев лишь довольно посмеивался.

Шесть часов в воздухе — и Хрущев пересек Америку. Свое знакомство с этой страной он начал с Лос-Анджелеса — самого протяженного города в мире, вытянувшегося вдоль тихоокеанского побережья.

И конечно же первый визит — в Голливуд. Накануне всю неделю кинозвезды буквально дрались за приглашение на встречу со звездой политической. Теперь все они собрались в «Кафе де Пари». Там были Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Гарри Купер, Элизабет Тэйлор, Глэн Форд, Ким Новак и еще четыре сотни знаменитостей. Радио Лос-Анджелеса назвало этот прием «самым

большим в истории Америки собранием звезд». Впрочем, в Америке все «самое-самое».

Но вот Рональд Рейган отказался присутствовать, о чем неоднократно потом напоминал. Зато была Мэрилин Монро. Она даже пришла вовремя, вопреки своему обыкновению всюду опаздывать. Ее попросили надеть «самое облегающее, самое сексуальное платье» и оставить дома своего мужа Артура Миллера. Учредители боялись, что встреча левого драматурга с Хрущевым может создать такую гремучую смесь, что вконец испортит эту званую встречу. Знаменитая кинозвезда даже предложила Хрущеву поцеловать ее, но советский гость скромно отказался.

По словам служанки, Мэрилин Монро потом рассказывала:

«Могу сказать, что Хрущеву я понравилась. Когда его представили, он больше всего улыбался мне, чем кому-либо другому... Он жал мне руку так долго и так крепко, что я подумала, что сломает ее. Полагаю, это лучше, чем целоваться с ним. Я не могу представить, как этот толстый и страшный, с бородавками на лице, может стать лидером столь большого числа людей. Кто захочет стать коммунистом, имея такого президента? Я думаю, что в России мало секса».

Между тем, как писали журналисты, «завтрак был съеден с рекордной скоростью». Все ждали выступления Хрущева.

Вступительную речь произнес хозяин студии «XX век Фокс» Спирс Скурас — небольшого роста, широкоплечий, с красноватым, изборожденным морщинами лицом. Говорил он каким-то простуженным, хрипловатым голосом и часто напоминал, что вышел из людей скромного достатка, а теперь правит огромной кинокомпанией.

Хрущеву он явно не понравился, тем более что стал занудно рассказывать о прелестях американского образа жизни. Сейчас, говорил он, когда «железный занавес», отделяющий Голливуд от советской киноиндустрии, немного приподнялся...

— Жуков, — крикнул Хрущев председателю Комитета по культурным связям, — сколько американ-

ских фильмов мы отобрали для показа в Советском Союзе?

— Десять.

— Сколько наших фильмов взято для показа здесь?

— Семь.

И началась полемика — мелкая, но страстная, в которой Скурас обязательно хотел сказать слово последним.

Но Хрущев тоже завелся: почему его не пускают в Диснейленд?

— Что у вас там? Пусковые установки ракет? Американские власти говорят, что не могут обеспечить моей безопасности. Что там — эпидемия холеры? Гангстеры захватили власть?

После этого все отправились в павильон, где Фрэнк Синатра, Ширли Мак-Лейн и Морис Шевалье снимали фильм «Канкан». Синатра исполнил для гостей песенку «Живи и дай жить другим», а потом предложил, чтобы простая танцовщица сфотографировалась с Хрущевым. Девушка подбежала к нему, но тут репортеры стали требовать: подними юбку выше, выше. Девица гордо отказалась. Когда Лодж сообщил Эйзенхауэру об этом эпизоде, президент сказал:

— Разузнайте имя этой девушки — я пошлю ей благодарственное письмо.

А Хрущев так отозвался о «Канкане»:

— С моей точки зрения, с точки зрения советских людей, это аморально. Хороших актеров заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенным, развращенным людям. У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задницами.

В Лос-Анджелесе все шло как-то не так.

По дороге из Голливуда Никита Сергеевич пришел в ярость при виде женщины в траурном платье и с плакатом «Смерть Хрущеву — палачу Венгрии». Не успел остыть, а тут уже на прием ехать надо.

Отель «Амбассадор» был переполнен. Собралось несколько сот именитых граждан Лос-Анджелеса. Речь держал мэр города Поулсон. Поначалу все вроде бы шло хорошо. Мэр говорил любезности, Никита Сергеевич улыбался, когда вдруг услышал знакомые слова:

— Вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев, и не стремитесь к этому. Если будет нужно, мы будем сражаться насмерть.

В зале наступила неловкая тишина... А Никита Сергеевич сразу же вспыхнул:

— Хочу спросить: зачем вы возвращаетесь к тому, что мной было разъяснено в первых выступлениях по прибытии в Америку? Мэры тоже, видимо, газеты должны читать, хотя бы иногда.

И дальше, распаяясь все больше и больше, он прокричал:

— Мы сильны не менее, чем вы... Но иной раз у меня возникает мысль: не задумал ли кое-кто пригласить Хрущева и так «потереть» его, так показать ему силу и мощь Соединенных Штатов Америки, чтобы он немножко колени согнул.

И, обращаясь к конструктору Туполеву:

— Если сюда мы летели около двенадцати часов, то отсюда долетим, наверное, часов за десять? Как вы думаете, товарищ Туполев?

— Да, Никита Сергеевич, долетим, — ответил инженер.

В зале наступила мертвая тишина. В своих воспоминаниях Хрущев пишет, что при этих словах жена посла Томпсона разразилась слезами: «Она испугалась, что произойдет война или нечто подобное».

Вот тут-то и кроется одна из загадок Хрущева. Что это: вспышка ярости необузданного человека, каким он иногда хотел казаться, или хорошо разыгранный спектакль хладнокровного и расчетливого политика, каким на самом деле был Хрущев? Пожалуй, последнее. Никита Сергеевич с подачи своего ближайшего окружения действительно считал, что в Америке на него пытаются оказать давление, хотят запугать и унижить, чтобы сделать более податливым на переговорах с Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде. Об этом ему постоянно нашептывали Меньшиков, Аджубей, Харламов. Теперь он решил, что настал момент оказать контржим и переложить давление на Эйзенхауэра. Поэтому спектакль, начавшийся в отеле «Амбассадор», имел продолжение.

Вернувшись в гостиницу, перед которой также сто-

яли пикетчики с антисоветскими лозунгами, Никита Сергеевич собрал делегацию в своих обширных апартаментах. Все были расстроены и подавлены. Хрущев снял пиджак, сел на банкетку и внимательно оглядел присутствующих.

— Как смеет этот мэришка нападать на гостя президента? — сорвался он сразу на крик. — В Диснейленд не пустили. Возят в запечатанных машинах, встреч с американским народом не допускают. На каждом шагу пикетчики, которые конечно же подставлены американским правительством. Может быть, следует запакываться и уезжать в Москву? Мы — представители великой державы и не потерпим, чтобы с нами обращались как с колонией!

Так продолжалось около получаса. Как вспоминают свидетели этой сцены, ярость Хрущева временами, казалось, не имела предела. Но глаза при этом лучились озорством. Периодически Никита Сергеевич поднимал руку и показывал пальцем на потолок — мол, мои слова предназначены не вам, а тем, кто прослушивает через натканые повсюду микрофоны.

Наконец монолог прекратился.

Прошла минута, другая, все растерянно молчали. Хрущев вытер пот с лысины — роль потребовала изрядного напряжения — и повернулся к Громыко:

— Товарищ Громыко, идите и немедленно передайте все, что я сказал, Лоджу.

Андрей Андреевич встал, откашлялся и направился к двери. На его и без того неулыбчивом лице обозначалась мрачная решимость. Он уже взялся за ручку двери, когда его жена Лидия Дмитриевна не выдержала.

— Андрюша, ты с ним повежливее!.. — взмолилась она.

Андрей Андреевич никак не отреагировал на эту трагическую реплику, дверь за ним беззвучно затворилась.

Хрущев ликовал: реакция Лидии Дмитриевны свидетельствовала, что спектакль удался. Доволен был и закулисный режиссер этого спектакля — посол Меншиков. Он вился вокруг Хрущева, предупреждая, что американские власти хотят унижить главу Советского правительства и не допустить его встреч с американ-

ским народом, который непременно распахнет ему свои трудовые объятия. В своих воспоминаниях посол напишет потом: «Сложилось впечатление, что кое-кто пытался спровоцировать разрыв уже вначале, чтобы не допустить серьезных переговоров, намечавшихся в конце поездки. Но в решающий момент Лодж не рискнул довести дело до разрыва...»

Неизвестно, подействовал ли этот спектакль, но на следующий день Лодж как ни в чем не бывало доложил Хрущеву:

— Мы решили продолжать поездку, как если бы вы были кандидатом в президенты.

Так началось десятичасовое путешествие Никиты Сергеевича вдоль Тихоокеанского побережья на экспрессе «Дей Лайт». На остановках он произносил речи, целовал детей и раздавал значки со звездочкой, пока машинист не давал гудок, и он едва-едва успевал вскочить на подножку вагона.

Например, на станции Сан-Луис-Обиспо собралась многотысячная толпа. Люди приветливо машут руками. Никита Сергеевич выходит из вагона, ну как прямо где-нибудь в Смоленске, и сразу же к людям — пожимать протянутые мускулистые руки. Высокий плотный человек держит на плечах ребенка, а в руке у него плакат: «Разоружение! С контролем или без него!» Хрущев ему проникновенно говорит:

— Мы — за разоружение с контролем.

А сотни людей аплодируют и скандируют слова «мир, дружба». В таких идиллических тонах описывала эту поездку советская пресса.

Хрущев был доволен — наконец-то ему дали возможность напрямую встречаться с простыми людьми Америки. Когда появлялись пикетчики с антисоветскими лозунгами, он говорил Лоджу:

— Бедный Эйзенхауэр. Теперь я начинаю понимать, какие у него проблемы. Простые люди Америки — как я. И совсем другие люди — это негодяи из окружения президента.

Но встреча в Сан-Франциско с профсоюзными лидерами из АФТ-КПП разочаровала Хрущева. В течение трех часов во время обеда они атаковали его острыми

вопросами, в которых опять фигурировала Венгрия, глушение «Голоса Америки» и тому подобное. Внешне Никита Сергеевич оставался спокойным, но вице-президенту АФТ-КПП Рейтеру врезал:

— Вы родились среди рабочего класса, но говорите как представитель капиталистов. Когда Херст печатает подобные вещи, мне это понятно, но когда то же самое повторяет один из лидеров профсоюзов, я с горечью думаю, до чего же вас разложили монополисты.

Демонстрируя, до чего докатилась Америка под ярмом капитала, Никита Сергеевич повернулся к публике задом, нагнулся, дрыгнул ножкой и, задрав полы пиджака, попытался изобразить канкан — посещение Голливуда не прошло даром. Потом снова повернулся к ошалевшим зрителям:

— Вот что вы называете свободой! Свободу для девушек показывать свои задницы. Для нас — это порнография. Это капитализм заставляет девушек выделять такие вещи...

На следующее утро — это было 21 сентября — Никита Сергеевич проснулся, как всегда, рано. Над Сан-Франциско только поднималось солнце. Он вышел из своего гостиничного номера, спустился в вестибюль с несколькими охранниками и, никем не замеченный, прошел на улицу. Хрущев был доволен, как ребенок. Впервые за всю поездку ему удалось оторваться от многочисленного эскорта, который продолжал спать. Лишь несколько корреспондентов успели к нему присоединиться.

Полчаса ходил Хрущев по незнакомому городу. А дальше все снова по протоколу: морская прогулка на катере береговой охраны «Грешэм».

Это было впечатляющее зрелище. Белый корабль рассекает прозрачные воды залива. Слева и справа мчатся двенадцать катеров, отводя в сторону движение военных и торговых судов. Над кораблем висят вертолеты. Сбоку — широкая панорама Сан-Франциско. А дальше, по другую сторону холма, расстилается бесконечная синяя гладь Тихого океана.

Обычно люди думают, что великие государственные деятели, встречаясь между собой, говорят умные вещи,

блещут эрудицией и остроумием. Ничего подобного. Это глубокое заблуждение. Нет ничего более банально-го и серого, чем беседы политических лидеров. И Хрущев отнюдь не отличался ни игрой ума, ни изяществом. Взять хотя бы состоявшийся разговор на борту этого американского катера.

Командор Кларк обращает внимание Хрущева на небольшой скалистый островок, на котором возвышается угрюмое строение, похожее на древний замок:

— Это наша достопримечательность. Остров Алькатрац — знаменитая тюрьма. Еще никому не удавалось сбежать оттуда. Здесь слишком холодная вода и сильное течение. Тонут!

— А вы не думаете, — отвечает Хрущев, — что хорошо бы дожить до времени, когда в мире совсем не будет тюрем и полиции?

Кларк молча стоит по стойке смирно. Корреспонденты торопливо вытаскивают из карманов блокноты и карандаши. А Хрущев продолжает:

— Что для этого нужно? — Он помолчал, а потом с воодушевлением начал очередную лекцию по азам марксизма-ленинизма: — Для этого нужно одно: чтобы не было частной собственности. Чем она вредна? Тем, что порождает у людей жадность и стремление к обогащению любыми средствами. А если частной собственности не будет, человек станет думать только о том, как обеспечить общее благо. Тогда уже никому не придет в голову воровать у другого.

В этот момент на горизонте показалась серая громада мощного американского авианосца. Капитан попытался привлечь к нему внимание Хрущева.

— Военные корабли хороши лишь для того, чтобы совершать на них поездки с государственными визитами, — вдруг неожиданно для самого себя начал развивать свои мысли Хрущев, которые до этого он высказывал разве что на заседаниях Президиума или в узком кругу доверенных лиц. — А с точки зрения военной, они отжили свой век. Отжили! Теперь они лишь хорошие мишени для ракет! Мы в этом году пустили на слом свои почти законченные крейсера. Они были уже готовы на девяносто пять процентов.

Стоявшие рядом моряки и журналисты замерли от удивления.

— Но во время войны ваши корабли показали хорошие качества, — возразил Кларк.

— Времена меняются, — разошелся Хрущев. — Раньше подводная лодка должна была приблизиться к борту крейсера на пять километров для того, чтобы потопить его. Теперь же его можно пускать на дно ударами за сотни километров. На борту крейсера, например, находится тысяча двести — тысяча триста человек, а ведь он чрезвычайно уязвим. Зачем же использовать такие устарелые средства войны на море?

Командор Кларк молчал.

— Нам советских людей жалко, — продолжал Никита Сергеевич. — Поэтому мы сохраняем в строю суда береговой охраны, сторожевые корабли с ракетами на борту, подводный флот, также вооруженный ракетами, торпедные катера, тральщики. Вот и все. Другие корабли в наше время не нужны...

Корреспонденты начали оживленно обсуждать эту новость. Кто-то предположил, что русские теперь начнут строить огромный подводный флот. Хрущев тут же отреагировал:

— Как раз наоборот. Мы сейчас начинаем приспособливать подводные лодки под ловлю селедки.

— А как вы это делаете? — удивленно спросила известная журналистка Маргарита Хиггинс.

— Я не рыболов, — ответил, улыбаясь, Хрущев. — Я только люблю кушать селедку. Больше всего люблю дунайскую сельдь. Она, по-моему, самая лучшая...

— Это не политическое заявление? — лукаво спросил Лодж.

— Нет, гастрономическое, — парировал Никита Сергеевич.

Корабль тем временем подошел к Золотым воротам и уже разворачивался, ложась на обратный курс.

— Ваш подводный флот, который занят ловлей сельди, сосредоточен во Владивостоке? — с невинным видом спросил Лодж.

— Селедки — не свиньи, — ответил ему Хрущев. —

Их нельзя разводять, где угодно. Их мы ловим там, где они находятся.

— На каких языках вы говорите, господин премьер-министр? — снова спросил Лодж.

— На своем, на красном, — быстро отреагировал Хрущев.

Вот такие умные дискуссии проходили на борту сторожевика «Грешэм».

Через день Хрущев был уже в Айове. Пожалуй, самый удачный день в его поездке по США. Повсюду, где бы он ни появлялся, его встречали тепло и дружелюбно. Не так, как в Вашингтоне или в Лос-Анджелесе. Одна американская газета объявила даже 22 сентября Днем Хрущева на Среднем Западе.

Он давно хотел посмотреть ферму Гарста, знаменитого своими гибридами кукурузы. А всем было известно, что советский предсовмина буквально помешан на кукурузе. Хрущев называл ее не иначе как «королевой полей» и считал спасительницей приходящего в упадок отечественного сельского хозяйства, силком заставляя сеять ее по всей стране.

Ему хотелось спокойно провести день на ферме у Гарста, все тщательно посмотреть и пощупать руками, ну и немножко передохнуть. Но не тут-то было. На ферме творилось нечто невообразимое. Сотни корреспондентов, фоторепортеров, представителей кино, радио и телевидения съехались к Гарсту. Телеграфное агентство Ассошиэйтед Пресс заняло один амбар, а агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл захватило другой. На старой силосной башне была установлена высокая телевизионная антенна, а фотографов на деревьях было больше, чем птиц. Джеймс Рестон из «Нью-Йорк таймс» иронически заметил: «Ко всему были подведены провода для звукозаписи, за исключением разве что поросят».

Ну а порядок наводили четыреста солдат американской армии в полном обмундировании и с винтовками в руках. Они тоже заполонили ферму, взяли под наблюдение близлежащие холмы, перекрестки, амбары, заборы. В воздухе висели вертолеты. Вся окрестная полиция была мобилизована для контроля за уличным движением и толпой.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало:

«Сотням корреспондентов и фотографов пришлось пробивать себе дорогу, и премьер с Гарстом едва могли продвигаться вдоль рядов возвышающейся кукурузы к силосной яме, мимо современных машин и к стойлу для скота. Всю дорогу Гарст раздражался сердитыми вспышками. Он поднял кукурузный початок и погрозил фотографам. Потом схватил горсть силоса и бросил в фотографов и корреспондентов».

А известный обозреватель Г. Солсбери получил даже увесистого пинка под зад от разгневанного хозяина. Зато высокий гость не терял хорошего расположения духа и лишь однажды шутливо пригрозил корреспондентам:

— Вот подождите, мы еще выпустим на вас быков Гарста...

Потом был Питсбург — город угля и стали, сотни тысяч рабочих, главным образом в металлургической промышленности. Настоящий рабочий класс, а не какие-то профсоюзные болтуны. С ними-то, трудовой косточкой Америки, и хотел встретиться Хрущев, почувствовать их настроение, пощупать крепость пролетарской солидарности.

Тем более что летом и осенью 1959 года американская печать почти ежедневно сообщала о забастовках металлургов. Они начались в Питсбурге и быстро распространились на всю страну — в них участвовало 500 тыс. рабочих. Полностью прекратили работу все сталеплавильные заводы Питсбурга. Индустриальное сердце Америки замерло... Эйзенхауэру даже предлагали принять меры, чтобы прекратить стачку еще до того, как придет Хрущев. Но президент решительно воспротивился:

— Разве мы хотим, чтобы Хрущев увидел, что в этой стране не уважают свободу? Почему нам нужно беспокоиться по поводу того, что люди могут бастовать в этой стране?

И вот Хрущев у цели — он в механическом цехе завода «Места». Но хотя по дороге окружение Хрущева постоянно указывало ему на «тяжелое зрелище» отсутствия «сверкающих огней и привычного заводского гула», на заводе, куда он приехал, никто о забастовке

и не упомянул. Вокруг него собрались сотни рабочих. Они приветствовали его и протягивали руки для пожатия. «Мир! Дружба!» — доносились со всех сторон выкрики на ломаном русском языке.

Никита Сергеевич был доволен. «Среди рабочих чувствую себя хорошо», — заявил он и дальше по цеху уже пошел как хозяин.

— Вот хорошее оборудование, — говорит он. — Мы готовы купить его. Продадите?

— Шюр (конечно), — несколько смутившись, отвечает директор компании.

— Шюр, шюр, — вторит ему Хрущев, — а как до дела доходит — не хотите торговать.

Перед тем, как покинуть цех, Хрущев подошел к автоматам, отпускающим кофе и прохладительные напитки. Его угостили стаканчиком кока-колы. Один из корреспондентов спросил:

— Нравится вам кока-кола?

— Нет, слишком сладкая.

— Вы предпочитаете водку? — вновь задал вопрос навязчивый корреспондент.

— Вы думаете, что русские только и делают, что пьют водку. Если бы мы так поступали, то не обогнали бы вас по производству и запуску ракет! — ответил Никита Сергеевич.

Через несколько часов он произнес речь в Питсбургском университете и предварил ее такими словами:

— Я многое хотел бы сказать, но, чтобы сократить время, прочитаю по бумажке первые два абзаца и последний абзац, а остальное вам зачитает сразу на английском языке мой переводчик.

Все было, как обещал Хрущев: переводчик прочитал всю речь — страниц пять, и, когда дошел до последнего абзаца, показал знаком Хрущеву. А тот неожиданно говорит:

— Знаете, пока я слушал перевод своей речи, я решил все-таки вам кое-что рассказать из личных впечатлений от посещения вашего города, и в особенности завода.

Зал разразился аплодисментами. До этого у аудитории было такое чувство, как будто ее обманули: пригласи-

силы на цирковое представление, а его нет — просто зачитывается какая-то скучная речь.

Но теперь зрители получили то, что ждали. Советский премьер говорил минут сорок — в своей обычной манере, без бумаги, с шутками, пословицами, поговорками.

В этом был весь Хрушев. Заранее написанных речей он сам до конца прочитать не мог — то ли терпения не хватало, то ли вдруг набежавшие мысли уводили в сторону. Путешествуя по Америке, он должен был произносить, как минимум, две речи в день. Все они были переведены, а русский текст всегда лежал у него в кармане. Но... Прочитав первые две-три фразы, Никита Сергеевич складывал странички, запихивал их в карман и, размахивая руками, начинал говорить нечто свое, пересыпая речь шутками-прибаутками.

Вот и речь в Питсбургском университете. Внешне она, пожалуй, не отличалась от других его речей — шумных, хвастливых и в то же время агрессивных. Но наблюдательный политик мог разглядеть, что направление мыслей Хрущева начало меняться. Вместо прямо или косвенно проводимого курса на «закапывание» капиталистической системы осторожно прорезается линия на сотрудничество с ней.

— Подумайте только, — заявил он своим слушателям, — как выглядели бы международные отношения, если бы США — самая мощная и крупная страна капиталистического мира — и СССР — самая крупная и мощная среди стран социализма — установили бы между собой хорошие отношения, а тем более отношения сотрудничества, которые, как мы хотели бы, переросли в дружбу.

Разумеется, это была и заявка на предстоящие переговоры с Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде. Помыслами Хрушев был уже там. И предлагал американскому президенту искать компромисс. Если мы «займем неприемлимые позиции: я — свою, а президент США — свою, то у нас завтра не будет делового разговора. Это были бы не переговоры для отыскания разумных решений, а одно упорство, которое, образно говоря, напоминало бы упорство двух быков: у кого крепче ноги, у

кого крепче лоб, у кого длиннее рога, кто кого быстрее проткнет рогами».

А Нина Петровна? Она и в Америке продолжала жить своей жизнью, никак не касаясь высокой политики, в которую так азартно играл ее муж.

Иногда для нее организовывали специальную женскую программу. Например, посещение знаменитых домов моделей. Но она, равнодушная к нарядам, там просто терялась. Однажды, на следующий день после такого посещения, — дело было рано утром за завтраком, — представительная дама из мидовского протокола, привезенная из Москвы, завела разговор с Никитой Сергеевичем, не стоит ли купить для его жены норковую шубу. Хрущев тут же вспылил:

— А на какие шиши? Я получаю командировочные, как все, — шестнадцать долларов в день. Нина Петровна приехала на мой счет.

В этом тоже весь Хрущев. Он был, пожалуй, последним советским руководителем, который не лез в карман к государству.

## КЭМП-ДЭВИД

Эта глава столь насыщена событиями, что их лучше излагать в хронологическом порядке, как в дневнике.

*25 сентября (пятница).* Хрущев вернулся в Вашингтон. В пять часов пополудни был в Белом доме на зеленой лужайке, где стоял наготове президентский вертолет. Там его ждал Эйзенхауэр, одетый по-дорожному, в спортивном светло-коричневом костюме и в кепи. Никита же Сергеевич был, как всегда, в сером мешковатом костюме и в шляпе. По крохотной лесенке они поднялись в вертолет. С ними — только охрана и переводчики.

За несколько минут до этого в воздух поднялся другой вертолет — с Громыко, Солдатовым, Меньшиковым, Гертером, Томпсоном и Лоджем. Обе машины взяли курс в сторону Аппалачских гор, где в 75 километрах от Вашингтона на восточном склоне горного кряжа Катоктин находится знаменитый Кэмп-Дэвид — Лагерь Давида, если перевести на русский язык. «За широкими окнами вертолета, — вспоминал потом один из участников, — от горизонта до горизонта расстилались поля и рощи, чуть тронутые первым дыханием поздней американской осени... Вначале внизу виднелись белые строения ферм, потом рощи пошли все гуще, и вот уже вертолет висит над почти безлюдными лесистыми холмами. Лишь кое-где в лесу просвечивают кровли вилл — их хозяева спасаются здесь летом от душающей вашигтонской мокрой жары».

Очень скоро вертолеты опустились на небольшую лужайку в лесу. Узкая дорожка вела к каким-то старым, поросшим мхом баракам. Не успел Хрущев подумать, что сбываются его опасения насчет бездомных собак на Принцевых островах, как оказалось, что все это не что иное, как умелая стилизация, скрывающая весьма комфортабельные виллы. Да и лес вокруг вовсе не лес, а хорошо ухоженный парк.

Впереди — небольшой пруд, выложенный серым камнем. Перед ним — одноэтажный домик, выкрашенный зеленой краской. Над узкой дверью надпись «Аспен» (осина), а по бокам — два медных сверкающих фонаря.

Это и есть загородная дача Эйзенхауэра. Она невелика: центральная зала с массивным камином, где весело потрескивают дрова, и окнами во всю стену, которые глядят на зеленую лужайку. Там президент обычно играет в любимый гольф. В крыльях по две спальни — с одной стороны будут жить Эйзенхауэр и Гертер, а с другой — Хрущев и Громыко. Советский премьер решил, что внешне дом выглядит как барак, но внутри богато убран и очень удобен — типично по-американски. Он был доволен: горный воздух после Вашингтонского зноя был свеж и прохладен.

Пужинали весьма скромно — ростбиф и морской окунь. Зато за тонкой деревянной ширмой играл небольшой оркестр морских пехотинцев. Звучали американские песни. И вдруг — что это? Знакомая мелодия — «Подмосковные вечера». Президент улыбается — это сюрприз гостю. А после ужина оба лидера и их свиты смотрели ковбойский фильм. Эйзенхауэр сказал:

— Я люблю ковбойские фильмы. Знаю, что они бесконечно содержательны и не требуют никаких мысленных усилий. Но в них всегда бывает много забавных трюков. И еще я люблю лошадей.

— Вы знаете, — ответил Хрущев, — когда Сталин был жив, мы все время смотрели ковбойские фильмы. Когда кино кончалось, Сталин всегда ругал их идеологическое содержание, но на следующий день мы снова были в просмотровом зале и смотрели другой ковбойский фильм.

Так прошел первый вечер в Кэмп-Дэвиде. Хрущев плохо спал во время путешествия по Америке, а у Эйзенхауэра еще не прошла простуда. Поэтому к полуночи они разошлись.

Гаррисон Солсбери послал в «Нью-Йорк таймс» следующее сообщение: «На приятной горной вершине в глуши северо-западного Мэриленда человек, который начал жизнь как фермерский мальчишка из Альбиена, и человек, который начал жизнь как пастушонок в Калиновке, приступили к 48-часовым переговорам, от которых зависит судьба человечества». А советская пресс-группа передала в печать такую информацию: «Сразу же по прибытии в Кэмп-Дэвид между Н. С. Хрущевым и Д. Эйзенхауэром начался обмен мнениями по вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон. Как стало известно, обмен мнениями проходит в атмосфере откровенности и стремления понять позиции обоих правительств».

*26 сентября (суббота).* Хрущев проснулся, как обычно, рано, выглянул в окно и удивился: все вокруг было белым. Густая пелена тумана накрыла Кэмп-Дэвид. Туман был настолько плотным, что даже деревья у его окна выглядели фантастическими чудовищами. Кстати, из-за тумана вертолеты не могли сесть в Кэмп-Дэвиде. Поэтому команде экспертов из госдепа и Белого дома пришлось гнать с бешеной скоростью на машинах, чтобы успеть к встрече.

Хрущев решил прогуляться. Облачился в украинскую рубаху с вышитыми цветными узорами, надел белые парусиновые брюки и позвал Громыко побродить вдвоем по ухоженным лесным тропинкам. Он хотел еще раз обговорить с ним переговорную тактику на предстоящий день. Она уже не раз обсуждалась в Москве. Дипломатические приемы Хрущева не блистали оригинальностью или разнообразием. Обычно вначале переговоров следовало выдвижение крайне жестких по тону и содержанию позиций. По его замыслу, это должно быть своего рода лихой кавалерийской атакой, которая своей внезапностью и напором ломает сопротивление противника и вынуждает его раскрыть запасные позиции. Если это не удавалось сделать с ходу, Хрущев ока-

пывался в траншеях и начинал позиционную войну. Он упорно вел жесткую линию, перемежая неумемную риторику прямыми угрозами. Так могло продолжаться очень долго. И только в самый последний момент, если противная сторона проявляла упорство и не шла на уступки, Хрущев резко менял тон и сам предлагал компромисс.

Такая тактика была уготовлена и для этой встречи. Хрущев говорил, что будет жестко давить на Эйзенхауэра, а там посмотрим. КГБ докладывало, что тылы у него обеспечены прочно: Аденауэр, по сути дела, изолирован в НАТО, когда поднимает вопрос о возвращении восточных земель. Нет единства среди союзников и в отношении воссоединения Германии. Громыко, как обычно, соглашался, многозначительно указывая на слабые места в американской позиции.

За несколько дней до этого президент Эйзенхауэр тоже обсуждал со своими помощниками тактику предстоящей встречи. Но в отличие от наступательной линии Хрущева решил занять выжидательную позицию.

Еще раньше он обещал президенту Франции де Голлю и английскому премьеру Макмиллану не вести переговоров с Хрущевым за их спиной: серьезные переговоры могут состояться только в присутствии руководителей Англии и Франции. В этой обстановке Эйзенхауэру оставалось только одно — выяснить, можно ли ожидать успеха на встрече большой четверки и при каких условиях. Суть дела в том, говорил Эйзенхауэр своим помощникам, что Хрущев сам сотворил берлинский кризис, хотя призывал к переговорам. Поэтому он, Эйзенхауэр, вероятно, даст согласие на проведение саммита, но только в том случае, если Хрущев снимет ультиматум по Берлину. Это даст возможность заняться и другими вопросами, но уже не под дулом пистолета.

Поспорили и о достоинствах Хрущева как переговорщика.

— Некоторые говорят, — заявил президент, — что Хрущев мастерски ведет дебаты. В действительности же, по-видимому, он умело уходит от трудных вопросов.

*8 часов 15 минут.* Хрущев с Громыко вернулись в «Осиновую хижину» как раз к завтраку. За столом уже сидели Эйзенхауэр, Гертер и небольшая группа других участников встречи. Еда была самой простой: овсянка, но не вареная, а прямо так — сырая, ее ели с молоком, а также яйца и кусок жареного мяса — стейк.

Вспоминали вторую мировую войну. Хрущев сидел напротив президента. Локти на столе, подавшись вперед и размахивая указательным пальцем, он рассказывал о жизни военного комиссара, Сталинградском сражении, ошибках Сталина. Практически он солировал.

— Я знаю, что у президента были дружеские отношения с Жуковым, — говорил он. — Единственный человек, который мог возражать Сталину, был Жуков. Он обладал сильной волей, и его трудно было сбить с толку, если считал свою позицию правильной. Это, конечно, очень хорошо для военного, но не для политика.

Затем, бросив хитрый взгляд на Эйзенхауэра, добавил:

— С вашим другом Жуковым все в порядке. Не беспокойтесь о нем. Он на Украине ловит рыбу и, как все генералы, вероятно, пишет мемуары.

После завтрака оба руководителя вместе с окружением перешли на террасу. Начались переговоры. Они шли сумбурно — Хрущев и Эйзенхауэр постоянно перескакивали с одной темы на другую. То говорили об американской политической системе, то вдруг начинали обсуждать экономику. За германской тематикой шла вдруг дальневосточная и Китай. Но центральным стержнем, вокруг которого все же крутился разговор, был, конечно, Берлин.

Президент несколько смягчил зубодробительные формулировки памятки для бесед с Хрущевым, которую ему подготовили в госдепе. Но линия его была твердой. Он сказал, что переговоры по Берлину невозможны в условиях ультиматума, который выдвинул Хрущев. Пока это положение не изменится, не будет даже разговора о возможности встречи на высшем уровне с участием США, Англии, Франции и СССР. Тем

более что такие встречи, по его мнению, обычно бесплодны.

Хрущев напомнил о своей речи в ООН, где он предложил всеобщее и полное разоружение. Соглашайтесь, и тогда не станет проблем с Берлином — они будут решены автоматически. Что касается встречи в верхах, то, по мнению Хрущева, она просто необходима и нужно начать ее организацию в максимально сжатые сроки.

Эйзенхауэр ответил, что США, как и СССР, хотят разоружения, но под строгим международным контролем. Американское правительство изучит советские предложения и даст ответ. На политическом языке это значило — от ответа ушел.

*10 часов 45 минут.* Президент пригласил Хрущева прогуляться, думая, что наедине тот будет более сговорчивым. Они бродили по каменистым тропам, вьющимся по холмам, на которых стоит Кэмп-Дэвид. С ними только два переводчика — Акаловский и Трояновский.

Это была как бы разминка перед серьезным разговором. Оба лидера зашли в комнату отдыха для охраны. Они уселись в кресла, а молодой морской пехотинец показал им класс игры в кегли. Затем продолжили прогулку по горным дорожкам.

Вернувшись в «Осиновую хижину», уединились каждый со своим министром иностранных дел — посоветоваться. Потом опять-таки вдвоем прошли на террасу и уселись за маленький столик, накрытый зеленым сукном для игры в бридж. Остальные участники переговоров перешли в столовую и сидели там, негромко беседуя между собой. В зале тихо звучала музыка Шостаковича. Ни президент, ни его гость не имели перед собой каких-либо документов или записок. Это должно было подчеркнуть неофициальность переговоров.

Время от времени один из них вставал из-за стола и выходил, чтобы переговорить со своими советниками. Затем возвращался, и переговоры возобновлялись. Так шел час за часом. Обед пришлось отложить на некоторое время: лидеры не хотели прерывать разговор.

Позднее Эйзенхауэр скажет: «Когда Хрущев и я остава-

лись одни в Кэмп-Дэвиде, он был общительным и очень хотел быть дружелюбным, преуменьшал трудности и давал понять, что хочет искать пути их разрешения». Но как только появлялся Громько, Хрушев начинал напоминать мне, что он должен будет обсудить все эти дела с правительством, прежде чем принять решение.

В общем, неформальные переговоры ни к чему существенному не привели. В два часа дня оба лидера присоединились к остальной компании, ожидавшей в столовой. Их угрюмые лица не внушали оптимизма. Эйзенхауэр шепнул несколько слов Гудпастеру, и тот написал в блокноте только одно слово: «тупик».

Обстановка за обеденным столом была гнетущей. Хрушев был мрачен. Его тактика лихого кавалерийского налета не сработала, и он откровенно сердился на американцев. Козлом отпущения стал Никсон. В резких тонах Хрушев заявил, что «кухня чудес», которую рекламировал вице-президент на американской выставке, не произвела на москвичей впечатления. У нас самих достаточно высокий уровень жизни. Поэтому любые попытки соблазнить нас прелестями капиталистической жизни не пройдут.

Эйзенхауэр попытался изменить тему. Он начал рассказывать, как трудно быть президентом: все время звонят телефоны, даже на отдыхе. Хрушев почему-то воспринял это как намек на отставание Советского Союза в развитии телефонной сети. И сказал, что очень скоро телефоны у нас будут лучше, чем в Америке. Настолько лучше, что американцы прервут телефонную связь с СССР, опасаясь сравнения не в свою пользу. Джордж Кистяковский записал в дневнике: «По выражению лица президента я мог видеть, что он был сильно рассержен и едва владел собой».

После ланча Эйзенхауэр пошел отдохнуть, а Хрушев с Громько опять отправились на прогулку в лес.

*4 часа пополудни.* Президент проснулся. Он разыскал Хрушева на одной из тропинок. С ним был его сын Джон.

— Не съездить ли нам на мою ферму? — предложил президент. — Она здесь почти рядом. Пятнадцать — двадцать минут, и мы там...

Никита Сергеевич согласился.

— Знаете что, — сказал, улыбаясь, Эйзенхауэр, — давайте перехитрим корреспондентов. Они подстерегают нас на дорогах, а мы полетим на вертолете!

Через двенадцать минут они уже были в Геттисберге. Хрущев с интересом осматривал «ферму» президента. Это был довольно большой двухэтажный дом, вокруг которого стояли другие двухэтажные дома поменьше, да еще хозяйственные пристройки.

Эйзенхауэр сказал, что приобрел эту ферму в 1950 году, рассчитывая после ухода в отставку прожить здесь остаток жизни. Ему хотелось доказать, что можно с прибылью вести сельское хозяйство даже на истощенных землях восточного побережья США.

Хрущев потом вспоминал, что ферма Эйзенхауэра отражала его «разумный и скромный» характер. «Не то чтобы его дом на ферме был домом бедняка. Конечно нет. Это был дом богача, но не миллионера». Ему понравился племенной скот на ферме, и он стал рассказывать, как старается улучшить поголовье скота в Советском Союзе. Президент слушал, улыбаясь, и сказал, что пошлет Хрущеву одну из своих телок. Никита Сергеевич отметил, что, когда Эйзенхауэр улыбается, его лицо всегда делается очень приятным.

Позвали внуков президента. В комнату вбежала целая стайка мальчиков и девочек. Хрущев оживился. Он стал расспрашивать, как их зовут, придумывая для них русские имена. Потом спросил:

— Хотите поехать в Россию?

— Хотим! — дружно закричали дети.

Тут же возник вопрос — а какое время года лучше всего подходит для поездки. Хрущев сказал, что лучшее время — это весна или лето, когда все цветет и благоухает, когда не дуют холодные ветры.

— Правильно, — закричали дети. — Значит, весной?

На том и порешили, уже всерьез, вместе с дедушкой. Хрущев заметил, что ему легче было договориться с внуками, чем с самим президентом, потому что у них хорошее окружение, а у президента, видимо, с этим неважно.

Так быстро и без помех был улажен один из весьма деликатных вопросов, который предстояло решить в ходе этой сумбурной поездки Хрущева по Америке, — об ответном визите Эйзенхауэра в Советский Союз. Дипломаты обеих сторон только еще намеревались приступить к нему со всей серьезностью, которой он, разумеется, заслуживал, и конечно же в зависимости от прогресса, достигнутого на переговорах. А дети решили его сразу с бесхитростной простотой...

Несколько дней спустя президент скажет:

— Это была такая согревающая сердце семейная сцена, какую любой американец был бы рад видеть, если бы она происходила у его внуков с иностранцем...

Но не так просто обстояли дела в Америке. Когда маленький Дэвид — внук Эйзенхауэра — решил надеть красную звездочку, которую ему подарил Хрущев, и пойти в школу, папа Джон решительно запретил:

— Если Хрущев сможет завоевать нас, подумай, какую семью он расстреляет первой?

Вот такая психология царила тогда в американском истеблишменте. «Холодная война» глубоко проникла в души людей.

*18 часов 30 минут.* Оба лидера вернулись в Кэмп-Дэвид. Их ждали настороженные и угрюмые министры. Они только что обсуждали разоружение и прекращение ядерных испытаний. Дела у них явно не клеились.

Перед обедом был небольшой коктейль. Американцы отметили, что Хрущев несколько успокоился. Но, как записал в дневнике Кистяковский, «у всех было чувство, что встреча закончится почти полным провалом и поэтому на деле может ухудшить, а не улучшить отношения».

Пока руководители обеих стран беседовали друг с другом, их спецслужбы внимательно наблюдали за ними. Их интересовало буквально все — манеры, поведение, привычки. И прежде всего здоровье.

В советской делегации, например, отметили, что, несмотря на обширный инфаркт и спазм сосудов головного мозга, случившийся почти год назад, президент не производит впечатления больного человека. Правда, посол Меньшиков упорно сообщал в Москву, что Эй-

зенхауэр в предыдущие два года мало что делал как президент и выполнял преимущественно представительские функции. Много времени он проводил с друзьями, в том числе нефтяными магнатами, за игрой в гольф...

Но здесь, в Кэмп-Дэвиде, он работал много, упорно и явно сам определял политическую линию. Хрушев потом не раз говорил:

— Вот, посмотрите на Эйзенхауэра: инфаркт был, инсульт перенес, а от стакана с виски не откажется — говорит, что только укрепляет здоровье.

Поводом этому послужил рассказ Эйзенхауэра в ходе одной из пауз между переговорами о том, как с ним случился инфаркт.

— Я почувствовал недомогание. Обычно в конце дня, поднимаясь к себе в квартиру, начинал со стаканчика виски с содовой, чтобы снять напряжение. Но на этот раз решил воздержаться, так как побаливало сердце, и сразу лег в постель. Ночью начался приступ. Когда я позже рассказал об этом своему врачу, тот заметил: «Вот если бы вы выпили привычную порцию, то не было бы инфаркта». С тех пор от чего-чего, а от своей порции виски я не отказываюсь. И, как видите, жив и здоров.

При этом сам Айк добродушно подсмеивался над своими словами.

Надо сказать, что американцы тоже не спускали глаз с Хрущева. После обеда, например, встав из-за стола, он пожаловался Джону Эйзенхауэру, как это обычно делают пожилые люди:

— Здоровье уже не то: почки болят, другие болезни одолевают...

Американцы сразу же взяли это на заметку, ЦРУ тщательно собирало данные о здоровье иностранных руководителей, посещавших США, вплоть до того, что тайком брали воду на анализ после ванны. И Хрушев, разумеется, не был исключением. По возвращении из Москвы Никсон, например, сообщил, что Хрушев не болеет, но «гоняет себя нещадно» и ему уже «не хватает сил, которые он когда-то имел».

*27 сентября (воскресенье).* Эйзенхауэр встал рано ут-

ром и пригласил Хрущева слетать вместе с ним на вертолете в Геттисберг на воскресную службу в пресвитерианскую церковь. Никита Сергеевич отказался — советский народ его не поймет.

Пока президент отсутствовал, Хрущев разговаривал с Диллоном о торговле.

— Давайте развивать торговлю, — говорил он, — ведь это вам выгодно. Продавайте нам больше товаров, мы их купим, если вы предоставите кредиты. Вам нужны заказы на вашу промышленную продукцию — мы сделаем такие заказы. Но дайте нам кредиты. Мы честно вернем эти деньги. Ведь если бы даже нам довелось у черта в долг взять, то и ему мы вернули бы этот долг.

Но когда Диллон предложил экспортировать в Россию обувь, Хрущев взорвался:

— Обувь? Посмотрите на мои ботинки! Мы делаем лучшие ботинки в мире. Нам не надо никаких ботинок!

Диллон спросил, между прочим, когда Советский Союз собирается вернуть США долг по ленд-лизу — 7,6 миллиарда долларов. Хрущев взорвался:

— Советский Союз уже оплатил его кровью в борьбе против фашизма.

*10 часов 30 минут.* Президент вернулся в Кэмп-Дэвид. Он рассказал, что священник призывал прихожан молиться за обоих руководителей и за успех их бесед.

С этим напутствием и сели за стол переговоров. Вначале вместе с Хрущевым и Эйзенхауэром были их министры, а потом только переводчики.

В порядке разминки Хрущев бросил такую фразу:

— Мне кажется странным, господин президент, что вы, человек военный, проявляете столь очевидный интерес к миру.

Эйзенхауэр ответил, что у него были веселые моменты во время прошлой войны. Сейчас война стала не чем иным, как борьбой за выживание. Он не стыдится сказать, что боится ядерной войны. Все должны ее бояться.

Но, несмотря на это обнадеживающее начало, германский вопрос пребывал в глухом тупике. Встреча большой четверки, которой так добивался Хрущев, полностью зависла. Да и ответный визит Эйзенхауэра в

Советский Союз оказался теперь под вопросом. Час проходил за часом, а дело с мертвой точки не сдвигалось. Хрушев скоро должен был уезжать в Вашингтон. Там состоится его пресс-конференция, и он объявит на весь мир о провале встречи. Эйзенхауэр предложил сделать еще одну приватную прогулку по лесу.

Трудно, пожалуй, даже невозможно установить все детали их лесного разговора, да еще в его последовательности.

Президент признал, что положение в Берлине ненормально. Он согласился обсудить вопрос о сокращении союзных войск в Западном Берлине, а также о прекращении враждебной пропаганды и шпионской деятельности против ГДР. Если Советский Союз снимет свой ультиматум, США уговорят Англию и Францию провести встречу четырех держав на высшем уровне.

Хрущеву такой оборот дел понравился. Он согласился снять ультиматум, в том числе вопрос о немедленном заключении мирного договора с ГДР с соответствующими последствиями для Западного Берлина. Однако при этом сказал, что настанет день, когда все же придется решать и германский вопрос в целом.

Эйзенхауэр тут же обещал, не теряя времени, начать поиск решения этой проблемы, которое было бы приемлемо для всех сторон.

— Поверьте, — сказал он, — Америка не имеет намерений навсегда оставаться в Берлине. Мы не собираемся сохранять там оккупационный режим в течение последующих пятидесяти лет.

Хрушев предложил провести встречу четырех держав в ноябре или декабре 1959 года, после чего в мае или июне 1960 года состоится ответный визит Эйзенхауэра в Советский Союз. Оба лидера остались довольны этой беседой. В общей сложности они провели с глазу на глаз около шести часов.

*12 часов 15 минут.* Президент вошел в комнату к Гертеру и объявил, что дело сделано.

Воскресный ланч был полной противоположностью субботнему, настроение приподнятое, люди оживлены. Хрушев достал коробку шоколадных конфет, которую ему подарил пианист Ван Клиберн. Но, когда ко-

робка пошла по кругу, Меньшиков, который, видимо, не понял настроения Хрущева, попытался вставить шпильку: советский шоколад-де лучше. Хрущев бросил коротко: «Не переводить».

После ланча министры взялись за коммюнике. И тут дело чуть было не сорвалось. Хрущев сказал, что не согласится с пунктом об уступке по Берлину. Эйзенхауэр тут же взорвался:

— Это конец всему — я не поеду ни на саммит, ни в Россию.

Хрущев спокойно объяснил, что не может публично говорить о каких-либо изменениях в советской позиции, пока не расскажет о них своим коллегам в советском руководстве и не получит их одобрения. Если президент подождет, он подтвердит эту позицию из Москвы. Эйзенхауэр согласился.

Острота берлинского кризиса была снята. Произошел своего рода размен: Хрущев снял ультиматум, Эйзенхауэр дал согласие на созыв большой четверки.

В коммюнике был зафиксирован очень важный, может быть, даже революционный для тех лет тезис: «Все неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными средствами, путем переговоров».

Это звучало, как отказ от применения политики «с позиции силы», которую проповедовал бывший госсекретарь Джон Фостер Даллес.

По разоружению каких-либо конкретных договоренностей не было. Вопрос этот обсуждался в самом общем плане. Но состоялся весьма примечательный разговор, который показывает, что оба лидера понимали необходимость свертывания гонки вооружений, которая вела к бессмысленной трате денег. Как вспоминает Хрущев, Эйзенхауэр пожаловался ему:

— Наши военачальники приходят ко мне и говорят: «Господин президент, нам нужны такие и такие суммы денег на такие и такие программы. Если мы не получим их, то отстанем от Советского Союза». Я вынужден соглашаться. Так они вытаскивают из меня деньги. А затем требуют еще, и я даю снова. А теперь расскажите, как это происходит у вас?

— Точно так же. Военные из министерства обороны приходят и говорят: «Товарищ Хрущев, посмотрите, американцы разрабатывают такую-то и такую-то систему. Мы можем разработать такую же, но это будет стоить столько-то и столько-то». Я отвечаю, что денег нет, они все уже распределены. Тогда они говорят: «Если вы не дадите денег, то в случае войны противник будет иметь преимущество». Разговор продолжается, я сопротивляюсь как могу, но в конце концов приходится отдавать военным то, что они просят.

Президент сказал:

— Мы действительно должны прийти к какому-то соглашению, которое остановило бы это бесплодное и разорительное соперничество.

Хрущев согласно кивал головой.

*14 часов 10 минут.* Запаздывая и безбожно нарушая тщательно согласованную программу, оба руководителя уселись наконец в президентский «линкольн» и помчались в Вашингтон. Пожали друг другу руки на ступеньках Блэйр-Хауза. Не ведая, что это их рукопожатие — последнее. Хрущев сказал, что ждет президента весной.

— Я возьму с собой всю семью, — ответил президент. — У вас будет так много Эйзенхауэров, что вы не будете знать, что делать с ними.

Хрущев свое обещание сдержал. По его настоянию Президиум в Москве срочно рассмотрел предварительные договоренности, достигнутые им и Эйзенхауэром по Берлину. Президента сразу же информировали об этом. Поэтому уже 28 сентября он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне: «В Кэмп-Дэвиде была достигнута договоренность, что переговоры по берлинскому вопросу не должны затягиваться, но для них не может быть также никакого установленного ограничения во времени».

А для Хрущева был специально подготовлен вопрос корреспондента ТАСС, суть которого обезоруживающе проста: так ли это?

— Да, — ответил Хрущев, — президент США господин Эйзенхауэр правильно охарактеризовал содержание договоренности, достигнутой между нами.

О Кэмп-Дэвиде написано много. Это был пик недолгой, но эффективной политики разрядки Хрущева, своего рода рывок в будущее, который так же внезапно оборвался, как и начался.

Главное, что ставит в тупик скрупулезных исследователей, — это аморфность, если не полное отсутствие, конкретных договоренностей на встрече в Кэмп-Дэвиде. Но их и не могло быть. То, что происходило в «Осиновой хижине», напоминало знакомство двух собак на улице, которые ходят кругами, обнюхивая друг друга, и решают — любить или драться. В данном случае решили любить. И договоренность была соответствующей — приостановить развитие берлинского кризиса до парижской встречи в верхах, начав поиск его постепенного решения.

Эйзенхауэр в своих мемуарах пишет, что Хрущев уехал из Соединенных Штатов, поняв, что «лез на рожон в Берлине, и почувствовал облегчение, когда нашел выход без существенной потери престижа... Как бы там ни было, но берлинский кризис был предотвращен без отказа от каких-либо прав Запада».

Это передержка или самоуспокоение. Как раз наоборот. Своим ультиматумом Хрущев намеренно развязал кризис, чтобы заставить Запад пойти на уступки. И результаты, по его мнению, налицо — он добился фактического признания ГДР. Это — раз. Согласие на встречу в верхах ему было дано без каких-либо гарантий ее успешного завершения, на чем президент раньше настаивал. Это — два. В обмен он лишь снял конкретный срок осуществления своего ультиматума. А сам ультиматум продолжал висеть как дамоклов меч. Это — три.

Все это так, если использовать дипломатические веса, которыми специалисты обычно измеряют достижения и потери сторон на переговорах. Но на них едва ли можно правильно взвесить истинное значение Кэмп-Дэвида. Тут нужна более совершенная аппаратура и комплексная оценка.

Поэтому главный результат Кэмп-Дэвида — это, конечно, достигнутый там психологический сдвиг. В отношениях двух суперврагов были заложены обычные че-

довеческие основы поведения, посеяны семена доверия, если даже они и дали всходы несколько десятилетий спустя. Пожалуй, впервые родилось стремление использовать стол переговоров не для перебранки, а для решения острых международных проблем — германской, разоружения, ядерных испытаний.

Эйзенхауэр, может быть, и выглядел наивным, когда думал, что ему удалось убедить этого неотесанного русского лидера в том, что США вовсе не хотят ни захватить, ни уничтожить его огромную страну. Но что-то близкое к этому действительно произошло.

Что бы потом ни говорил Хрущев, Америка произвела на него огромное впечатление. Он сопротивлялся этому впечатлению, боролся с собой. «Поездка по США, — заявил он корреспондентам, — моих убеждений не изменила». Обманывал себя Хрущев: очень даже изменила. Он воочию убедился, как могут работать свободные люди и как они могут жить. Он видел их заводы, дома, поля.

В душе этого маленького толстяка с бородавкой на носу всегда боролись два человека. Один — непримиримый догматик, затвердивший наизусть несколько азбучных постулатов марксизма. Это он заставлял Хрущева в пылу полемики бросать в оппонентов совершенно неприличные выражения, вроде знаменитого: «Мы вас закопаем».

Именно этот талмудист от марксизма заговорил в нем, когда позднее, в речи перед трудящимися Владивостока, вспоминая об отлете из Вашингтона, он вдруг рассказал:

— Мне было очень приятно слушать гимн нашей Родины и двадцать один залп из орудий. После первого залпа я подумал: это Карлу Марксу! Второй залп — Фридриху Энгельсу! Дальше — его величеству рабочему классу, трудовому народу! И так — залп за залпом в честь нашей Родины, ее народов. Неплохо, товарищи, неплохо!

Но другой человек, живший в нем, думал по-иному. Энергичный прагматик с крепкой крестьянской хваткой, он ташил в дом все, что видел хорошего. Это он восхищался американскими станками, дорогами, дома-

ми, кукурузой, хотя и не без удовольствия, как хороший хозяин, сразу подмечая недостатки.

Поэтому Никита Сергеевич вернулся в Москву с твердым намерением воплотить все лучшее, что увидел в Америке, в советскую жизнь. Нет, политической системы, упаси Бог, он менять не собирался. И мысли такой в голове не было. Но вот построить такие же дороги, заводы, дома он страстно хотел. Об этом он вслух не распространялся. И вообще этого второго человека с крестьянской хваткой можно было услышать очень редко. Скорее, угадать, разглядеть в его практических делах.

А в общем, оба сидевших в нем человека — и догматик и прагматик — были очень довольны поездкой за океан, своим открытием Америки. И не так все страшно было, как казалось. И успех налицо. Много лет спустя Хрущев вспоминал: «Это была колоссальная моральная победа. Я до сих пор помню, как обрадовался, когда мой переводчик сказал, что Эйзенхауэр назвал меня по-английски: «My friend».

# ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ...

По возвращении из Америки сразу навалилась масса дел. Даже дух перевести было некогда. Из Пекина все отчетливее доносилось глухое недовольство, в котором достаточно четко просматривалось обвинение в ревизионизме.

Личные отношения с Мао Цзэдуном у Никиты Сергеевича складывались далеко не просто. На них всегда лежала тень Сталина. А за ней — еще более серьезная проблема: кто из них двух — Хрущев или Мао — является лидером коммунистического мира, наследником дела Маркса, Ленина, Сталина...

Советско-китайские отношения стали быстро ухудшаться с конца 1958 года, когда в Китае развернулась кампания за создание народных коммун. Пекин хотел в течение четырех-пяти лет построить в Китае коммунизм. Это больно било по самолюбию Хрущева. В такие сроки построить коммунизм в Советском Союзе ему было явно не под силу. Он обещал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме только лет через двадцать.

Поэтому перед партийными идеологами встал вопрос, как отреагировать на китайскую идею создания народных коммун. В отделе соцстран ЦК, которым заведовал тогда Ю. В. Андропов, была создана специальная группа для подготовки решения Презилиума ЦК на сей счет. Выбор был не богат идеями.

Можно было ради великой дружбы китайского и со-

ветского народов одобрить создание коммун. Но это означало бы одновременно признание того грустного факта, что Китай, а не Советский Союз идет впереди планеты всей к построению светлого будущего.

Можно было бы, конечно, объявить эти коммуны левацким загибом, с которым уже боролась наша партия во время коллективизации. Но это углубило бы раскол между двумя странами.

Андроповский отдел решил по части мудрости переплюнуть самого царя Соломона. Во имя сохранения стабильности советско-китайских отношений он рекомендовал Президиуму временно не акцентировать внимания на народных коммунах, то есть и не одобрять, и не критиковать.

Однако в Пекине советское молчание восприняли крайне болезненно — там явно рассчитывали на поддержку. Молчания поэтому не получилось. Между КПСС и КПК начала разворачиваться полемика. Сначала из-за коммун, а потом и американский угол появился — Хрущева начали обвинять в послаблении империалистам США.

Поэтому и дня не прошло, как измученный американским вояжем Хрущев вылетел в Пекин. Тем более что и повод был серьезный — десятая годовщина победы китайской революции.

Но прием там оказался холодным — совсем не таким, как в Вашингтоне. Улицы были пусты. Не было привычной толпы людей, радостно машущих флажками. Никто не выкрикивал приветственных лозунгов. Население столицы даже как следует не предупредили о приезде высокого гостя.

Таким манером китайское руководство выразило свое неудовольствие шумной, «как балаган», поездкой Хрущева по Америке, в ходе которой произносились неуместные похвалы разрядке и разоружению, в то время как отношения Китая и США становились все более и более напряженными.

К тому же, буквально накануне, летом этого года, Хрущев дал болезненный отлуп ядерным амбициям Китая. В одностороннем порядке, как раздраженно говорили китайцы, он разорвал соглашение о поставке но-

вой техники, необходимой для национальной обороны Китая. Более того, отказался передать Китаю образец атомной бомбы и технические данные для ее производства, в ядерных вопросах между Россией и Китаем тогда пролегла пропасть. Хрушев считал ядерную войну все-ленской катастрофой. А для Мао она была лишь очередным необходимым шагом к установлению господства социализма во всем мире.

На Московском совещании представителей коммунистических и рабочих партий в 1957 году китайский лидер вел себя как оракул. У него было что-то с ногами, и поэтому во время приема в Георгиевском зале Кремля он сидел, а вокруг толпились руководители других коммунистических партий. Любимой темой у Мао была тогда третья мировая война, и он постоянно к ней возвращался, видимо считая ее абсолютной неизбежностью.

— Неру и я сам, — говорил Мао, — сейчас обсуждаем вопрос, как много людей исчезнет в атомной войне. Неру считает, что мы потеряем миллиард с половиной. А я говорю — миллиард с четвертью.

Пальмиро Тольятти спросил его:

— А что станет с Италией в результате такой войны?

Мао задумчиво посмотрел на него и холодно ответил:

— А кто вам сказал, что Италия должна выжить? Останется триста миллионов китайцев, и их будет достаточно, чтобы продолжить человеческий род на Земле.

Неудивительно, что Хрушев решительно отказался помочь Китаю в производстве ядерного оружия. Несмотря на то, что просил о ней сам Мао. Хрушев был тверд, хотя Советский Союз к тому времени практически уже построил в Китае завод по производству плутония, — только лифты осталось поставить, как рассказывал В. С. Емельянов, один из руководителей советской ядерной программы.

Хрушев обещал только гарантировать Китаю полную поддержку Советского Союза в случае серьезного конфликта с США. Может быть, по этой причине нынешняя встреча Мао и Хрушева была краткой и пустой. От прежней сердечности не осталось и следа. Китайское руководство уклонялось от серьезных переговоров, ссы-

лаясь на занятость. Что ж, Хрущев никому в друзья не навязывается, через два дня он был уже во Владивостоке, а потом в Москве. Где он с головой окунулся в дела: стал одного за другим вызывать министров, секретарей обкомов и председателей совнархозов. Это для него было более привычным, чем заниматься дипломатией.

Главной внешнеполитической заботой Хрущева после возвращения из Китая стала подготовка к встрече в верхах. Он знал, что дела в России сами собой не делаются, что нужно твердой, а порой и жесткой, рукой запускать маховик бюрократической машины.

По его указанию коллегия МИДа уже 9 октября 1959 года приняла решение составить план подготовки материалов к совещанию руководителей СССР, США, Англии и Франции по трем основным направлениям:

- вопросы, касающиеся Германии;
- всеобщее и полное разоружение и прекращение ядерных испытаний;
- европейская безопасность.

Как ни странно, за решение германского вопроса Хрущев тогда не беспокоился. Ему казалось, что в Кэмп-Дэвиде они с Эйзенхауэром в принципе договорились. А детали соглашения были более или менее подготовлены в ходе встречи министров иностранных дел в Женеве. Довести их до конца, считал он, большого труда не составит, это уже дело экспертов.

— Кто будет возражать против такого соглашения? — рассуждал он на заседании Президиума 15 октября. — Англичане? Макмиллан? Да они первые проголосуют «за». Знаю их. Сложнее будет с де Голлем. Он упрям и своенравен — помешался на величии Франции. Но если копать поглубже, то как раз по этой причине он и не заинтересован в усилении и объединении Германии. Поэтому, какие бы фортели ни выкидывал де Голль, в конце концов он пойдет на договоренность с нами по Германии вместе с Эйзенхауэром и Макмилланом.

По его мнению, здесь вырисовывалась четкая картина будущего саммита — на нем ему удастся создать своего рода антигерманскую коалицию, которая и уломает строптивного Аденауэра. Таким образом будет закреплена

раздел Германии на два государства, одно из которых отойдет к советскому блоку, а другое — к Западу. Берлинские решения станут промежуточными, но по своей сути присутствие Запада в этом городе будет признано временным, и основой договоренности станет постепенное вытеснение его из Западного Берлина.

Правда, в отношении разоружения у него такой четкой картины не было. Встречу в верхах необходимо использовать для продвижения советских предложений. Это ясно. Но всеобщее и полное разоружение — дело новое. В Женеве только еще начнет работу Комитет десяти государств по разоружению. Однако сам факт его создания свидетельствует, что выдвинутые им в Нью-Йорке идеи приняты мировым сообществом.

А вот прекращение испытаний ядерного оружия казалось Хрущеву делом запущенным и запутанным. В тот же день, 15 октября, Президиум ЦК по его инициативе обсуждал ситуацию с подготовкой проекта соглашения об их запрещении к предстоящей встрече в верхах. Было принято решение создать комиссию во главе с членом Президиума Леонидом Брежневым для разработки системы контроля за прекращением ядерных взрывов.

Выбор оказался не лучшим, Брежнев был очень далек от этой проблемы и никогда не проявлял к ней интереса. А когда речь шла о контроле, то тут надо было проявлять твердость, настойчивость и энергию, чтобы сломать сопротивление таких ведомств, как Минобороны, КГБ и Минсредмаш, которое занималось атомной промышленностью. Как известно, этими качествами Леонид Ильич от природы наделен не был. Он показал себя добрым, но недалеким человеком, которого больше интересовал футбол или хоккей. Еще был хорошим анекдотчиком и энтузиастом всевозможных застолий. Бесспорным его достоинством, пожалуй, было умение поддерживать хорошие отношения со всеми.

Перед началом очередного раунда в Женеве 27 октября 1959 года «заинтересованные» ведомства представили в ЦК Записку, где указывалось, что в настоящее время имеются две группы вопросов, которые могут стать камнем преткновения на переговорах.

Одна из них — это проведение инспекций на местах. Суть дела в том, жаловались министры Центральному Комитету, что американцы до сих пор не дают ответа на предложение Хрущева о квоте инспекций, прикрываясь ссылками на необходимость рассмотрения так называемых «новых сейсмических данных». Однако советские ученые считают, что американцы не смогут научно обосновать свои доводы, будто число неопознанных явлений, которые могут подозреваться как ядерные взрывы, примерно в 10 раз больше числа, названного женевским совещанием экспертов в прошлом году. Вывод, который делали министры, говорил сам за себя:

— Чтобы лишить США возможности затягивать работу женевских переговоров, дать согласие на рассмотрение новых сейсмических данных.

Но это отнюдь не означало, что советской делегации предписывалось искать решение возникшей проблемы. Скорее, наоборот: она должна была доказать, что ее не существует.

Второй нерешенной проблемой, указывалось в Записке в ЦК, был вопрос о комплектовании персонала контрольных постов. Тут было все просто. Еще в июле англичане внесли компромиссное предложение о том, чтобы треть сотрудников такого поста состояла из граждан СССР, другая треть — из граждан западных стран, а последняя треть — из нейтральных и неприсоединившихся государств. Теперь министры рекомендовали принять предложение англичан.

Президиум одобрил эти рекомендации, они действительно содержали серьезные подвижки. Но главную проблему, где насмерть стояли Минобороны, КГБ и Минсредмаш, — проблему инспекций — эти директивы не решали. Поручение, данное Президиумом, Брежнев не выполнил. Очень скоро переговоры наглядно показали это.

Прошло три недели после отъезда Хрущева из Вашингтона. Американский президент собирался совершить вояж по западноевропейским столицам и рассказать союзникам о беседах в Кэмп-Дэвиде. Он вызвал своего посла в Москве Томпсона и прямо спросил: чего же все-таки добивается советский премьер?

Ответ Томпсона, человека серьезного и знающего, был весьма примечательным.

— Хрушев, — сказал он, — на самом деле хочет заключить мирный договор с Восточной Германией так же, как страны НАТО сделали это в отношении Западной Германии. И не столько для того, чтобы создать нам препятствия для доступа в Берлин, скорее, ему нужно закрепить восточные границы Германии и Польши, устранив таким образом источник больших трений в будущем. Что касается Аденауэра, — продолжал Томпсон, — то он вовсе не добивается возвращения восточных земель Германии. Но кто на самом деле не хочет объединения Германии, так это де Голль.

Эйзенхауэр заметил, что советский премьер говорил ему об этом. — Думаю, многое из того, что говорил Хрушев, — сказал Томпсон, — было правильным. Все больше и больше я прихожу к мнению, что нельзя достичь быстрого и полного объединения двух частей Германии.

— А что в отношении испытаний?

— Хрушев будет добиваться их всеобщего запрещения. Потому что его главная цель — помешать Китаю и Германии заполучить это оружие. Возобновление подземных испытаний позволило бы китайцам и немцам в конце концов создать атомную бомбу.

Под конец президент стал расспрашивать посла о замыслах Хрущева относительно всеобщего разоружения. Как бы размышляя вслух, Томпсон ответил:

— Хрушев действительно хочет прогресса в сокращении вооружений. В этом он опередил многих своих соотечественников. Поэтому он столкнется с огромной оппозицией со стороны некоторых своих коллег, и отнюдь нет уверенности, что сможет довести дело до конца.

На это Эйзенхауэр пророчески заметил:

— Хрушев не может быть уверен в прочности своего положения, как Сталин.

Разумеется, он, Эйзенхауэр, едва ли захочет идти так далеко в разоружении, как Хрушев. Но «предположим, мы разоружимся во всем, кроме ракет и бомб.

Трудно представить, что в этих условиях может быть начата какая-либо серьезная война».

Пройдет два года, и Советский Союз внесет в Женеве поправку к своим предложениям о всеобщем и полном разоружении. Она будет предусматривать сохранение ограниченного числа ракет и ядерного оружия как средства сдерживания.

Мысли о разоружении не покидали Эйзенхауэра на протяжении всей осени. Он безжалостно зарубил предложение своих военных по проекту нового бомбардировщика B-70.

— Через десять лет, — заявил он своим генералам, — ракетные возможности обеих стран будут такими, что мы сможем много раз уничтожить друг друга. Самолеты — это оружие прошлого века. Говорить о них сейчас — все равно что предлагать изготавливать луки и стрелы, когда уже изобретен порох. Если дать им волю, — ворчал президент, — то они принесут мне на утверждение проект оснащения морского лайнера «Куин Элизабет» с крыльями длиной в целую милю и мотором такой мощности, чтобы поднять эту махину в воздух.

А тем временем Никита Сергеевич с воодушевлением отдался подготовке ответного визита Эйзенхауэра в Советский Союз. Специальная комиссия посетила Иркутск и Хабаровск, куда собирались повезти президента. Она наметила широкий фронт подготовительных работ — ломали трущобы, строили гостиницы, особняки, благоустраивали города. В Иркутске до сих пор стоит прекрасная гостиница «Сибирь» как памятник этому несостоявшемуся визиту, а на берегу Байкала, у истока Ангары, — «Эйзенхауэровская дача», превращенная позже в санаторий.

Посол Томпсон как-то сказал Хрущеву, что в Советском Союзе нет поля для гольфа. Ему не нужно было напоминать, что президент любит эту игру. «Как нет?» — удивился Хрущев. Тут же под Москвой было построено гольфовое поле на 18 лунок. Говорят, что Хрущев даже брал уроки для того, чтобы сыграть несколько лунок с Эйзенхауэром.

В МИДе была создана специальная группа во главе с заведующим протокольным отделом Д. С. Никифоро-

вым, которая занялась разработкой ритуала встречи и программы пребывания высокого гостя. Хрущев явно не хотел оставаться в долгу. И хотя сам затыкал уши, когда палили пушки во время его встречи на аэродроме под Вашингтоном, по его указанию была выработана новая схема церемониала, включавшая артиллерийский салют.

Не были забыты и подарки, которые начали тогда широко входить в обиход общения советских руководителей с внешним миром. Список презентов, которыми собирались одарить нас американцы, рассматривался с особым интересом. Мадам Хрущевой — кожаный дорожный саквояж, дочкам — по несессеру с косметикой, внуку Никите Аджубею — управляемые сани, Брежневу — вазу. Лучший подарок конечно же самому Никите Сергеевичу — прогулочный катер с водометным двигателем. Ну, а остальным — пластинки «Порги и Бесс», «Целуй меня, Кэт» и другие.

Надо было готовить и ответные подарки для американцев. Вспомнили, что на выставке в Нью-Йорке Эйзенхауэр похвалил наш «Москвич». Что ж, методом ручной сборки, индивидуально для него был сделан «Москвич-407», не машина, а настоящее произведение искусства.

Наконец 19 января было официально объявлено: в результате личной переписки между двумя руководителями достигнута договоренность, что визит Эйзенхауэра пройдет с 10 по 19 июня 1960 года.

Широко улыбаясь, Хрущев сказал Томпсону, что президент приглашается посетить «любое место в Советском Союзе» — даже закрытые районы, Владивосток и Севастополь, — и это, «несмотря на то, что президент является военным и потому особо опасной персоной». Прием будет «чрезвычайно дружественным». Он выразил надежду, что Эйзенхауэр проведет в Советском Союзе в два раза больше времени, чем он, Хрущев, в США. И конечно же президент должен привезти с собой внуков.

Однако сын Эйзенхауэра Джон твердо заявил, что не хочет портить детей, создавая вокруг них шумиху в печати, и вовлекать их в политические игры. Президенту

пришлось написать Хрущеву, что ему не удастся взять внуков. В семье произойдет настоящий бунт, если он оставит дома хоть одного, а взять всех не представляется возможным. Он сможет провести в Советском Союзе не более 10 дней, так как конгресс все еще будет засе-  
дать.

Даже программу удалось согласовать той осенью. 10 июня 1960 года по прибытии в Москву состоится официальный обед в Кремле. На следующий день Эйзенхауэр посетит Пушкинский музей, ВДНХ, баптистскую церковь и Большой театр. Потом будет семейный обед на даче у Хрущевых, поездка в Ленинград, осмотр Эрмитажа и 15-минутное выступление по радио и телевидению.

В Киеве президент возложит венок на могилу Неизвестного солдата, произнесет еще одну речь на телевидении и поприсутствует на концерте. По возвращении в Москву ему вручат в университете почетный диплом доктора наук. Он посетит художественную выставку, даст обед в честь Хрущева в Спасохаузе и 30 минут будет выступать по телевидению.

После всего этого он полетит в Иркутск и совершит путешествие на пароходе по Ангаре.

19 июня вылетит в Токио.

Эйзенхауэр просил Хрущева разрешить ему пользоваться личным самолетом для перелетов в Советском Союзе. Советский премьер ответил Томпсону, что это поставит его в трудное положение перед военными: они опасаются, что на самолете будут установлены секретные устройства для фотографирования советской территории.

Но некоторое время спустя Хрущев написал Эйзенхауэру, что ему удалось убедить военных дать согласие на использование американского самолета. Президент ответил: «Я очень благодарен за ваши усилия исполнить мою просьбу».

А тем временем на базе ВВС «Эндрюс» с согласия Эйзенхауэра его самолет ВВС-1 оснащался разведывательной аппаратурой. На крылья и фюзеляж приклепывались и приваривались камеры с высокоразрешающей оптикой. ЦРУ рассчитывало, что полет президента бу-

дет происходить над мостами, железными и шоссейными дорогами и другими интересующими США объектами на высоте в два раза ниже, чем летает У-2. Фотографии, сделанные с такой высоты, будут куда четче. Были встроены приспособления, которые могли тайно включать и выключать эти камеры.

Специальный помощник директора ЦРУ Ричард Биссел, который руководил Центром по проведению аэро-разведки против СССР, позднее расскажет, что президент занял такую позицию: «Хорошо, если вы незаметно установите оборудование на мой самолет и получите то, что вы хотите». Но я думаю, он был против того, чтобы как-либо менять проложенный советскими навигаторами маршрут полета. Эйзенхауэр явно не хотел, чтобы кто-то мог подумать, что его путешествие имело какое-нибудь отношение к разведывательным целям».

Вот в такие игры играют во время визитов на высшем уровне.

# ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Очередной раунд переговоров по запрещению испытаний ядерного оружия начался 27 октября, как обычно, в девятом зале женевского Дворца наций.

Американцы не подозревали о миссии Брежнева и тех сдвигах, которые происходят в советской позиции. Поэтому, прослушав обычное, составленное в жестких тонах заявление представителя СССР при Европейском отделении ООН Семена Царапкина, они решили, что и на этот раз он приехал в Женеву с пустыми руками. Раз так, заявил Уодсворт, США начинают одностороннее изложение новых сейсмических данных.

Царапкин знал о новых директивах, что внесены в ЦК, но у него не было информации, утверждены они Президиумом или нет. Поэтому, решив подстраховаться, он ответил в своей любимой ругательной манере — заявление американского представителя создает тупик на переговорах и, возможно, таит в себе угрозу их срыва.

Это был, конечно, перебор. 3 ноября Царапкину пошло грозное указание: дать немедленно согласие на рассмотрение новых сейсмических данных США.

Семен Константинович немедленно потребовал созыва заседания и, к немалому изумлению Уодсворта и Райта, заявил: мы готовы. Но начать переговоры экспертов оказалось не просто. Как всегда, возникла тяжба из-за мандата переговоров. Американцы, жа-

ловался Царапкин в Москву, хотя сразу predetermined в нем, что выводы женевского совещания экспертов безнадежно устарели.

Все это вызывало раздражение у Хрущева. Он твердо взял курс на заключение договора о запрещении ядерных испытаний на встрече в верхах. Поэтому всякое копание в мелочах казалось ему ненужной тратой времени или просто саботажем.

— Опять Царапкин царапается по мелочам! — ругал он Громько.

11 ноября в Женеву пошел втык. «Учтите, — телеграфировал министр, — мы не заинтересованы в затяжных переговорах о созыве совещания экспертов». Однако в Женеве, как назло, дела не шли: дипломаты цеплялись за слова, и в их бесконечных перепалках как бы сама собой растворялась суть дела.

В эти трудные дни к Царапкину на Белую виллу приехал английский посол сэр Майкл Райт поговорить по душам. Сэр Майкл был невысокого роста, худой и очень подвижный человек с рыжеватыми волосами, обладающий острым умом и язвительным языком. За это Царапкин его недолюбливал, предпочитая вести дела с грубым, но простым американцем. Однако Англия в то время активно выступала посредником, пытаясь находить выход из самых глухих тупиков, в которые порой заводили их непримиримые позиции Царапкина и Уодсворта. Эту роль Райт играл блестяще и по этой причине с ним приходилось общаться.

Семен Константинович велел подать бутылку армянского коньяку, хотя было всего 10 часов утра. Сэр Майкл заметил, что в эту пору он обычно выпивает чашечку чая с молоком. Царапкин по этому поводу надулся, но обычаю своему тоже не изменил.

— Может быть, и ты скажешь, что с утра не пьешь, — цыкнул он на своего переводчика.

И оба они рюмку за рюмкой стали поглощать коньяк. От этого Семен Константинович еще больше наливался обидой и демонстративно молчал, вполуха слушая, что говорил ему английский дипломат. А Майкл Райт, явно довольный, что ему не мена-

ют, высказывал между тем весьма интересные мысли. Выходом из создавшегося тупика, по его мнению, может стать всеобъемлющий договор о запрещении всех испытаний ядерного оружия, то есть в атмосфере, под землей, под водой и на больших высотах с установлением таких видов контроля и инспекций, о которых удастся договориться на женевском совещании. При этой схеме соглашение о запрещении подземных испытаний будет считаться условным на протяжении 2—3 лет. В течение этого срока ученые США, СССР и Англии проведут дополнительные исследования для устранения технических трудностей, а также совместные испытания. Если эти испытания подтвердят выводы женевского совещания экспертов или будет достигнута договоренность об усилении их эффективности, то условность заменяется прекращением испытаний навечно. В противном случае СССР, США и Англия будут свободны проводить подземные испытания.

Высказав все это, сэр Майкл улыбнулся, довольный собой, и доверительно сообщил, что говорит в сугубо неофициальном качестве, но высказанные им соображения просит рассматривать как весьма серьезные предложения, которые выдвигаются на рассмотрение Советского Союза. Американцам известно об этих предложениях, однако он просит не разглашать их.

Царапкин презрительно буркнул, что советскую дипломатию на такой мякине не проведешь. Однако переводчик тщательно все записал. В Москву об этой беседе Семен Константинович сообщать не хотел. На англичанина все еще был в обиде и считал, что ничего серьезного в его словах нет — так, одну лишь пыль в глаза пускает. Но к вечеру отошел, и совместными усилиями удалось его убедить, что телеграмму о предложении Райта послать в Москву все-таки стоит.

Никита Сергеевич сам читать не любил — видимо, глаза побаливали от постоянного напряжения.

— Пусть мои глаза отдохнут, — говорил он своим сотрудникам, — а ваши поработают.

Поэтому весь ворох поступающих ему на стол бумаг — газеты, документы, записки, речи, а среди них и шифровки от послов — читали ему помощники, а если дома — то и члены семьи. Он слушал и обычно тут же давал указания.

На телеграмму Царапкина он клюнул, как шука на хорошую блесну: вот она развязка. Он тут же позвонил Громыко:

— Андрей, англичанин этот, в Женеве, дело говорит. Договор теперь, можно сказать, у нас в кармане. Надо срочно подготовить Записку в ЦК с оценкой положения на переговорах и с предложениями о нашей позиции.

Через несколько минут в комнату 1001 поступило указание: завтра к часу дня представить проект. Три разоруженца из славной референтуры, среди них Алдошин и Шевченко, работали всю ночь. В основу, как приказано, были положены соображения, высказанные Райтом.

Конкретно МИД предлагал: если на совещании экспертов договориться не удастся и вопрос о контроле за подземными взрывами станет препятствием к договоренности, можно согласиться с предложением Райта.

Советский Союз готов запретить все ядерные испытания под землей, под водой, в атмосфере и на больших высотах с установлением таких видов контроля и инспекций, о которых удастся договориться. В отношении подземных испытаний — считать этот запрет условным в течение 4—5 лет. Можно согласиться и на 2—3 года. В течение этого срока могут проводиться совместные исследования, в том числе, если необходимо, то и ядерные испытания.

20 ноября Президиум практически без обсуждения утвердил эти директивы. Путь к договору был открыт. В отношении числа инспекций, единственного нерешенного вопроса, Хрущев заявил:

— Я сам сумею договориться с Эйзенхауэром и Макмилланом куда лучше, чем эти неповоротливые дипломаты, которые только и умеют ругать друг друга да кланчить указания.

Тем временем в Женеве продолжался бесконечный спор: можно ли и с какой точностью отличить ядерные взрывы от небольших землетрясений, которые сотнями происходят каждый день на земном шаре. В одном только Советском Союзе ежемесячно случается от 1000 до 1500 таких явлений. И спорили на эти темы не безграмотные дипломаты, а лучшие сейсмологи и геофизики мира: Ганс Бете, Альберт Лэттер, Франк Пресс, Карл Ромни, Михаил Садовский, Иван Пасечник, Александр Устюменко, Владимир Кейлис-Борок и Владимир Резниченко.

Все признавали, что проблемы тут есть. Но насколько они серьезны, чтобы отказаться из-за них от запрещения ядерных взрывов? Нужно ли срывать с места и ехать проверять любой подземный толчок, скажем, в Лос-Анджелесе, где ядерных испытаний просто быть не может? И не лучше ли дать право инспекторам внезапно нагрянуть в любое место, где действительно может проводиться ядерный взрыв? Сама угроза быть схваченным за руку должна остановить потенциального нарушителя.

А тут еще теория «декаплинга», или «большой норы». Злые гении ядерных испытаний Теллер и Лэттер рассчитали, причем математически точно, что проведение ядерного взрыва в огромной пещере ослабит силу сейсмической волны примерно в 300 раз. Иными словами, взрыв бомбы мощностью в одну мегатонну даст сигнал, как от взрыва 5-килотонного заряда. Ну а маленькие взрывы в таких больших пещерах вообще останутся незамеченными.

18 декабря 1959 года рабочая группа экспертов завершила свою работу, так и не сумев ни о чем договориться.

В Москву пошел доклад, в котором сообщалось, что эксперты приняли согласованное заключение относительно улучшения методов и аппаратуры для обнаружения подземных взрывов. Однако из-за позиции американцев они не смогли договориться по главному вопросу — о критериях для посылки инспекций. Предложенные ими критерии позволяют инспектировать все землетрясения ниже мощности в

10—20 килотонн. А таких землетрясений происходит несколько тысяч в год.

В общем, переговоры экспертов зашли в тупик. Дипломаты и печать забились тревогой. А Никита Сергеевич был спокоен. У него в кармане лежало старое, еще апрельское решение Президиума, которое разрешало ему заключить договор и без подземных испытаний. Это был его козырной туз, который он мог выложить на стол во время встречи в верхах, если почему-либо не сработает компромисс Райта.

Но подвох ждал Хрущева совсем с другой стороны. В Кэмп-Дэвиде он и Эйзенхауэр говорили о встрече большой четверки в ноябре или декабре. Макмиллан был согласен. Капризничал де Голль.

Его не покидали старые подозрения, что ангlosаксы опять обделят Францию — пойдут на сделку с Советским Союзом, да еще в таком болезненном деле для всех в Европе, как будущее Германии. Сама встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции вызывала у него подозрение — от нее веяло духом Ялты. Сможет ли Франция занять там достойное место, когда страна до сих пор гудит после неизбежного, но бесславного ухода из Алжира? И сможет ли безъядерная страна говорить на равных с тремя ядерными державами?

Поэтому де Голль решительно вел курс на то, чтобы отложить саммит, по крайней мере, до середины 1960 года. К этому времени он рассчитывал создать собственную атомную бомбу и прийти на встречу в верхах равноправным партнером. Вот только испытание ее откладывалось с месяца на месяц.

Когда в сентябре Эйзенхауэр посетил Париж и информировал де Голля о результатах своих переговоров с Хрущевым в Кэмп-Дэвиде, французский президент без обиняков заявил ему, что Франция должна иметь атомную бомбу — без этого она на встречу в верхах не поедет. Интересы безопасности Франции для него, де Голля, прежде всего.

Высокий, прямой и натянутый как струна, он был величественным и даже надменным, настоящим королем Франции. О себе говорил обычно в третьем

лице: «Президент Франции считает...» Герой второй мировой войны, поднявший страну из руин, он превыше всего ставил величие Франции и сам как бы воплощал это величие.

Из всех лидеров того времени он был, пожалуй, самый трудный собеседник — умный, полный сарказма и недоверия. Поэтому Эйзенхауэра он сразу же, без дипломатических расшаркиваний, поставил перед весьма шекотливым вопросом:

— Кто даст гарантии, что Америка начнет ядерную войну ради защиты Франции или Европы? Если американцы столь пекутся о своих союзниках, то почему бы им не помочь Франции в создании собственного ядерного оружия?

На это Эйзенхауэр сухо ответил, что закон Мак-Магона запрещает передачу информации о ядерном оружии другим странам.

— Подумаешь закон Мак-Магона, — саркастически парировал де Голль, — я изменил конституцию Франции, когда обнаружил, что она не практична. Вы говорите, что мне будет опасно узнать нечто такое, что знают уже тысячи советских капралов? Я этого не могу принять. Франция сохраняет стремление к величию. Мы не англичане, потерявшие вкус к совершенству.

Но что бы ни говорил де Голль, свою бомбу он не мог испытать до февраля — она просто не была готова. Поэтому в конце октября Елисейский дворец объявил, что большая четверка сможет собраться не ранее весны 1960 года. Раздосадованный Эйзенхауэр предложил западной тройке срочно встретиться, чтобы приблизить дату саммита. Но де Голль ответил, что не сможет участвовать в такой встрече до середины декабря. А это означало, что саммит с Хрущевым состоится лишь весной — не раньше.

Эйзенхауэр сказал государственному секретарю Гертеру, что устал от всей этой тягомотины — другие государства все время переназначают дату встречи, как им удобно. Томпсону в Москву пошла телеграмма с указанием объяснить Хрущеву, что Эйзенхауэр «пытался собрать высших руководителей с за-

падной стороны, чтобы выработать нечто конструктивное, но это требует времени». Хрущев должен знать, что «мы так же, как он, заинтересованы в проталкивании решений, способных устранить причины напряженности, и тот факт, что он не может видеть пока результатов, не означает, что мы потеряли интерес, — скорее, это говорит о больших трудностях».

Что ж, де Голль выиграл. После долгой переписки западные руководители в декабре 1959 года официально пригласили Хрущева на встречу большой четверки 16 мая 1960 года. Они согласились с предложением де Голля провести ее в Елисейском дворце в Париже.

Однако с момента Кэмп-Дэвида прошло три месяца, и в политической жизни Советского Союза многое изменилось.

## В ЛАБИРИНТАХ КРЕМЛЯ И БЕЛОГО ДОМА

В канун нового, 1960 года в Кремле был устроен бал. Последние годы Хрущев установил традицию встречать Новый год не дома в кругу семьи, а в Кремлевском дворце съездов. Здесь собирались члены Президиума и ответственные работники ЦК, Совета Министров, военачальники, дипломаты, артисты — в общем, советская элита.

В углу зала на возвышении стояла большая, ярко украшенная елка. Прием проходил пышно, с обилием тостов, танцами. Только далеко за полночь гости разъезжались по домам догуливать в кругу близких.

Около двух часов ночи, когда еще гремела музыка и кружились пары, Хрущев пригласил посла Томпсона с женой в небольшую комнату, обставленную в стиле советского модерна. Там был даже небольшой фонтан, выложенный разноцветным пластиком. В комнату проскользнули также некоторые члены Президиума ЦК.

Никита Сергеевич решительно настаивал, что надо выпить еще, тем более повод для этого есть. Он еще раньше хотел пригласить всю семью Томпсонов завтра на дачу справлять Новый год, но тогда Нина Петровна болела.

Потом стал тепло вспоминать Эйзенхауэра. Если бы его избрали на следующий срок, мы бы с ним смогли решить все проблемы. Как обычно, страстные призывы к миру перемежались у Хрущева с воинственными

заявлениями. Он сказал, что у СССР есть 50 ядерных бомб, чтобы уничтожить Англию, и по 30 бомб для Франции и Западной Германии.

— Сколько же у вас припасено для нас? — поинтересовалась Джейн Томпсон.

— Это секрет, — отшутился Хрущев.

Томпсон предложил тост за парижский саммит.

Хрущев ответил, что на нем должна быть достигнута договоренность, если, конечно, Запад не хочет, чтобы он подписал мирный договор с Восточной Германией и не закрыл доступ в Западный Берлин.

Томпсон счел эти слова не возобновлением ультиматума, а скорее, демонстрацией твердости в присутствии соратников Хрущева.

Этой осенью и зимой отношение к американцам стало меняться коренным образом. Как-то неожиданно из заклятых врагов они стали превращаться в заклятых друзей. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущева. Американец — герой почти каждого анекдота. И даже главная цель — построение коммунизма — не достижима, пока Советский Союз не обгонит США. Поэтому новогоднее обещание пригласить всю семью Томпсонов в гости на дачу вовсе не было новогодней шуткой подвыпившего советского премьера.

В пятницу вечером черные лимузины пронеслись по Успенскому шоссе и неподалеку от совхоза «Горки-2» свернули на девятую дачу — один из самых охраняемых объектов знаменитой «девятки» КГБ. Из машин высыпали многочисленные семейства посла Томпсона и советника Бориса Клоссона. Они с удивлением рассматривали большой двухэтажный особняк в сосновом бору над заснеженной Москвой-рекой. Все вокруг было белым — и сам дом, и покрытые пушистым снегом темные ели, и замерзшая река.

Дом этот имел свою историю, о которой не принято было говорить вслух. Его построили еще в конце 20-х годов для председателя Совета народных комиссаров СССР А. И. Рыкова. Потом в нем долго жил Молотов...

А утром того дня у крыльца их встретил новый хозяин — улыбающийся и краснощекий с мороза Ники-

та Сергеевич Хрущев. Он был в полушубке, в валенках и шапке-ушанке с опущенными ушами. Широким жестом пригласил гостей кататься на лошадях. Расселись по машинам, Хрущев с шестилетней Шерри Томпсон на коленях, и отправились на ипподром, находящийся тут же неподалеку на Успенском шоссе. Детишек, и мальчиков и девочек, усадили на арабских скакунов. Только внук Хрущева маленький Никита решительно отказался.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Никита Сергеевич, — он у нас интеллигент. Собирается быть первым философом в семье.

А вечером обедали в огромной мрачной столовой. Ее стены, как и во всех дачах, построенных в сталинское время, были обшиты до потолка дубовыми панелями. В простенках с портретов на гостей строго смотрели Маркс, Энгельс и Ленин. Портрет Сталина убрали. Но проплешина на его месте напоминала о многом. Вдоль стен стояли огромные неуклюжие диваны из черной кожи. Только с одной стороны они уступили место камину, который не зажигали по причинам пожарной безопасности. А посередине стоял огромный стол — человек на 30—40.

Помимо американцев в гости к Хрущеву в этот вечер приехали член Президиума, фаворит Хрущева Фрол Козлов, Анастас Микоян, Андрей Громыко и Алексей Аджубей — все с женами. Стол, как всегда, ломился от закусок, но меню было чисто русским — уха из стерляди, жареная осетрина и перепелки.

Детям очень скоро надоело это ритуальное застолье, и они с шумом бегали по комнатам, залезали на диваны и юркали под столом — две девочки Томпсонов, три мальчика Клоссонов и три внука Хрущева. Строгие нянечки от КГБ в белых накрахмаленных наколках едва успевали следить за ними. А в это время зять Хрущева Аджубей поставил пластинку и патефон загромохал джазом. Хрущев недовольно поморщился:

— Нельзя ли выключить эту штуку?

Он объявил, что по указанию врачей будет пить не водку, а белое вино. При этом хитро улыбался.

— Все русские, которые говорят по-английски, —

предложил он, — пусть произносят тосты на английском языке. Все американцы, которые могут говорить по-русски, пусть произносят свои тосты на русском.

Началось оживленное застолье. Хрушев рассказывал леденящие душу истории про сталинский произвол, перемежая их практическими советами из собственного опыта по части выращивания кукурузы в дачных условиях. Тогда Микоян и произнес свою знаменитую фразу:

— Если бы сейчас Сталин мог видеть нас здесь вместе с американским послом, он перевернулся бы в гробу.

Но оказалось, что недоволен был и Фрол Романович Козлов. Он был уже пьян и, увидев, что Борис Клоссон только пригубил и поставил на стол рюмку с водкой, крикнул:

— В России мы пьем так! — И опрокинул пустую рюмку на свою седую голову. — Пусто!

Хрушев знаком приказал ему молчать. Клоссон обратился к Хрущеву по-русски:

— Господин председатель, есть что-то особенное в русском языке. Мне трудно выразить суть несколькими словами.

Хрушев стукнул кулаком по столу и расхохотался:

— Как раз это я и объясняю моим людям. Они считают, что я говорю слишком много. Слушайте теперь, что говорят американцы.

Потом предложил спеть. Кто-то подхватил: пусть начнут дети. Хрущевские внуки стали кучкой и пропели звонкими голосами:

— Весна, весна на улице,  
Весенние деньки,  
Как птицы, заливаются  
Трамвайные звонки.

Неожиданно Дженни и Шерри Томпсон ответили песенкой:

— Я люблю водку, я люблю водку —  
Пей ее, пей ее, пей!

Вместе с мартини, вместе с мартини!  
Пей ее, пей ее, пей!  
Пей, пей, выпивай, напивайся!  
Пей, пей, выпивай, напивайся!

Наступила тишина. Потом Хрущев расхохотался. Все последовали его примеру.

Долго еще поздней ночью охранники катали санки с детьми по заснеженным дорожкам. В гостевом домике Томпсон делал заметки о событиях прошедшего дня и прятал их в карманы пижамы.

«Зимой 1959—1960 годов Россия выглядела удовлетворенной и счастливой», — писал Александр Верт, один из ведущих американских советологов. Что ж, может быть, так оно и выглядело.

На поверхности действительно бушевала эйфория. Ни одного советского руководителя после Сталина не расхваливали, как Хрущева. На глазах у изумленной публики на обломках культа личности Сталина выростал новый культик.

Советская печать, радио и телевидение старались переплюнуть друг друга, воспевая успех визита в США. Двенадцать наиболее бойких журналистов и писателей — главный редактор «Известий» и зять Хрущева Аджубей, главный редактор «Правды» Сатюков, заведующий Отделом агитации и пропаганды ЦК Ильичев, поэт Грибачев и другие — быстро соорудили 700 страничную книгу — бестселлер «Лицом к лицу с Америкой».

В кинотеатрах по всей стране показывали два фильма. В одном рассказывалось, как простой мальчишка, сын шахтера, стал одним из самых могущественных лидеров мира. В другом изображалось триумфальное шествие Хрущева по Америке, в котором Эйзенхауэр выглядел как никчемное приложение.

Хрущев видел все это, слышал, и ему это нравилось.

Но так было на поверхности. А в глубине страну терзали серьезные противоречия. Где-то и в чем-то они были отражением борьбы тех двух непримиримых людей — правоверного марксиста и убежденного праг-

матика, которые существовали внутри самого Хрущева. Перед страной стояли явно не стыкующиеся цели — улучшать отношения с Америкой и в то же время неуклонно проводить ленинский курс на победу социализма во всем мире. Или — радикально сократить вооруженные силы и военные расходы, но так, чтобы не обидеть военных. Укреплять всевластие КПСС, но без сталинских репрессий, расширять демократию, но не меняя советского строя и не ущемляя прерогатив КГБ. Список этот можно продолжить.

И все это не просто теоретические неувязки. Осенью грянул первый гром. В городе Темиртау, в Казахстане, в палаточном городке, где жило около трех тысяч молодых строителей, начались беспорядки. Рабочие выражали недовольство плохими жилищными условиями и низкой заработной платой. На их подавление были брошены войска, и в столкновении погибло несколько десятков человек.

Узнав о трагедии в Темиртау, Хрущев расстроился, но вывод был сделан в чисто хрущевском духе: обещанную на XX съезде демократию вводить пока рано. Сначала надо добиться осязаемого роста народного благосостояния, и только потом можно отпускать вожжи. Иначе можно вызвать неконтролируемый взрыв недовольства.

Но где взять деньги на развитие экономики?

В поисках ответа на этот вопрос поздней осенью — зимой 1959 года за кремлевскими стенами развернулось одно из главных, но не видимых простому глазу сражений. И хотя решалась судьба страны, в нем участвовала лишь узкая группа самых приближенных к Хрущеву лиц. И велось оно чисто в кремлевском стиле: под ковром — так, чтобы никто ничего не узнал и не услышал. Хрущев по одному, максимум по двое, приглашал военных и партийных деятелей и часами не советовался, а наставлял их в своем кремлевском кабинете или, бродя по дорожкам на даче, в Горках Ленинских. Внешне все это напоминало не совещание, а разговор. Да так оно и было.

Хрущев свято верил в силу и могущество советской системы. Она мнилась ему подобием мощного автомо-

бия: куда повернет руль водитель-партия, туда он и поедет. Скажем, решила партия провести индустриализацию — так какой вопрос, товарищи? Один поворот руля — и в течение пятилетки отсталая аграрная Россия становится мировой индустриальной державой. Так и с коллективизацией сельского хозяйства: повернули руль в другую сторону — и вместо маленьких индивидуальных хозяйств по всей стране появились гигантские колхозы и совхозы.

Над Россией нависла угроза фашистской агрессии. И что же? Сталин разворачивает экономику на создание тяжелой и оборонной промышленности. Это позволило одолеть самого грозного врага за всю историю, когда другие государства, в их числе гордая Франция, упали перед ним на колени. Кончилась война — и новый поворот: все силы брошены на восстановление страны из разрухи. В считанные годы из руин и пепла, буквально на глазах, вновь поднялись города и села, фабрики и заводы.

Вот и теперь надо бросить все средства, все ресурсы на повышение народного благосостояния, на производство товаров народного потребления, как Сталин в свое время бросил все силы и средства на создание оборонной промышленности. Конечно, Хрущев понимал, что просто так ниоткуда деньги и средства не берутся. Даже при чудотворной советской системе. Те же индустриализация и коллективизация были проведены за счет ликвидации мелкого собственника и производителя. А военная промышленность — это многие миллионы человеческих жертв, разрушенных судеб. Как отнесутся к новому повороту руля военные? Готова ли к этому партия и советское руководство? Ведь оборонка, тяжелая промышленность, космос десятилетиями были священными коровами, на которые никому не позволялось поднимать руку.

Первыми, кого начал обрабатывать Хрущев, были военные.

— Времена изменились, — убеждал он. — Не числом солдат с ружьями, а огневой мощью и средствами доставки определяется теперь обороноспособность. Необходимо поэтому укреплять и совершенствовать ра-

кетно-ядерный щит страны. А военная авиация и флот утратили прежнее значение. Их нужно постепенно сокращать и заменять ракетами.

— Можно безболезненно пойти и на значительное сокращение обычных вооруженных сил, — развивал свои мысли Хрущев. — Угроза войны после моей поездки в США значительно снизилась.

Однако результат такой обработки оказался обескураживающим — военные были категорически против, хотя вели себя лояльно и даже подобострастно. В том числе министр обороны Малиновский, на которого Никита Сергеевич возлагал особые надежды. Их контраргументы звучали весомо, как выстрелы из тяжелых орудий.

— Что станет с безопасностью страны в условиях, когда империализм нагнетает напряженность и собирает силы для военного наступления против социализма? Мы не можем сократить армию ни на одного человека, ни на один танк, ни на один бомбардировщик, потому что американцы опережают нас по средствам доставки. А угрозу нападения можно ожидать со всех сторон — ведь они окружили нас своими базами. Фактически мы одни — даже на социалистические страны положиться не можем. Какие они союзники? Весь соцлагерь развалится, как только уйдут наши войска!

— Никита Сергеевич, подумайте о людях в погонах — это же миллионы, которых нужно будет обеспечить жильем, устроить на работу, приобщить к жизни на гражданке. У нас могут возникнуть большие внутренние трудности. А как быть с оборонной промышленностью? Ее ведь придется сворачивать, а это опять судьбы миллионов людей.

Но больше всего Хрущева выводили из себя доводы об ужасах, которые ждут военных после демобилизации.

— Я забочусь о людях, а не вы, — кричал он. — Им нужно масло, а не пушки. До чего мы довели Россию? Она же самая богатая страна в мире, а вынуждена догонять паршивую Европу и Америку! А попробуй догнать их, когда на ногах висят пудовые

гири вашей оборонки!.. И не пудрите мне мозги о трудностях демобилизации. Дважды за последнее десятилетие мы проводили куда более крупные сокращения — и что? Кто-нибудь роптал? Ничего подобного, люди были довольны, потому что стране нужны рабочие руки...

Живший в Хрущеве крестьянин-прагматик был очень упрямый человек. В Москву из Америки он вернулся с твердым намерением — с «холодной войной» надо кончать. Напряженность в отношениях с Америкой вредна. С ней надо не враждовать, а сотрудничать, торговать. Это поможет отечественному экономическому развитию, задавленному милитаризованной промышленностью и гонкой вооружений. Лишний жирок у военных необходимо срезать. Нам нужны не горы оружия, а ядерное сдерживание, оно позволит сократить военные расходы, которые каменной глыбой лежат на пути к переходу экономики на рельсы материальной заинтересованности.

В разгар этих страстей зять Аджубей не без намека рассказал ему ходивший тогда по Москве анекдот.

В дальний рейс назначили помощником капитана молодого выпускника мореходного училища. Через неделю он вызывает боцмана и спрашивает: слушай, скажи мне честно, как вы тут без женщин обходитесь?

Боцман говорит: никаких проблем — сейчас пригласим повара.

Помощник поморщился: нет, это не для меня.

Проходит три месяца. Помощник снова вызывает боцмана: ладно, зови повара. Через несколько минут появляется повар, которого держат под руки два здоровенных матроса. А они зачем? — спрашивает помощник. Как зачем? Наш повар не любит, когда его...

Хрущев сразу смекнул:

— Значит, ты хочешь, чтобы ко мне военных привели, как того повара?

Шелепин, стоявший во главе КГБ, уверял, что он и его ведомство беспрекословно выполняют любое распоряжение партии, хотя кривил, сильно кривил ду-

шой «железный Шурик». А с партией вышла явная осечка. Кириленко, второй секретарь ЦК КПСС, неожиданно для Хрущева встал на сторону военных и начал упрямо твердить:

— Никита Сергеевич, брось ты свою реформу — от нее одни лишь неприятности. Народ волнуется. Беспорядки начнутся, как в Венгрии. Армия для нас самая главная опора, а ты ее под нож. На кого опираться будем?

Это был человек, слепо преданный Хрущеву. И говорил горькие слова своему хозяину не потому, что предал его, а искренне предупреждая о грозящей беде. Но Хрущев это воспринял по-другому.

А подбострастный Суслов долго слушал, потом пустился в туманные рассуждения об опасности отхода от святых канонов марксизма-ленинизма. Хрущев понял, что на него положиться нельзя, равно как на Козлова, Куусинена и других. В общем, не без труда ему удалось сколотить большинство в Президиуме ЦК, на поддержку которого он мог рассчитывать, хотя и ненадолго.

Вот в таких муках рождалось решение о сокращении Вооруженных Сил Советского Союза на 1 миллион 200 тысяч человек. «Повара» привели-таки к Хрущеву два здоровенных матроса — КГБ и партия.

Заместитель министра иностранных дел В. А. Зорин рассказывал о той перепалке, которая возникла на Президиуме, когда рассматривался вопрос об этом сокращении.

Начальник Генерального штаба маршал Соколовский был против. Четко, по-военному доложил: сокращения обескровят вооруженные силы, они утратят свое нынешнее могущество и способность удержать любого противника, который захотел бы покуситься на интересы Советского Союза.

Ему страстно возражал Хрущев:

— У нас есть ядерный щит. Мы впереди всех в создании ракетного щита — наши ракеты самые лучшие в мире. Американцы уже обосрались, а догнать нас не могут... Зачем нам третий щит — огромные армии, сконцентрированные в Европе? Это старый хлам, ме-

таллолом, который пудовыми гирями висит на шее народа, отвлекая миллионы рабочих рук от созидательного труда. Вы все хотите воевать по старинке, — кричал Хрущев, — готовитесь к прошлой войне, а не к будущей. Это раньше государства старались держать армии поближе к границам, чтобы в нужный момент выстроить живую изгородь из солдат и пушек. Поэтому тот, кто хотел начать войну, должен был напасть на войска, стоящие у границы. Так раньше начиналась война. Теперь война начнется в тылу враждующих стран. Государства имеют средства доставки оружия на тысячи километров. Поэтому не будет ни одной столицы, ни одного крупного промышленного центра, ни одного стратегического района, которые не подвергнутся нападению в первые же минуты войны.

На вопрос, какую экономию даст это сокращение, Никита Сергеевич с гордостью сообщил:

— Шестнадцать—семнадцать миллиардов рублей ежегодно!

Спорить с Хрущевым на Президиуме никто не стал. Малиновский, хотя и сдержанно, но поддержал его: мы сделали все расчеты — предлагаемое сокращение не нарушит интересов безопасности Советского Союза. Сулов молчал. Остальные в разнобой и без энтузиазма согласились. Решение было принято.

Но, как нередко бывало, настоящее сражение произошло в предбаннике. Так на начальственном жаргоне называлась большая комната с круглым столом, которая соседствовала с Президиумом. Там собирались все приглашенные на заседание. Назначен, например, сбор на 11 часов, все и приходят к одиннадцати, хотя вопросов в повестке дня больше сотни. Правда, вопросы зачастую смежные, и в их обсуждении нередко принимали участие одни и те же лица. Поэтому в предбаннике собиралось обычно несколько десятков человек.

Это был своеобразный клуб деловых людей, где руководители министерств и ведомств, часами ожидая своей очереди, в неофициальном порядке обменивались новостями, заключали сделки, договаривались о совместной линии поведения. Трудно представить,

как могла функционировать советская система, если бы не эти еженедельные многочасовые посиделки. Не было лучше места, где так просто решались межведомственные тяжбы или сложные проблемы.

Так вот, настоящее, демократическое обсуждение, без оглядки на высокое начальство, произошло в предбаннике. Военные говорили резко, прямо:

— После войны, когда американцы создали атомную бомбу, нам пришлось решать, как быть. Тогда Сталин не раз собирал Политбюро, и оно пришло к выводу: нет другого выхода, кроме как создать в Европе мощный бронетанковый кулак, который навис бы над Европой. Да, американцы могли нанести нам тяжелый урон, сбросив атомные бомбы. А мы уничтожили бы Европу. По сути дела, мы сделали европейцев заложниками своей безопасности — пусть они удерживают США от ядерной агрессии против Советского Союза.

Маршал Гречко — высокий, стройный, с грубым голосом — резко бросал тяжелые, как глыбы, слова:

— На пятый-шестой день после начала войны советские войска форсируют Рейн. На двенадцатый день согласно диспозиции они овладеют Парижем и достигнут Ла-Манша. Затем перевалят Пиренеи и остановятся только у Атлантики...

14 января 1960 года улыбающийся Хрущев вновь появился на трибуне Верховного Совета в Свердловском зале Кремля. На этот раз он сообщил ко всему привыкшим депутатам, что закончившийся год войдет в историю, как первый год строительства коммунистического общества в нашей стране. Но это откровение было даже для них столь неожиданным, что полагавшиеся по этому случаю аплодисменты не последовали.

Далее Хрущев сообщил, что государственные функции все больше будут выполнять общественные организации. Поэтому Совет Министров и ЦК КПСС решили упразднить Министерство внутренних дел СССР и передать все его дела республиканским и местным органам власти.

И, наконец, главное — Хрущев объявил о сокращении Вооруженных Сил СССР на одну треть. В те-

чение одного — максимум двух лет из армии уйдет один миллион двести тысяч человек. Соответственно должны быть сокращены и вооружения.

Если вчера численность войск составляла 3 млн. 623 тыс., то теперь у нас будет 2 млн. 423 тыс. солдат и офицеров, меньше, чем после окончания второй мировой войны, когда к 1948 году Советский Союз завершил масштабную демобилизацию войск.

В результате визита в Америку, объяснял Никита Сергеевич, тучи «холодной войны» стали рассеиваться. В соотношении сил между социалистическими и капиталистическими странами произошел коренной сдвиг. Он сам видел, как в США происходит ломка складывавшихся годами косных представлений о характере и перспективах отношений между Востоком и Западом.

Разумеется, опасность войны еще существует... Разделав под орех Аденауэра и реваншистов, он предупредил: если бы «реваншистская гадина захотела вылезти за пределы своих границ, она была бы раздавлена на своей территории».

В ядерный век, развивал свои новые идеи Хрущев, утрачивают свое прежнее значение огромная постоянная армия, надводный флот и бомбардировщики. Советские ракеты настолько точны, что могут поразить муху в космосе. Ракета дешевле, чем миллион солдат. А сэкономленные средства от вооруженных сил позволят построить квартиры для трудящихся, дать им телевизоры, холодильники, стиральные машины: «Военная авиация почти вся заменяется ракетной техникой. Мы сейчас резко сократили и, видимо, пойдем на дальнейшее сокращение и даже прекращение производства бомбардировщиков и другой устаревшей техники. В Военно-Морском Флоте большое значение приобретает подводный флот, а надводные корабли уже не могут играть прежней роли».

Правительство и ЦК, заявил Хрущев, на этом не останутся. Они продумывают вопрос, как перейти в будущем на территориальную систему в строительстве вооруженных сил. Возможно, это будет повторением того, что было сделано Лениным еще в первые годы советской власти.

Разумеется, аплодисментов была целая буря, Верховный Совет, как всегда, единодушно принял предложенный Хрущевым закон о сокращении войск. Но из военных, присутствующих в Кремле, его поддержали только командующий советскими войсками в ГДР маршал Захаров и министр обороны Малиновский. Хотя поддержка Малиновского была скорее формальной, нежели по сути. Воздав хвалу ракетным силам, он подчеркнул, что войну нельзя выиграть каким-либо одним видом оружия — нужны объединенные усилия всех родов войск. Поэтому в наших вооруженных силах они поддерживаются на необходимом уровне и в соответствующих пропорциях.

Вот и гадай после этого — согласен Малиновский с Хрущевым или нет. А начальник Генерального штаба Соколовский и командующий Объединенными Вооруженными Силами Варшавского Договора Конев красноречиво промолчали на сессии. Позднее оба будут смещены со своих постов.

Накануне сессии в «Правде» появилась неприметная заметка в несколько строк, которая сразу же привлекла к себе всеобщее внимание. В ней сообщалось, что А. И. Кириченко назначен первым секретарем Ростовского обкома партии. До этого он был членом всемогущего Президиума, вторым секретарем ЦК, отвечающим за кадры. Многие считали его наследником Хрущева. Что случилось?

Кириченко в Москве не любили. Маленький, толстый, с огромным пузом, он походил на борова не только внешностью, но и всем своим существом. Совершенно безграмотный, но настырный и наглый, он рвался наверх, не считаясь ни с чем и ни с кем. Когда его сняли, многие вздохнули с облегчением — наконец-то поняли, что дурак, одиозная фигура. Но только после доклада Хрущева на Верховном Совете все прояснилось: Кириченко противился реорганизации армии и милиции.

В Вашингтоне шеф ЦРУ Аллен Даллес так прокомментировал решение о сокращении войск: «Несомненно, Хрущев наступил многим на мозоль» и «вероятно, вызовет недовольство многих военных своим не-

давним сокращением». Что ж, он был прав. Но куда более глубокой и пророческой была оценка руководителя департамента внешней политики Гертера: «Хрущев конечно же изменил тон. Но до парижского саммита мы так и не узнаем, остался ли он той же авторитетной личностью, с которой нам приходилось иметь дело в прошлом».

Посол Томпсон прислал из Москвы следующую телеграмму: «Хрущев связал себя с курсом, отход от которого становится все более трудным, а провозглашенные изменения, если они окажутся успешными, будут иметь тенденцию вызывать последующие изменения, ведущие со временем к образованию более нормального общества в СССР. Темпы такого развития событий трудно измерить, но я считаю, что они будут развиваться быстро — частично из-за того, что Хрущеву уже 65 лет, и ему приходится спешить».

В общем, в Вашингтоне сумели разглядеть сквозь шелуху славословий, что решение Хрущева сократить войска причинит ему немалые трудности.

Парадоксально, что примерно в это же время президент США тоже бился за сокращение военных расходов. И противники у него были те же. Правда, именовались они не Славский, а Маккоун, не Малиновский, а Гейтс, не Шелепин, а Даллес. Однако суть спора была той же. Эйзенхауэру приходилось даже, пожалуй, потяжелее, чем Хрущеву.

Но вот что интересно. Судя по национальным разведывательным оценкам, которые в США сейчас рассекречены, угроза со стороны советских обычных вооруженных сил американцев совсем не пугала, хотя численность их была сильно завышена. Наверное, и объяснение этому есть — Америку от них прочно ограждал океан. Тем не менее пропагандистская шумиха, поднятая вокруг объявленных Хрущевым сокращений, заставила разведку заново рассмотреть эти оценки в сторону их существенного понижения. Прodelал эту кропотливую работу молодой аналитик ЦРУ Рей Гартхоф, в 1960 году появилась новая стратегическая оценка Советских Вооруженных Сил, Аллен Даллес вызвал его к себе в кабинет и сделал такой комплимент:

— Рей, вы смогли уничтожить больше советских дивизий, чем кто-либо другой после Гитлера...

Другое дело ракеты. Предвыборная президентская кампания в США была в полном разгаре. Причем оба претендента: Кеннеди от демократов и Рокфеллер от республиканцев — наперегонки, кто громче, трубили о ракетном отставании США. Военные настаивали на создании сверхмощного бомбардировщика Б-70. Военное министерство добивалось значительного расширения программы строительства ракет и увеличения мощности ядерных боезарядов для ракет «Минитмен». Для этого, естественно, требовалось возобновить ядерные испытания.

Четвертого февраля 1960 года на заседании Совета национальной безопасности Эйзенхауэр твердо сказал им «нет»:

— Прежде всего я глубоко убежден, что у нас есть достаточные средства сдерживания, а, во-вторых, увеличение военных усилий настолько подорвет национальную экономику, что результатом будет превращение страны в высокоцентрализованное общество, напоминающее военный лагерь. Я не собираюсь делать этого.

На Совете безопасности президент без обиняков заявил, что все разговоры о ракетном отставании — пустая болтовня, выдувание мыльных пузырей. Но он не мог объяснить публично, откуда у него эта убежденность. Ведь вся его уверенность строилась на информации, которую приносили острокрылые У-2. Рассказать об этом значило расписаться в проведении шпионажа против страны, с которой он собирался установить новые, почти дружеские отношения.

Двойственность такого положения раздражала Эйзенхауэра. И в сердцах он не раз говорил, что надо бы вообще прекратить эти полеты. Шел его последний год на посту президента США, и он, как уже говорилось, хотел войти в историю в тоге миротворца, положившего конец «холодной войне» и начавшего эру разоружения. Первым шагом к ней должно быть запрещение ядерных испытаний. Поэтому в начале 60-х годов заключение такого до-

говора стало главной целью его политики в области разоружения.

Была, правда, и другая, более прозаическая причина, которая побуждала его бороться за договор о запрещении испытаний. «Размещение нескольких инспекционных постов в глубине России, — считал он, — хоть немного приоткроет эту страну». Правда, об этом он предпочитал не распространяться.

11 февраля на пресс-конференции он объявил о готовности заключить договор о прекращении всех испытаний в атмосфере, в океане и космосе, а также подземных испытаний, которые можно проконтролировать. Кистяковский убедил президента, что показатели приборов позволяют идентифицировать все сейсмические явления с магнитудой 4,75 и выше по шкале Рихтера. Это соответствовало, примерно, ядерному взрыву мощностью 20 килотонн. Таким образом, американцы предлагали теперь запретить все испытания, в том числе и подземные, выше порога мощности в 20 килотонн. Это было очень близко к тому, что говорил в Женеве Майкл Райт Семену Царапкину. МИД сразу же внес в ЦК Записку, рекомендуя согласиться с новыми предложениями Эйзенхауэра, они легко вписывались в ранее принятые Президиумом решения, и возражений не предвиделось. Поэтому Записку пустили рутинным ходом на «голосовку».

Но неожиданно заупрямился министр среднего машиностроения Славский.

— Американцы заманивают нас в ловушку, — убеждал он, — получив наше согласие на частичное запрещение подземных испытаний, они поморочат нам голову год или два, а потом скажут: ничего не получается, ядерные взрывы мощностью ниже двадцати килотонн проконтролировать нельзя, и начнут испытания. Ответить нам уже будет нечем — мы сами отказались от согласованного в Женеве заключения экспертов о возможности контроля за всеми испытаниями.

Его поддержал, правда по иной причине, Шелепин:

— Предложение американцев означает контроль без разоружения. Полного запрещения испытаний не бу-

дет, но по всей стране будет развернута сеть иностранных шпионских центров в виде контрольных постов, и повсюду станут шнырять иностранные инспекторы. Мы открываем страну для шпионажа.

19 февраля состоялось заседание Президиума. На нем мудро решили поручить МИД и заинтересованным ведомствам доработать этот вопрос с учетом состоявшегося обмена мнениями.

Только 10 марта в ЦК пошла новая Записка, но ее тональность была уже совсем иной. Американцы, говорилось в ней, готовы изучить любое наше предложение о пороге мощности ниже или выше 20 килотонн, но нам не надо втягиваться в обсуждение этого вопроса, так как это было бы признанием невозможности установления контроля за подземными взрывами. Кроме того, США, согласившись на словах с нашим предложением о квоте инспекций, ставят теперь количество инспекций в зависимость от числа неопознанных явлений.

К счастью, возвращение Хрущева из поездки по Юго-Восточной Азии, которая продолжалась почти месяц, сразу же положило конец этому «восстанию» ведомств. В тот же день на заседании Президиума под давлением Хрущева было принято первоначальное мидовское решение. Через несколько дней Царапкину в Женеву пошло указание: «Советское правительство выражает согласие достичь договоренности на основе заключения договора о прекращении всех испытаний ядерного оружия в атмосфере, в океане, в космосе и всех подземных испытаний, которые вызывают сейсмические колебания с магнитудой 4,75 и более. Что касается испытаний ниже этого порога — согласиться на проведение программы исследований и экспериментов, имея в виду, что все участники переговоров одновременно берут обязательства не осуществлять в течение этого периода каких-либо испытаний ниже порога 4,75».

Царапкин сразу же оценил важность полученной им инструкции и решил устроить грандиозное шоу. Он потребовал созвать заседание в самое необычное время — в субботу 19 марта, предупредив журнали-

стов, что внесет новые, захватывающие дух предложения.

Теперь поле брани переместилось в Вашингтон. Как всегда, Америка разделилась. Одни хвалили советское предложение, другие — а их было большинство — нещадно ругали. Напуганный этим премьер Великобритании Макмиллан решил даже вылететь в Вашингтон, чтобы побудить президента дать позитивный ответ.

А тем временем в американской столице заседал Комитет принципалов. Первым слово взял американский коллега Славского, председатель Комиссии по атомной энергии в США, Маккоун. Он был категорически против советского предложения. «Опять нам предлагают кота в мешке, — говорил он. — Нас просят прекратить испытания, но подсовывают совершенно недостаточную систему инспекций. Опять вместо контроля нам советуют довольствоваться доверием».

Неожиданный поворот совершило министерство обороны. Джеймс Дуглас, представлявший это ведомство, вдруг заявил, что любое соглашение, которое приоткрыло бы Советский Союз и тем самым разрушило стену советской секретности и замкнутости, более важно для США, чем любые выгоды от продолжения испытаний.

Аллен Даллес также высказался за принятие советского предложения. «Нынешние оценки разведывательных данных, — сообщил он, — свидетельствуют, что США по-прежнему лидируют в области ядерного оружия. Поэтому замораживание его развития пойдет на пользу США».

На следующий день, 24 марта, президент пригласил спорящие стороны в Овальный кабинет и сообщил, что собирается принять советское предложение о моратории на подземные взрывы сроком на один — максимум два года. Договор о запрещении ядерных испытаний отвечает жизненным интересам США. В противном случае исчезнут надежды на прекращение «холодной войны» и не будет стимулов к разоружению.

Что касается скрытного проведения ядерных испытаний, то, по мнению Эйзенхауэра, инспекции сде-

дают обман слишком рискованным. Кроме того, есть и законные пути обхода соглашения.

— Вспомните, — сказал президент, — что вы сами проводите программу ядерных взрывов в мирных целях с кодовым названием «Плаушер», например, для прокладки туннелей. Мне нет нужды напоминать каждому в этом кабинете, что США ожидают получить новую военную информацию в результате этих взрывов, хотя публично настаивают, что они проводятся сугубо в мирных целях. Короче говоря, США уже обманывают. Реальная опасность возникнет, если Советский Союз станет проводить испытания, а мы — нет.

Это было одно из самых важных заседаний Совета национальной безопасности за все время президентства Эйзенхауэра. Все присутствовавшие понимали, что прекращение испытаний, если оно будет достигнуто, начинает эру ядерного разоружения — нельзя же создавать оружие без его испытаний. И никогда раньше Восток и Запад не были так близки к этому. Джеймс Рестон писал в те дни в «Нью-Йорк таймс»: «Президент был поставлен перед необходимостью принять самое серьезное решение с того времени, как он приказал союзным войскам пересечь Ла-Манш и вторгнуться в Европу...»

И он принял это решение. К тому времени, как Макмиллан прилетел в Вашингтон, вопрос, по сути дела, был решен.

29 марта в Кэмп-Дэвиде Эйзенхауэр и Макмиллан выступили с совместным заявлением, в котором давалось согласие на мораторий в отношении подземных испытаний ниже порога в 20 килотонн. Они предложили немедленно начать «скоординированную программу исследований».

Теперь на переговорах в Женеве предстояло доработать все детали будущего договора. Его преамбула, семнадцать статей и одно приложение были полностью согласованы. Но существовали две проблемы, которые можно было решить только на самом саммите.

Во-первых — срок моратория. Советский Союз предлагал четыре-пять лет. США — один-два года. Компромисс напращивался сам собой — три года.

Во-вторых — ежегодная квота инспекций. Это была, пожалуй, самая трудная из оставшихся проблем. Советники Эйзенхауэра предлагали проведение ста инспекций в год. Но советская разведка докладывала и, как оказалось, правильно, что американцы могут пойти на двенадцать—двадцать инспекций. Макмиллан считал, что можно согласиться и на 10 инспекций. Советский Союз предлагал две-три инспекции в год.

Наступил апрель. Мировая печать писала о прорыве в Женеве, который обеспечивает наконец успешное решение вопроса о ядерных испытаниях на Парижской встрече в верхах.

В Женеве стояла чудесная весенняя погода. Нет лучше времени на берегу Женевского озера, чем весна — все женщины сразу становятся прекрасными, зеленеют платаны на набережных, голубеет озеро, распускаются самыми неожиданными красками цветы. А горные долины, как ковром, покрываются лиловыми крокусами.

То ли весна подействовала, то ли неожиданный успех на переговорах, но как-то помягчел даже Семен Константинович Царапкин. Все больше времени проводил не в кабинете, а в парке возле грота, где игриво журчал ручеек. Там он садился в плетеное кресло и принимал доклады. Но не столько слушал, сколько следил за юркими ящерицами, которые выбегали погреться на теплом весеннем солнышке. Только замрет ящерка — а Семен Константинович хватить ее прутиком.

— За что вы ее так? — как-то раз не выдержала его секретарша Рита Борисова.

Семен Константинович посмотрел на нее незамутненным взором карих глаз и ответил:

— А что они ничего не делают? Не терплю бездельников.

Между тем события развивались стремительно.

7 апреля положение в Женеве обсуждалось в Москве на Президиуме ЦК. Хрущев сказал, что работа над договором о запрещении всех ядерных взрывов близится к завершению. Удалось заставить американцев при-

нять советский подход, остается лишь доработать некоторые детали.

А через два дня, набравшись духу, Царапкин сообщил в Москву, что сейчас складывается благоприятная обстановка для заключения соглашения. США согласны с советскими предложениями. Не только Эйзенхауэр, но и оппозиционные демократы связали себя заявлением в поддержку моратория. Председатель сенатской комиссии по иностранным делам Фулбрайт заявил, что сенат мог бы до летнего перерыва ратифицировать договор...

23 апреля Президиум в Москве снова рассматривал ситуацию с запрещением ядерных испытаний. И хотя на политическом горизонте начали появляться новые тучки, Хрущеву удалось провести решение, которое, по сути дела, расчищало последние завалы на пути к соглашению. Царапкину в Женеву пошли новые указания:

1. Добиваться согласования еще до совещания в верхах как можно большего числа несогласованных вопросов.

2. Сделать следующее заявление: декларация президента Эйзенхауэра и премьер-министра Макмиллана от 29 марта, где говорится о согласии на мораторий в отношении подземных ядерных испытаний ниже порога мощности в 20 килотонн, могло бы сыграть положительную роль.

Правда, далее следовало не совсем понятное добавление: «если бы три ядерные державы согласились на такой мораторий».

Долго чесал затылок Семен Константинович над этой загадкой:

— Кто же против? Ведь все вроде бы «за».

Но потом махнул рукой, решив, что это какой-то отзвук баталий в Кремле.

В это же время в Москве на Смоленской площади готовились директивы для Парижской встречи в верхах. Договор по испытаниям практически был готов. Главы трех держав могли договориться по двум еще не согласованным вопросам — срок моратория и квота инспекций.

Подготовленные директивы давали такую возможность.

Предлагалось, что Хрущев может дать согласие на мораторий сроком на 2—3 года. А по квоте — сначала согласиться на 5—7 инспекций. Если же американцы упрутся, то можно пойти и на 10—12 в год.

Это была вполне реальная программа. В Женеве в частных беседах в коридорах Дворца наций и в маленьких кафе на женевских улочках американские, английские и советские дипломаты шептались примерно о том же.

27 апреля, например, Уодсворт сообщил Царапкину, что получил инструкцию выехать в Париж на несколько дней для участия во встрече в верхах. Такое же указание получил и сэр Майкл Райт. Царапкин, конечно, не преминул спросить:

— А какие вопросы намерены обсудить с Хрущевым в Париже американский президент и британский премьер?

— Сроки моратория и размер квоты инспекции, — ответил Уодсворт.

— И состав контрольной комиссии, — добавил Майкл Райт. — Впрочем, проблем тут быть не должно.

Царапкин немедленно доложил об этом в Москву и попросил разрешения выехать в Париж. Однако Москва молчала. Недели через две ему по телефону указали, чтобы он оставался в Женеве, а в Париж пусть поедет какой-нибудь малозначительный эксперт делегации.

Была, однако, и другая проблема, которая горячо обсуждалась в Москве этой весной, — всеобщее и полное разоружение, ВПР на мидовском жаргоне. Как ни странно, главными адвокатами этой хрущевской идеи выступали советские военные. Минобороны и Генштаб шумно требовали, чтобы именно это предложение было поставлено в центр повестки дня парижского саммита. Дипломаты кривили физиономии, робко замечая, что идея эта, конечно, замечательная, но вот практически едва ли сейчас выполнимая. Поэтому лучше сделать упор на час-

тичные меры, например запрещение ядерных испытаний.

Военные возражали: надо решать проблему кардинально. Мир без оружия — это мир без войн. А заодно, походя, можно решить все частичные вопросы и об испытаниях тоже. Чем явственней и реальней проступали контуры соглашения по запрещению испытаний, тем сильнее становились их требования начать разработку договора о всеобъемлющем и полном разоружении.

Наконец 15 марта в Женевском Дворце наций в огромном зале, расписанном знаменитым художником Сикейросом, собрались представители 10 стран для рассмотрения вопросов разоружения. Хрущевский принцип паритета здесь был выдержан точно — пять стран НАТО и пять стран ОВД. Советскую делегацию возглавлял В. А. Зорин, американскую — А. Дин.

В центре внимания переговоров сразу же оказались идеи Хрущева о всеобщем и полном разоружении. Ничего яркого противопоставить им Запад не смог, кроме некоторых отдельных мер разоружения.

Но вот беда — не было на столе переговоров в Женеве договора или хотя бы какого-нибудь документа с изложением его основных положений. Военные забились тревогой, и тут же — задание от Хрущева: МО и МИД СССР срочно подготовить такой документ.

Комната 1001 и генерал А. А. Грызлов из Генштаба работали дружно. Через 3 дня документ об основных принципах всеобщего и полного разоружения был готов. В одном только разошлись дипломаты и военные. Минобороны предлагало, чтобы при внесении этого документа Зорин заявил, что никакими частичными мерами, в том числе и запрещением испытаний, заниматься нет смысла — всеобщее разоружение эти проблемы решит быстрее и радикальнее.

Разоруженцы из МИДа были категорически против. Их твердо поддерживал А. А. Громько. Дело дошло до Хрущева, и он велел передать военным, чтобы они не дурили.

После этого Записку в ЦК доделали уже без труда. Громько, внимательно прочитав, молча расписался,

но направил эту бумагу министру обороны Малиновскому не с фельдъегерской почтой, как было принято, а с одним из молодых дипломатов-разоруженцев. Мотивировал:

— Он эту бумагу писал, значит, все знает. Если у Родиона Яковлевича будут вопросы, пусть объяснит.

Надо сказать, что обитатели комнаты № 1001 были сплошь заражены тогда бациллой самоуверенности и что еще хуже — вольнодумия. Они были молоды, энергичны, дело у них шло, им даже казалось порой, что и море-то по колено. Поэтому встреча с министром молодого разоруженца не пугала. «Видали мы этих министров. Такой же, как и все. И в разоружении конечно же ничего не смыслит...» — рассуждал про себя этот самонадеянный молодой человек, направляясь в Министерство обороны на улице Калинина, где когда-то, еще до революции, находился кадетский корпус.

Порученец молча распахнул перед ним непомерно большую белую дверь, и он оказался в огромной зале. Справа, вдоль длинного ряда окон, стоял огромный стол, покрытый, как положено, зеленым сукном и с плотно придвинутыми к нему стульями. Наверное, для заседаний, решил про себя молодой дипломат. А в углу — большой глобус: наверное, стратегические операции на нем планируют, только и успел подумать он. Шагнул на красную ковровую дорожку, которая по диагонали пересекала весь огромный зал-кабинет. В конце ее стоял кажущийся отсюда совсем маленьким стол, за которым сидел грузный человек. Он даже головы не поднял. Ковровая дорожка оказалась очень длинной, и, пока шагал по ней молодой человек, вся его самонадеянность куда-то улетучилась. А стол становился все больше и больше.

— Я из МИДа, меня Андрей Андреевич Громыко послал, — совсем уж робко произнес самонадеянный молодой человек, когда ковровая дорожка наконец уперлась в стол.

Малиновский поднял глаза. Лицо его было обрюзгшее, черные кустистые брови прикрывали холодный изучающий взгляд:

— Да, знаю. Он мне говорил, что ты справку дашь, если надо. Садись.

Еще тыкает, подумал молодой человек, надо бы как-то отреагировать, и стал искать глазами стул. Стула у стола не было. Вдалеке стоял диван с креслами, а в стороне — этот длинный стол для заседаний. Идти и садиться там? Тащить кресло или стул сюда? Чужь какая-то.

— Ничего, — робко сказал он, — я постою.

А мысль о том, чтобы как-то ответить на тыканье, пропала сама собой.

Между тем маршал внимательно читал Записку в ЦК и приложенный к ней документ об основных принципах ВПР. Закончив читать, как бы для верности полистал страницы — не пропустил ли чего.

— Так, — сказал он грозно, — значит, мидовские товарищи боятся сказать главное — документ ведь не готов!

— Какое главное? Где не готов?

— Где-где. Да вот число сегодняшнее, что, смелости не хватает поставить?

И самолично собственной рукой проставил Малиновский на Записке в ЦК число: 2 апреля 1960 года.

Возвращаясь назад по длинной ковровой дорожке, молодой дипломат думал, что, наверное, не зря в бывших кадетских училищах начальникам такие большие кабинеты делали. Наверное, и в те времена молодые люди о себе много мнили. А вот пройдя всю ковровую дорожку от двери до стола, наверное, тоже понимали, кто есть кто в этом мире.

# НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ

Хотел того де Голль или нет, но его подножка оказалась роковой для встречи большой четверки. Затычка с ее проведением позволила консолидироваться тем силам в Советском Союзе да и на Западе, которые совсем не желали ей успеха и с подозрением встретили советско-американский «сговор».

С самого начала в Москве отношение к поездке Хрущева в Америку было далеко не однозначным. Советская пресса не в счет. Обрабатывая социальный заказ, она дружно — кто искренне, а кто нет — пела хвалу духу Кэмп-Дэвида. Но совсем не отражала того, что думали на сей счет в политических сферах.

Да, в массе простых людей улучшение отношений с США, разрядка напряженности встречались с надеждой. Но сталинисты открыто выражали недовольство тем, что «простака» Хрущев попался на удочку американцев: империализм не изменился и по-прежнему угрожает войной. Об этом довольно откровенно говорили на Старой площади, улице Фрунзе и на Лубянке. Даже на Смоленской площади немало дипломатов сетовало на отход от «принципиальных позиций». Правда, все это больше походило на старческое брюзжание и серьезного значения ему сначала не придавалось.

Однако поздней осенью 1959 года в Москву приехал в отпуск посол Меньшиков. Это был третий калач, прошедший через огонь, воду и медные трубы кремлевских горнил. При Сталине был министром внешней торгов-

ли. Поэтому нос по ветру держать умел. Побегав по московским знакомцам в ЦК и КГБ, Меньшиков стал вести линию, которую можно было охарактеризовать примерно так: посольство СССР в США предупреждает: за последнее время в Вашингтоне появилась новая коварная формула — проводить переговоры до бесконечности. Таким способом там собираются отложить решение спорных международных проблем, избегая при этом чрезмерного обострения отношений.

Ни Кэмп-Дэвид, ни Хрущев прямо не назывались. Но всем было ясно, откуда и куда дует пока еще легкий ветерок.

Самое интересное, что Громыко, человек архилояльный и архиосторожный, поставил доклад Меньшикова на коллегии Министерства иностранных дел. В торце огромного стола, покрытого зеленым сукном, восседал Андрей Андреевич. Лицо у него было каменное — ни улыбкой, ни движением глаз он не выдавал своего отношения к происходящему. Позади него, недобро прищурившись, наблюдал за коллегией деревянный Ильич в виде барельефа во всю стену. А на трибуне, слева от министра, горячился Меньшиков. Всем знакомой улыбки на его лице на этот раз не было.

— По мнению посольства, — говорил он, — главная польза для США от переговоров в Кэмп-Дэвиде заключается в том, что на время приостановлен обостренный воспалительный процесс в вопросе о Западном Берлине. Однако основные проблемы, разделяющие Восток и Запад, неразрешимы. Поэтому серия совещаний в верхах должна, по замыслу американцев, попросту оттянуть время. Такой точки зрения придерживается и сам президент Эйзенхауэр.

Это была совершенно новая интерпретация Кэмп-Дэвида, которая разительно отличалась от всего того, что писала советская пресса. Поэтому коллегия слушала его с предельным вниманием.

— А тем временем, — продолжал Меньшиков, — в Вашингтоне разрабатывается новая антисоветская и антисоциалистическая стратегия. Согласно ей серия бесплодных переговоров послужит прикрытием для развертывания гонки стратегических вооружений в США, по-

зволит получить существенное преимущество в баллистических ядерных ракетах, изменить в пользу Запада баланс военных сил и преодолеть период неуверенности в военной мощи США.

Но как быть тогда с предстоящей встречей большой четверки, которой так добивается Хрущев? Как быть с предстоящим ответным визитом Эйзенхауэра в Советский Союз? Эти и другие бесчисленные вопросы неизбежно приходили в голову всем, кто слушал Меншикова.

— Но главное даже не в этом, — пророчествовал Меншиков. — В правящих кругах США считают, что разрядка международной напряженности может способствовать эволюции Советского Союза в сторону капитализма. Там надеются, что повышение жизненного уровня, рост образования в советской стране создадут благоприятные возможности для распространения буржуазных идей.

Все стало ясно. Это была если не прямая, то слегка завуалированная линия против курса на улучшение отношений с Западом. И формулировал ее тот, кто в первую очередь должен был ее проводить, — советский посол в США. После доклада Меншикова Громыко бесстрастно произнес:

— Надо во всем разобраться.

В МИДе поначалу не придали особого значения докладу Меншикова на коллегии. Он считался послом слабым — за все время работы серьезных аналитических телеграмм от него не поступало — так, текущая информация, да и то по мелочам.

Зато он был мастаком до хлестких прозвищ, которыми налево и направо одарял своих американских (да и, наверное, советских) коллег. Его депеши из Вашингтона были сплошь усеяны такими перлами. Порой даже трудно было понять, что ты читаешь — телеграмму посла или хлесткую статью из «Литературной газеты».

Тем не менее предупреждение о «бесконечных переговорах» было брошено на чашу политических страстей. Мидовские мудрецы прикинули и пришли к выводу, что до всего этого не сам Меншиков додумался, а выудил в кабинетах на Старой площади и на Лубянке.

Но, как говорится, у вас одно начальство, а у нас другое.

Однако через пару-тройку недель Громыко вызвал группу своих речевиков и сказал:

— Подготовьте мою речь на сессии Верховного Совета СССР в январе. Надо поддержать сокращение войск, которое предложит Никита Сергеевич. Одновременно подчеркните значение всеобщего и полного разоружения. В этом контексте поставить вопрос: не существует ли у западных держав намерения вести курс на бесконечное затягивание переговоров по разоружению. Тут надо иронию подпустить: мол, в архивах МИДа лежат целые горы стенограмм и документов, оставшихся от Лиги Наций. Ими можно выложить все Садовое кольцо в Москве. Но какой толк? Бумаги было переведено уйма, но вот ни одна армия не была сокращена ни на одного солдата.

Речь ему написали, но из окончательного варианта Громыко тщательно вычеркнул все упоминания о Кэмп-Дэвиде и поездке Хрущева в Америку. Для его ближайшего окружения это был сигнал: подули новые ветры и Андрей Андреевич подстраховывается.

В Вашингтоне ситуация после визита Хрущева была также не простой. Там были свои ястребы, которые сочли проявлением слабости и безволия согласие Эйзенхауэра на встречу в верхах и его готовность к поиску компромисса по германской проблеме и Западному Берлину. Правда, Эйзенхауэр и ухом не повел.

Но, когда в Бонне узнали о результатах Кэмп-Дэвида, Аденауэр устроил истерику: никаких подвижек по германской проблеме, никакого изменения статус-кво в Берлине. Объединение — только путем свободных выборов.

Из Парижа тоже доносилось ворчание. Франция хотя и смотрела косо на германское объединение, но с еще большим подозрением относилась к самому факту советско-американских переговоров по Германии. Только британский премьер поддержал Эйзенхауэра.

Тем не менее президент не менял своих взглядов. 1 октября 1959 года, то есть через несколько дней после отъезда Хрущева, он сказал своему советнику по национальной безопасности Гордону Грею:

— Нужно найти способ образования своего рода свободного города — Западного Берлина, который мог бы стать как бы частью Западной Германии. От ООН потребовалось бы тогда быть стороной, гарантирующей свободу, надежность и безопасность города, который имел бы невооруженный статус, за исключением разве что полицейских сил. Наступит время и, возможно, весьма скоро, когда нам просто придется убрать оттуда наши войска.

Однако это была не американская, а личная позиция Эйзенхауэра. И он не собирался убеждать немцев, а тем более навязывать им свою точку зрения. Президент знал, что Бонн проявляет все большую твердость, а Аденауэр становится все менее стоворчивым. А раз так, то какой смысл вести переговоры с русскими?

22 октября в беседе с Гертером он сказал, что не хочет оказывать давления на Западную Германию. Заключить сделку с Хрущевым он мог, но союзники не одобрили бы его действий.

Что же делать? Госсекретарь предложил потянуть время. Но Эйзенхауэр только покачал головой:

— Русские не будут столь щедрыми. Восточные немцы способны остановить все экономические связи с Западным Берлином. Они могут сделать так, что этот город повиснет на нас мертвым грузом. Западный мир сделал ошибку в сорок четвертом—сорок пятом годах, и сейчас надо найти способ, как заплатить за нее.

Тем не менее он считал себя связанным вето Аденауэра. Незадолго до намечающегося саммита он сказал:

— Поскольку позиция канцлера Аденауэра является столь негибкой, я вижу мало прока в обсуждении различных вариантов объединения Германии, равно как и решений по Берлину.

В общем, Аденауэр помешал выработке компромисса, которого так хотел Хрущев и к которому в целом был готов Эйзенхауэр. Семь месяцев, с октября 1959 года по май 1960 года, отведенные для подготовки саммита, были потрачены впустую, над ним нависла угроза превратиться в пустышку. Даже американские военные стали бить тревогу. Провал встречи большой четверки станет прологом к подписанию мирного дого-

вора с восточными немцами и вызовет непредсказуемую лавину изменений, которая может даже привести к войне.

Эйзенхауэр тоже ворчал, что немцы связали ему руки. Но он не терял надежду, что в Париже дело образуется само собой. Никто из глав государств не хочет провала, и какой-нибудь компромисс в конце концов удастся найти. Тем более что и американская и советская позиции открывают возможности для этого.

В Москве знали, в основном через Бонн, что немцы идут напролом в германском вопросе, а американцы отступают. Западногерманский посол в Москве каждый вечер диктовал отчет о событиях прошедшего дня, в том числе и о своей переписке с Бонном. Возможно, он делал заготовки к мемуарам, но не подозревал, что диктует их прямо в микрофоны КГБ. Самые интересные места из этого дневника через несколько часов ложились на стол к Хрущеву, и он с любопытством их читал.

Да и в самом Бонне у КГБ были весьма надежные источники. Первый среди них — Хайнц Фельфе, который в 1958 году возглавил в западногерманской разведслужбе БНД отдел контрразведки, занимавшейся Советским Союзом.

Их информацию читал в Москве не только Хрущев, но и его противники в Президиуме ЦК. И она давала им сильные доводы для утверждения, что хрущевская политика разрядки и мирного урегулирования с Германией построена на песке.

Но это бы еще полбеды. Беда была в том, что у Хрущева не сложились отношения с армией. В газете «Известия» Аджубей поместил веселую карикатуру: бесконечный строй солдат, а перед ним — довольный, улыбающийся Хрущев. Он командует:

— Каждый третий, выходи!

Но эта шутка едва ли могла развеселить военных. Ладно еще солдат. Им все равно демобилизовываться — не в этом году, так в следующем. Но вот 250 тысячам офицеров и генералов, которым предстояло уйти в отставку и искать работу, было не до смеха.

Недовольство высказывала и милиция. Решение Хру-

шева упразднить общесоюзное Министерство внутренних дел лишило ее многих привилегий, которые раньше приравнивали милицейскую службу к армейской.

В ЦК и в газеты посыпался град писем. Одни жаловались на трудности с трудоустройством и жильем. Другие писали, что не могут без слез видеть, как режут на металлолом новенькие, почти готовые крейсера, как сворачивается производство танков на Кировском заводе в Ленинграде. И практически во всех письмах горький укор — сокращение наносит ущерб нашей безопасности. Оно затруднит поддержку национально-освободительного движения во всем мире.

В 1959 году, например, в секретариат ООН в Женеве, который обслуживал переговоры по прекращению испытаний ядерного оружия, вдруг начал поступать поток писем от жителей Новгородской области с гневными требованиями запретить ядерные взрывы. Письма шли тысячами. Их писали рабочие, служащие, школьники, колхозники. Секретариат был в растерянности: почему только из Новгородской области? Почему не из Псковской, Ленинградской и сотни других областей Советского Союза?

А советские работники секретариата только посмеивались. Они-то знали: взбрело в голову какому-нибудь секретарю Новгородского обкома поставить на повестку дня борьбу за мир во вверенной ему области, вот и пошел поток писем. Потом он так же неожиданно и враз прекратился — кампания завершилась...

Хрущеву пришлось даже прибегнуть к крутым мерам. В апреле были освобождены от занимаемых должностей Главком Вооруженных Сил Варшавского Договора маршал Конев и начальник Генерального штаба маршал Соколовский. Оба они на январской сессии Верховного Совета отказались поддержать предложения Хрущева о сокращении вооруженных сил.

На их место были назначены маршалы Гречко и Захаров, близкие Хрущеву и публично поддерживавшие проводимую им реформу армии. Но было хорошо известно, что в международных делах, в вопросах разрядки и разоружения и они занимали крайне жесткие позиции.

Разногласия в армейской среде зашли настолько далеко, что маршал Малиновский опубликовал в «Красной звезде» большую статью, в которой военным строго напоминалось о руководящей и направляющей роли партии. В ней упоминалась судьба маршала Жукова, «пытавшегося вывести армию из-под контроля партии». А чтобы всем было ясно, что это не очередная политическая кампания, Малиновский объявил о проведении в мае специального совещания секретарей армейских первичных организаций. Оно было проведено — так уж совпало — в самые напряженные дни 11—14 мая в Кремле.

В феврале 1960 года в Москве с частным визитом объявился давний знакомец Хрущева Генри Кэбот Лодж, который сопровождал его в поездке по Америке. И на этот раз Лодж приехал по рекомендации президента понюхать, какие ветры дуют за кремлевскими стенами.

Хрущев принял Лоджа приветливо, как старого друга. Хлопал по плечу, жал руку, но вопреки обычаю больше помалкивал, а сам слушал. Только сказал:

— Сейчас самый горячий вопрос — это Берлин. Если США приедут на парижский саммит с доброй волей, а не будут плясать под дудку Аденауэра, то там можно решить все проблемы без потери лица для какой-либо из сторон. Но если не будет соглашения по Германии, советско-американские отношения ухудшатся.

Лодж долго и пространно говорил, что на «горячей плите» сейчас варится много проблем. И не надо серьезно относиться к речам, которые произносятся в эти дни в Америке, — там идет избирательная кампания. Мало ли что говорится в пылу предвыборных баталий. Пусть даже Никсоном и другими высокими лицами.

Но на предстоящем саммите, подчеркнул Лодж, нельзя занимать позицию «все или ничего». Весь мир ждет, что Париж будет началом в серии встреч руководителей четырех держав. Поэтому нельзя допустить провала, который бы убил саму возможность проведения таких встреч в дальнейшем. Тут Лодж попросил переводчика быть очень внимательным и точно перевести то, что он сейчас скажет:

— В предвыборные годы США всегда обладают минимальной гибкостью для проведения внешней политики. Но то, что трудно или даже невозможно сделать в пятьдесят втором, пятьдесят шестом или шестидесятом годах, часто вполне возможно достичь в пятьдесят третьем, пятьдесят седьмом или в шестьдесят первом годах.

Хрущев промолчал. Но потом комментировал это откровение Лоджа весьма кисло:

— Похоже, американцы действительно приедут в Париж с пустыми руками. А чтобы задобрить нас, как тому ослу, морковку показывают — пусть, мол, бежит вперед...

В МИДе этот разговор вызвал настоящий шок: так что же, значит, прав был Меншиков?

Намеченный визит Хрущева во Францию пришлось отложить: он заболел — простудился и просто устал после напряженной поездки по жарким странам. Пресса, естественно, не поверила. Болезнь тут же была объявлена дипломатической. С одной стороны, говорилось, что это — выражение недовольства сближением Франции с ФРГ. С другой — демонстрация озабоченности неуступчивой позицией Запада по Берлину. Но Никита Сергеевич действительно заболел и пролежал в постели дня три.

Визит начался 23 марта 1960 года. Переговоры проходили в Рамбуйе, где оба лидера прогуливались по парку или же беседовали в старинном замке. Любопытно они выглядели со стороны. Высокий, с военной выправкой аристократ и низенький толстяк-крестьянин. Де Голль делал шаг, а Хрущеву приходилось — два. Ну, прямо как знаменитые клоуны Пат и Паташон.

Хрущев, как только мог, живописал историческую близость России и Франции, теплоту и сердечность их отношений. При этом сетовал на опасность реваншизма и милитаризма, которые поднимают голову в Германии. Вспоминал, что именно с ними России и Франции приходилось воевать не на жизнь, а на смерть. Правда, времена сейчас не те, но вот все согласны решать германскую проблему путем переговоров, а Адена-

уэр против. Он старый и упрямый человек и, наверное, поэтому не хочет никаких изменений в европейском статус-кво.

Однако де Голль на все эти в общем-то примитивные уловки Хрущева не реагировал. Большею частью величественно молчал или туманно говорил о солидарности Запада.

Совершенно неожиданно удача улыбнулась Хрущеву с той стороны, о которой он и не мечтал. 25 марта, когда он начал расписывать прелести своего плана всеобщего и полного разоружения, де Голль неожиданно, но, как всегда, раздумчиво и веско сказал:

— Такое разоружение надо начинать с уничтожения средств доставки ядерного оружия: ракет и самолетов, способных нести ядерные заряды.

И хотя Зорин лихорадочно писал Хрущеву записки, что соглашаться с этим никак нельзя потому, что французы хотят лишиться нас оружия, каким сами не обладают, Хрущев обрадовался и тут же согласился. Еще бы, в первый раз хоть кто-то согласился с его планом всеобщего разоружения.

— Проблему разоружения, — сказал он де Голлю, — можно решить двумя путями: или наши западные партнеры примут советские предложения — начать со значительного сокращения обычных вооружений и некоторых шагов в области ядерного разоружения, а ракеты запрещаются и уничтожаются на последнем этапе, или начать так, как предлагаете вы, то есть с уничтожения средств доставки ядерного оружия.

Для военных и политических советников с той и другой стороны эти неожиданные ходы их лидеров были как гром с ясного неба. Они страстно убеждали, что на такое разоружение идти никак нельзя. Разве можно верить им, русским (французам)? Что будет со стратегией сдерживания (борьбой за мир)? Что станет с союзниками? В общем, случилось то, что потом произойдет 20 лет спустя в Рейкьявике, когда Горбачев и Рейган неожиданно для самих себя и к ужасу своих советников договорятся о необходимости уничтожения ядерного оружия. Пять дней продолжалась эта бесшумная тяжба между советниками и их руководителями как в Елисей-

ском дворце, так и в советском посольстве на рю де Гренель.

Первого апреля де Голль в беседах с Хрущевым вновь вернулся к этой теме. Он сказал, что на совещании в верхах нужно смело поставить вопрос о ядерном разоружении и ликвидации средств доставки ядерного оружия, в том числе плавучих и постоянных баз, ракетных баз и т. д. Хрущев тут же ответил, что он за такое решение.

Только в свете этих переговоров, сведения о которых тогда в печать не попали, можно понять смысл заявления Хрущева на пресс-конференции 2 апреля:

— Я человек оптимистического характера, поэтому и раньше оптимистически смотрел на перспективы встречи на высоком уровне, а сейчас этот оптимизм еще больше усилился...

Это был открытый сигнал Западу. Ну, а себе домой, в Советский Союз, он тоже послал сигнал, чтобы несколько утихомирить страсти вокруг «переговоров без конца». Нельзя думать, сказал он, что «за одну-две встречи между руководителями стран Запада и Востока можно будет урегулировать все спорные вопросы. Путь к миру за годы «холодной войны» оказался чересчур захламленным».

По возвращении в Москву Хрущев высоко оценил результаты своей поездки. Он заявил, что по главной проблеме — разоружению — позиции сторон совпадают. Это был, конечно, перебор. Де Голль, который предложил начать всеобщее разоружение с ликвидации средств доставки, через несколько недель одумался и, услышав дружное осуждение коллег, стал открещиваться от собственных слов.

Ну, а Хрущев продолжал пребывать в состоянии эйфории. Ему казалось, что все идет как нельзя лучше.

Между тем с конца 1959 года в Москве уже совершенно четко наметился блок противостоящих Хрущеву сил. На поверхности все было до умиления тихо и спокойно. Так, что стороннему наблюдателю могло показаться, что Россия выглядит удовлетворенной и счастливой. Но подспудно в тиши кремлевских коридоров и высоких кабинетов протекали невидимые простым гла-

зам процессы: шло формирование оппозиции, которая объединяла всех недовольных Хрущевым.

А таких оказалось немало. Партийно-государственная бюрократия, чьи крылья он подрезал своей экономической реформой. Аппарат КГБ, напуганный демократическими нововведениями и разоблачением сталинских преступлений. Партийные идеологи, рассерженные политикой мирного сосуществования, в которой им виделся отход от правоверного марксизма. Они ставили ему в пику и начавшееся вольнодумие в народе, и примирение с югославскими ревизионистами, и ухудшение отношений с братским Китаем.

Но главное — это недовольство военно-промышленного комплекса, которому Хрущев сильно наступил на ногу. Зашевелилась недовольная «оборонка» — гигантский спрут, охватывающий восемьдесят процентов промышленных предприятий Советского Союза.

К тому же Хрущев потерял свой главный козырь, привезенный из Вашингтона, — теперь он уже не мог утверждать, как раньше, что способен на равных договариваться с президентом США и влиять на общественное мнение Запада. По каналам КГБ широко распространялась информация, что Аденауэр фактически сорвал наметившуюся в Кэмп-Дэвиде договоренность по германской проблеме. А Меньшиков из Вашингтона слал телеграммы, в которых предупреждал о «новой коварной тактике империализма».

Года два назад Хрущев, может быть, и разбросал бы своих противников — не очень уж сильные-то были фигуры. Подумаешь, Козлов, Сулов, Шелепин да кучка генералов. Но расклад в Президиуме в марте — апреле 1960 года был уже не в его пользу.

Не в том была беда, что в Президиуме по-прежнему восседали именитые старцы — Ворошилов и Шверник — как символы преемственности поколений. Беда в том, что все усилия Хрущева преобразовать Россию наткнулись на глухую стену сопротивления его же соратников, которую он никак не мог пробить.

Весьма двусмысленную позицию занимали Сулов, Козлов, Брежнев и Куусинен. Их объединяло стремление всеми правдами и неправдами остаться у власти, в

Президиуме. Поэтому они тихо и молча противодействовали кадровым перестановкам Хрущева, не без основания опасаясь, что Никита Сергеевич примется и за них.

И принялся бы Никита Сергеевич — глазом не моргнул, если бы не чувствовал, что шатается его главная опора — Пленум ЦК. Его состав практически не менялся с XX съезда партии и не отражал нынешнего соотношения сил. Правда, все говорили, что это — хрущевский пленум. Он сам его формировал в 1956 году, и большинство всегда поддерживало своего Генерального секретаря. Но насколько серьезно и глубоко? Тот факт, что Хрущеву не удалось изгнать всех сторонников антипартийной группы, говорит сам за себя. Да и к продолжению борьбы со сталинизмом пленум был совсем не расположен.

Хрущев видел это. Но на XXI съезде партии в январе 1959 года так и не решился обновить состав пленума. Формально съезд был «чрезвычайным». Сулов и Микоян в своих речах подчеркивали это, указывая, что в повестке дня один только вопрос — обсуждение контрольных цифр семилетнего плана.

Все это, конечно, не нравилось Хрущеву. Поэтому на пленумы в качестве балансира он стал широко приглашать районных и областных партийных работников, передовиков-рабочих и ударников-колхозников. Иногда на пленуме присутствовало более тысячи таких «простых» членов партии. Это подавалось как демократизация партии.

Но они никак не могли изменить новую расстановку сил, которая стала складываться в руководстве Советского Союза к концу 1959 года — началу 60-х годов. Хрущев видел это и чувствовал, что ему становится все сложнее проводить намеченные преобразования.

Примерно к осени 1959 года в Москве образовалась группа молодых политиков, кстати, все — выдвиженцы Хрущева, которых не без иронии прозвали «младотурками». В нее входили Ильичев, Семичастный, Аджубей, Харламов, Сатюков, Горюнов. За старшего у них был Шелепин. А примыкали к ним или пытались «дружить» еще сотни молодых искателей фортуны из ЦК, КГБ, МИДа, журналистских кругов.

Хрушев, пожалуй, ни к кому не относился с таким доверием и никого не поднял так высоко по партийной и государственной лестнице, как Шелепина, который получил прозвище «железного Шурика». За считанные годы из рядового партийного функционера он превратился в могущественного члена Президиума, секретаря ЦК и председателя КГБ.

Это был беспринципный карьерист с непомерными амбициями. Как-то еще в институте его спросили, кем бы он хотел стать. Ни секунды не задумываясь, молодой Саша ответил: начальником.

При Шелепине был практически смещен весь верхний эшелон КГБ. Вместо старой гвардии — преданной, но малограмотной — в центре и на местах пришли новые люди, в основном из комсомола. Первые секретари многих областных комсомольских организаций так прямо и пересели в кресла представителей КГБ по этим же областям.

Шелепин взял твердый курс на повышение рейтинга чекистов у советских людей, которые в хрущевскую оттепель стали открыто показывать не то что неуважение — неприязнь к этой основе основ советской власти. И выжалось это не только в бесчисленных анекдотах.

Поэтому Шелепин начал с возрождения культа «железного Феликса», коим был Дзержинский, — человек с «холодным рассудком, горячим сердцем и чистыми руками». А несколько лет спустя Шелепин доложил партии: «Нарушения социалистической законности полностью искоренены. Чекисты теперь с чистой совестью могут смотреть в глаза партии и советского народа».

И со спокойной совестью принялся за искоренение диссидентов.

Надменный и жестокий с теми, кто стоял ниже его на иерархической лестнице, он был почителен и подобоострастен с сильными мира сего, особенно с Хрущевым. А Никита Сергеевич был падок на лесть, причем самую грубую и примитивную.

Поначалу обыватели решили, что Хрушев создает себе команду опричников, как при царе Иване, — уж

очень нагло и бесцеремонно вели себя эти молодые люди, приближенные, как они всячески старались показать, к могущественной фигуре первого секретаря. Это они во всю раздували культ личности Хрущева. Весь мощный аппарат пропаганды Советского Союза был у них в руках, и они использовали его так бесстыдно и цинично, что очень скоро вся эта кампания славословия превратилась в посмешище для всей России. Над Хрущевым смеялись в открытую и без стеснения — уж очень не соответствовали лик и поведение нового вождя тому образу, который создала пропаганда. Пошла волна анекдотов. А люди интеллигентные вспоминали стихи Некрасова:

Бывали хуже времена, но не было подлей.

Один из литераторов так припечатал эту кампанию: раньше был культ личности, а теперь культ двуличности.

В общем, хотели они того или нет, — скорее цель у них была иная, — но именно «младотурки» в немалой степени способствовали дискредитации Хрущева.

Влияли ли они и в какой мере на государственную политику?

Решительный и энергичный Хрущев чувствовал себя слабым и даже беззащитным, когда дело касалось вопросов теории. Здесь он полагался на Суслова, который слыл в партийных кругах крупным авторитетом в области идеологии, науки, культуры и искусства. Еще бы, ведь в его кабинете стоял деревянный ящик с сотнями карточек, как в любой районной библиотеке, но в них не названия книг, а цитаты классиков марксизма-ленинизма, разложенные по темам на все случаи жизни. Возникала какая-нибудь проблема, а у Суслова уже цитата из Ленина готова. Хрущев же против цитат идти не мог.

«Младотурки» раскусили эту слабость вождя, который, как и многие малограмотные люди, относился с почтением к университетским дипломам. А Шелепин даже знаменитый ИФЛИ (Институт истории, философии и литературы) кончал. Другие были известными

журналистами или ценителями искусств, как Ильичев. На какое-то время они даже если не отодвинули Суслова, то, во всяком случае, соперничали с ним за влияние на Хрущева. Но это влияние не было позитивным. Отнюдь. Именно Шелепин и Ильичев сумели втянуть Хрущева в борьбу с либеральной интеллигенцией, писателями и художниками. От них, как круги по воде, распространилась идея о том, что России нужна железная рука, что с американцами надо говорить языком силы...

Собственно говоря, все обрамление поездки Хрущева в Америку было делом их рук. Они стремились превратить этот вояж в пропагандистское турне, мало заботясь о достижении серьезных политических договоренностей. Этому слабо противостоял основательный и благообразный Громыко. Поэтому «младотурки» его легко обошли. Дипломатический багаж Хрущева, с которым он летел в Америку, был, по сути дела, пуст.

Зато они преуспели в пропагандистском оформлении этой поездки — с помощью дешевой политической косметики хотели показать миру не зловещее, как при Сталине, а румяное, простое лицо Советского Союза, уверенно идущего по пути строительства новой жизни. Это они инициировали задиристый тон и митинговый характер выступлений Хрущева, непомерно раздували научно-технические успехи Советского Союза и его экономические возможности.

Возникает вопрос — ну, а зачем все это было нужно «младотуркам» — людям в массе своей неглупым, энергичным и весьма эрудированным?

Боюсь, что ответ будет звучать тривиально: чтобы пробиться наверх и, пользуясь слабостями Хрущева, окопаться вокруг него. Судя по всему, никакой позитивной программы действий по преобразованию Советского Союза у них не было, а хотели они одного — власти. Слухи о выпивках, в ходе которых только и говорилось, кого куда скоро назначат, расходились по Москве, волнуя умы.

Рассказывали, например, что подвыпивший Аджубей говорил, что мешает ему тесть — Хрущев. Он, Аджубей, человек государственный, ему расти и расти,

но родственные связи тормозят: все смотрят на него только как на зятя Хрущева. Но ничего, есть группа молодых и толковых людей, скоро она возьмет все в свои руки.

Имена никогда не назывались, но имелось в виду, что первую роль в новой власти будет играть Шелепин. Однако Хрущева на первых порах оставят, сделав его власть чисто декоративной, номинальной. Сам Аджубей метил в министры иностранных дел.

Так ли все это? История скупко выдает свои тайны. Можно, однако, с уверенностью сказать, что люди это были жесткие и беспринципные, готовые на все. Особенно же Шелепин. Едва успев стать председателем КГБ, он написал от руки, чтобы меньше было свидетелей, записку Хрущеву с предложением уничтожить все дела проведенной в 1940 году операции НКВД по расстрелу в Катыни около 22 тысяч польских военнопленных. Тогда на весь мир было объявлено, что их гибель — дело рук немецко-фашистских варваров. Теперь аккуратным, почти детским почерком выводились слова, поражающие своим беспримерным цинизмом: «Для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительный интерес и для наших польских друзей. Наоборот, какая-нибудь непредвиденная случайность может привести к расконсперированию операции со всеми нежелательными для нашего государства последствиями».

Бог милостив — «непредвиденная случайность» имела место, и мы узнали правду о тех, кто нами правил.

...У любой тоталитарной власти есть закон — правитель не должен надолго покидать столицу, особенно если в стране есть признаки брожения умов. Хрущев то ли по беспечности, то ли по чьим-то советам пренебрег этим правилом. Почти весь февраль он разъезжал по Юго-Восточной Азии, произносил речи, купался в славе оваций и изящных восточных восхвалений. Да и в марте он пробыл в Москве чуть более двух недель. Заморские вояжи ему явно пришлись по душе.

В Москву из Парижа Никита Сергеевич вернулся 3 апреля. И тут ему показалось, что приехал он в дру-





1936 год.  
Если бы Сталин знал,  
что тот, кто стоит за его спиной...



...двадцать лет спустя  
нанесет ему удар в спину и предаст анафеме



Вершил внешнюю политику сам Хрущев.  
Громыко был его бледной тенью.  
Но "бледная тень" пережила и Хрущева,  
и Брежнева, и Андропова



1959 год.

На американской выставке в Сокольниках.  
Хрущев учит вице-президента Соединенных Штатов уму-разуму



А это уже Соединенные Штаты.  
Хрущев вручает президенту Эйзенхауэру копию вымпела,  
доставленного советской ракетой на Луну:  
"Догоняй нас, сэр!"



На приеме в Белом Доме.  
Хрущев нарушает ритуал: "Мирному сосуществованию – да,  
буржуазному фракту – нет!"



Вдоль по Америке.  
С губернатором штата Нью-Йорк  
Нельсоном Рокфеллером:  
"Будем дружить и торговать"



У фермера Гарста.  
Хозяин отгоняет  
назойливых журналистов.  
Хрущев подливает масла в огонь:  
"Он на вас еще и своих быков  
выпустит!"



Штат Пенсильвания.  
Хрущев приветствует жителей Питсбурга.  
Жители Питсбурга благосклонно безмолвствуют



Хрущев доволен визитом в США.  
В мире повеяло разрядкой





“Не смеют крылья черные над родиной летать...”  
Судят летчика-шпиона Пауэрс. Москвичи с гневом осматривают  
обломки сбитого самолета и шпионские реквизиты.  
Конец разрядки?





Хрущев негодует...



...а "серый кардинал" Суслов доволен:  
"Я же говорил,  
что с империалистами дружить нельзя!"



Хорошая мина при плохой игре.  
Де Голль и Хрущев в Париже накануне саммита...  
который не состоится



На Генеральной Ассамблее ООН.  
Хрущев хлопает в ладоши.  
Но скоро будет стучать ботинком по столу



Встреча с новым президентом США Кеннеди:  
"Мир или война?"



Советские ракеты – на Кубу? Нет проблем!



Незадолго до отставки.  
Микоян и Брежнев в гостях у Хрущева.  
Один останется верным ему до конца,  
другой уже держит камень за пазухой



И друг Родя не защитил.  
А ведь клялся в вечной дружбе



Самый прочный тыл – семья



Орган Центрального Комитета  
Коммунистической партии Советского Союза

Создана в 1912 году  
в В. ЗЕНИНЕМ № 280 (1807) Пятница, 14 октября 1964 года Цена 5 коп.

Коммунистическая партия Советского Союза твердо и последовательно приводе к жизни ленинскую генеральную линию, выработанную XX и XXII съездами КПСС. Тесно сплавленный вокруг главы родной партии, советский народ героически борется за осуществление великих задач коммунистического строительства.

Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии – к новым победам коммунизма!

## С О Б Щ Е Н И Е о Пленуме Центрального Комитета КПСС

14 октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.

Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу т. Хрущева Н. С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума

ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарем ЦК КПСС т. Брежнев Л. И.



Л. И. БРЕЖНЕВ  
Первый секретарь ЦК КПСС



А. В. КОСЫГИН  
Председатель Совета Министров СССР

### В Президиуме Верховного Совета СССР

14 октября с. г. на пленуме Президиума Верховного Совета СССР тов. А. И. Микоян был назначен заместителем Председателя Верховного Совета СССР по линии связи с Президиумом Совета Министров СССР.

Пленум ЦК КПСС избрал заместителем первого секретаря тов. Хрущева Николая Сергеевича, об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Президиумом Совета Министров СССР Президиум Верховного Совета СССР избран тов. Булатов Александр Николаевич, освобожден от его обязанностей первым заместителем Председателя Совета Министров СССР.

Рядом с Председателем Верховного Совета СССР исполнял обязанности тов. Хрущев Н. С. на освобожденной должности Совета Министров СССР и в качестве первого заместителя А. И. Микояна (ранее Совет Министров СССР) выполнял обязанности Председателя Верховного Совета СССР.

Члены Президиума Верховного Совета СССР были назначены т.ч. Алехин В. И. и назначены на пост Председателя Верховного Совета А. В. Косыгин.

Тов. Косыгин А. В. временно исполняет обязанности Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Президиума Верховного Совета СССР на срок до окончания 14 октября, при этом он не несет ответственности за действия, выполняемые им в этот период.

УЛАН ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
О назначении тов. Косыгина А. В. Председателем  
Совета Министров СССР

Секретарь ЦК КПСС тов. Косыгин А. В. освобожден от обязанностей  
Председателя Верховного Совета СССР

Известно:  
1701 (1807) № 280  
Великий Октябрь

Первый мирный переворот в истории России





В черно-белых тонах.  
Как и вся прошедшая жизнь

гую страну. Нет, внешне все обстояло как прежде — чинно, благородно. Но его уважаемые коллеги по Президиуму ЦК, потупив очи долу, смиренно рассказывали, что в стране неспокойно. Армия почти открыто ропщет, недовольная сокращениями. КГБ обеспокоено вольнодумием. У советских людей падает вера в коммунистические идеалы, их все больше прельщают западный образ жизни и буржуазные мечтания о какой-то свободе и демократии. И причина этому — неправильное понимание так называемого духа Кэмп-Дэвида. Он порождает смятение умов, ложные иллюзии и несбыточные мечты. А империалисты пользуются этим и тайне готовят новое наступление на социализм. Все надежды на успешное проведение саммита беспочвенны. Аденауэр плотно блокировал любое решение германского вопроса, и американцы против него не пойдут. Нет перспектив и у другого любимого детища Хрущева — всеобщего и полного разоружения. Оно утоплено в бесконечных речах в Женеве.

Четыре дня, с 4 по 7 апреля, члены Президиума по одному, по двое нудно, как комары, зудели одно и то же у него в кабинете, во время прогулок на даче, в кремлевской столовке, где они по-прежнему собирались для неофициального обмена мнениями.

Громыко и на этот раз неплохо сориентировался в настроениях советской верхушки. Поэтому верный своему принципу, взятому на вооружение еще с молодых лет, не высывался, хотя жег его один неотложный вопрос. Хрущев должен был дать ответ на заявление Эйзенхауэра и Макмиллана, принявших советское предложение о моратории на подземные ядерные взрывы ниже порога мощности в 20 килотонн.

Все вроде было ясно: американцы согласились наконец с нашим предложением, которое долго пробивал сам Хрущев. Значит, дело сделано, договор у нас в кармане... Но Андрей Андреевич всеми фибрами своей души ощущал: нельзя сейчас предлагать Президиуму позитивный ответ — можно нарваться на неожиданный отказ от собственных же предложений или, не дай Бог, спровоцировать дискуссию, а правильно ли вообще мы ведем свою внешнюю политику, не торгуем ли интере-

сами безопасности Советского Союза ради иллюзорных мечтаний о дружбе с империалистами.

А тут еще, как назло, новая шифровка из Вашингтона подоспела. Меньшиков сообщал, что 6 апреля к нему в посольство пришел Чарльз Болен — ведущий специалист госдепа по советским делам, и сказал, что на совещании в верхах удастся договориться только о запрещении испытаний. В этом вопросе единодушны все кандидаты на предстоящих президентских выборах. Но в других вопросах согласия нет. Заключение мирного договора с Германией невозможно.

Седьмого апреля, как обычно по четвергам, в Доме правительства в Кремле проходило заседание Президиума. Оно не отмечено ни одним словом — ни в печати, ни в мемуарах. Да и что отмечать? Повестка дня, судя по протоколу, была совсем рутинной. Решений крупных, как бы мы теперь сказали «судьбоносных», — никаких.

А между тем именно на этом заседании или, вернее, перед ним произошел поворот, который определил судьбу России да и всего мира на десятилетия — вплоть до перестройки. Произошло что-то вроде невидимого и неслышимого путча. В моих записях того времени этот день помечен так: «7 апреля полож. обсужд. на Пр.?» Много лет я собирал сведения о событиях вокруг этой даты, разговаривал с людьми, которые могли иметь отношение к тому заседанию или хотя бы что-то слышать о нем. Изложенное ниже — попытка реставрировать события того дня.

В «Ореховой комнате», как всегда, собрались члены Президиума, чтобы обсудить повестку дня предстоящего заседания. Ох, эта «Ореховая комната»! Сколько неизвестных бесшумных решений, потрясавших потом всю страну, было принято в маленькой гостиной, обшитой деревянными панелями под орех и с мягкими удобными креслами, в которых горстка пожилых людей, расслабившись, мирно беседовала, попивая чай.

Эта комната была вершиной невидимой властной структуры Советского Союза. Присутствовали только члены Президиума. О чем они говорили и что решали, нигде и никак не фиксировалось. Напрасно потом ис-

торики будут искать в документах и протоколах так называемых папок Политбюро ключи к поворотам в советской политике. Бесполезно. Их нет. Даже самых верных и ближайших помощников не допускали на посиделки в «Ореховой комнате». Только по отдельным, как бы ненароком оброненным фразам они могли догадываться, что там произошло.

Сейчас Хрущев услышал здесь то, о чем поодиночке шептались ему по углам да на лесных дорожках:

— Никита Сергеевич, уймись! Народ недоволен, армия ропщет, политику в отношении США надо менять. Сам же правильно говорил, что американцы понимают только один язык — силу. И от визита Эйзенхауэра надо бы под удобным предлогом отказаться — незачем народ мутить.

Суслов хотя и петлял, по своему обыкновению, но тут тоже осмелел и даже идеологическую подкладку пришил:

— Давайте решим наконец, что нам важнее — приобрести фальшивых друзей в лице американского империализма или потерять настоящего друга, каким является Китай, строящий социалистическое общество. Пока же получается так: теряем верного и сильного союзника, а взамен ничего не приобретаем.

В послевоенной партийной верхушке Михаил Андреевич был одной из самых темных и коварных личностей, хотя внешне казался просто милейшим человеком. Худой, с аскетическим, но благообразным лицом, он со всеми держался скромно, говорил тихим, ласковым голосом. Всем посетителям, даже тем, кто много ниже его на иерархической лестнице, выйдет на встречу из-за огромного стола и руку пожмет, справится о здоровье. В разговоре ладошки лодочкой складывал, как бы упрасывая, но, упаси Бог, не приказывая. Кроме того, не грешил, как другие кремлевские долгожители, постройкой роскошных дач или устройством на теплые места своих родственников. Правда, оставил после себя этот скромный бессребреник несколько миллионов, которые никак не могли поделить между собой его наследники. Даже суд был, который московские острословы окрестили «процессом о трех

миллионах», памятуя давний кинофильм, где роль мошенника прекрасно сыграл Игорь Ильинский. Вот такой это был человек.

Только улыбнется вдруг, вроде бы ласково или даже подобострастно, если говорит, к примеру, с Хрущевым, — и оторопь берет: не улыбка это, а оскал злобный, так что десны видны и зубы желтые, как клыки. И глаза, горящие недобрым пламенем, выдают натуру сильную и властную. Самые дикие вспышки гонений и репрессий в 60-е и 70-е годы исходили именно от Суслова. Он же был одним из главных инициаторов гонения на академика Андрея Сахарова. В общем, чем-то напоминал инквизиторов средневековья. Как и они, фанатично боролся за чистоту идеологии против всяческих еретиков, будь то космополиты или абстракционисты. Однако при этом всегда умудрялся остаться в тени.

Но вернемся в «Ореховую комнату». Вслед за Сусловым веско и грубо выступил Шелепин. Сказал, что КГБ удалось раздобыть важные документы — тут же продемонстрировал их — о подготовке Запада к встрече в верхах. Из них следовало, что Эйзенхауэр едет в Париж с пустым портфелем — ничего позитивного ни по германскому вопросу, ни по Берлину. Таков же политический багаж и у де Голля, и Макмиллана.

И тут наконец до Хрущева дошло, что он оказался в одиночестве. Разве что еще Микоян остался на его стороне, но и его поддержка была какая-то уклончивая.

Поняв, что его обложили со всех сторон, Хрущев махнул рукой и решил смириться — пусть будет, что будет, а там, глядишь, все образуется.

И тут, как назло, произошел инцидент, который вывел его из себя и заставил сначала нехотя, а потом и страстно, с присущим ему азартом принять сторону своих оппонентов. А может быть, он даже воспринял его как спасительную соломинку, упавшую с неба.

# ЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ

Один абзац из материалов расследования факта нарушения государственной границы СССР: «9 апреля 1960 года в районе Памира, 430 километров южнее города Андижан, через государственную границу СССР со стороны Пакистана перелетел иностранный самолет. Радиолокационными постами отдельного корпуса ПВО Туркестанского военного округа из-за преступной беспечности нарушитель был обнаружен в 4 часа 47 минут, когда углубился на нашу территорию более чем на 250 километров. Указанный нарушитель вышел к Семипалатинску...»

...А происходило действительно нечто нелепое и не уместяющееся ни в какие рамки здравого смысла. Рано утром 9 апреля 1960 года начальнику штаба воздушной армии в Ташкенте полковнику Канцевичу позвонил оперативный дежурный:

— Товарищ полковник, обнаружена цель!

— Выезжаю.

На КП ему сообщили, что нарушитель уже возле Семипалатинска.

— Как он там оказался? — вспыхнул Канцевич. И было от чего: самолет-нарушитель находился в глубине советской территории, границы которой ему надлежало держать на замке. Более того, самолет был уже в районе секретного ядерного полигона.

Получив сигнал о появлении нарушителя, летчики полка ПВО под Новосибирском бросились к машинам.

Эти воздушные аппараты Т-3 были самым последним достижением советского самолетостроения. Их называли «самолет-труба» из-за огромного сопла, в которое мог спокойно въехать автомобиль «Москвич», а крыльев почти не было. Трижды превышая скорость звука, они могли подняться на 20 тысяч метров, как раз на ту высоту, где летел полностью уверенный в своей недосыгаемости американский У-2. Для начала 60-х годов это был, пожалуй, наиболее современный истребитель-перехватчик. Самолет Т-3, впоследствии названный Су-9, входил в комплекс средств перехвата воздушных целей. Он позволял перехватывать самолеты, летящие со скоростью 800—1600 км/час на высотах от 5 до 20 км. Максимальная скорость его была 2300 км/час. Практический потолок — 20 500 метров, дальность полета с двумя подвесными баками — 1800 км.

Самолет был вооружен 4 управляемыми ракетами класса «воздух—воздух» — 2 управляемые ракеты РС-2 УС на внутренних крыльевых авиационных установках (АПУ) и 2 управляемые ракеты Р-55 на внешних крыльевых АПУ. Ракеты РС-2 УС наводились на цель по радиолучу бортовой РЛС, а ракеты Р-55 имели тепловую головку самонаведения.

Правда, летчики еще не успели как следует освоить эту машину. Один налетал всего 4 часа, другой — 100. И ракетами «воздух—воздух» еще не стреляли. Тем не менее они рвались сбить нарушителя, а если надо, то и протаранить его...

Но шло драгоценное время, а самолеты не взлетали. В районе Семипалатинска не оказалось запасного аэродрома. Имелся, правда, один, но он считался сверхсекретным, и частоты его приводных станций были неизвестны. Из полка навверх ушел запрос:

— Пара Т-3 готова к вылету. Может идти на перехват нарушителя государственной границы. Дайте координаты запасного аэродрома.

А оттуда контрзапрос:

— Аэродром, о котором спрашиваете, секретный. Есть ли у летчиков соответствующие допуски?

Соответствующих по всей форме допусков у летчиков не было. Последовал приказ — пусть сидят и ждут.

Так продолжалось более двух часов, а тем временем американский самолет спокойно совершал виражи над Семипалатинским полигоном. Американцы хорошо знали, что там проводятся основные испытания советского ядерного оружия. Им нужны были технические детали, касающиеся методологии их проведения. Кроме того, Советский Союз в 1958 году объявил мораторий и испытаний не проводил. Не готовится ли он тайно к их возобновлению?

Между тем запрос из штаба полка достиг аж самой Москвы и рассматривался в правительстве СССР. До этого он «прорабатывался» в главном штабе Войск ПВО, ВВС и конечно же в КГБ.

Наконец в семь часов утра по московскому времени разрешение на взлет было получено. Но к этому времени У-2, помахав своими черными крыльями, развернулся и ушел в сторону другого секретного объекта — полигона зенитно-ракетных войск ПВО. Теперь он был вне досягаемости Т-3, и те благополучно приземлились на сверхсекретном объекте близ Семипалатинска.

Летчики были вне себя от возмущения. Единственное, что их успокаивало, так это уверенность: у полигона Сары-Саган нарушителя перехватят наверняка! Они точно знали, что там развернут зенитно-ракетный комплекс С-75, известный на Западе как САМ-2 — самое совершенное на то время ракетное оружие. Оно могло поражать цель на высоте до 25 километров.

Но американскому пилоту в тот день везло. На ракетном полигоне Сары-Саган 9 апреля стрельб не планировалось и ракет на позициях не было, а технические площадки, где они хранились, располагались от полигона на расстоянии 100 километров. Но и там подготовленных и снаряженных ракет не оказалось.

После грозного приказа маршала Бирюзова ракеты тронулись в путь. Но в это время У-2 уже начал фотографировать полигон, нагло совершая виражи вверх — вниз, вверх — вниз. Потом опять, помахав черными крыльями, безнаказанно улетел к ракетному полигону Тюра-Там.

К этому времени уже огромный куст советских ПВО юго-востока страны был приведен в высшую степень

боеготовности. Но роковые обстоятельства или, вернее, самое обыкновенное разгильдяйство помогли разрушителю.

Одной из авиационных частей на юге Урала было приказано отправить наперехват два новых истребителя МиГ-19. Их освоили к тому времени только два летчика, а на момент тревоги в наличии оказался только один. Другой в это время проводил политинформацию! Поэтому послали опытного летчика капитана Гусева и новичка лейтенанта Владимира Карчевского. Им был дан приказ, вылетев со своего аэродрома на юге Урала, сесть под Свердловском и заправиться. Потом — бросок под Орск и снова заправка, и только оттуда идти на перехват цели. Но когда самолеты подлетели к Свердловску, истребитель Карчевского внезапно потерял скорость и стал заваливаться на крыло. Летчик катапультировался, когда самолет уже стал чиркать по льду колесами. Парашют конечно же не открылся, и летчик погиб. Владимир Карчевский стал первой жертвой бесславной охоты на У-2. А второй самолет благополучно приземлился в Свердловске, но команду на вылет ему так и не дали. К этому времени разрушитель уже улетел...

Наконец, третью попытку предприняло командование воздушной армии, дислоцированной в Средней Азии. Оно правильно рассчитало, что полигон Тюра-Там — это последняя цель непрошеного гостя. Других военных объектов рядом нет. Значит, от Тюра-Там он должен круто повернуть к югу и уйти через границу в Афганистан.

Полк истребителей, который должен был перехватить У-2 на отрезке Тюра-Там — Мары был приведен в боевую готовность. На вооружении у него были те самые «самолеты-трубы» — Т-3. Но... опять это роковое «но». Как говорится в официальных материалах расследования, эти обладающие уникальными боевыми качествами машины использовались совершенно неудовлетворительно. Попросту говоря, летчики оказались неподготовленными к полету на больших скоростях и высотах. А командование не смогло организовать взаимодействия, хотя у него в запасе было около 5 часов на

подготовку к перехвату. Кроме того — это уже рассказывали сами летчики, — на самолетах не было ракет, да и на склад они еще не поступали.

В общем, У-2 спокойно ушел на свою базу. А министр обороны маршал Малиновский издал секретный приказ по «факту нарушения государственной границы СССР». В нем действия руководства Войск ПВО, ВВС и командования Туркестанского военного округа квалифицировались как «преступная беспечность» и «недопустимая расхлябанность». Несколько генералов и полковников было предупреждено «о неполном служебном соответствии», а генерал армии Федюнинский получил строгий выговор.

Летом 1960 года маршал Бирюзов, который хотел спустить это дело на тормозах, обратился к министру с рапортом снять выговор с проштрафившегося генерала. Но министр наложил строгую резолюцию:

«Товарищу Бирюзову С. С.

Генералу с взысканием, наложенным министром обороны, нужно ходить не менее года».

О вторжении американского самолета и неуклюжей охоте за ним знала только самая верхушка и узкий круг военных. Хрушев был не на шутку взбешен. Но не столько головотяпством и разгильдяйством, которые обнаружились в Советской Армии, он сталкивался с ними и раньше, но мирился как с неизбежным злом. Его рассердило и разочаровало, что американцы сыграли на руку его противникам. Попробуй теперь возражать тем, кто говорит, что доверять Соединенным Штатам нельзя, что империализм готовит Советскому Союзу страшные козни под убаюкивающие разговоры о разрядке. В общем, не вовремя случился этот полет.

В хрущевских задиктовках есть на первый взгляд загадочная фраза. Но она становится понятной, если наложить ее на закулисную борьбу в Кремле. Два облета, сказал он, до апреля 1960 года можно было еще объяснить, как случайный эпизод. Но полеты весной 1960 года разумному объяснению не поддавались.

Американцы знали, что причиняют нам страшную головную боль каждый раз, когда один из их самолетов

отправляется с такой миссией, в сердцах кричал Никита Сергеевич. Чтобы успокоить его, Громыко предложил сделать Вашингтону дипломатический протест. Но Хрущев послал его к черту.

— Мы не будем больше прибегать к публичным протестам или использовать дипломатические каналы. Что хорошего они могут дать? Американцы хорошо знают, что не правы. Нам надоели эти неприятные сюрпризы, нам надоело подвергаться унижениям. Они совершают полеты, чтобы показать нашу неспособность к действию. Но мы им еще покажем!..

Полет этот действительно ставил Хрущева в дурацкое положение, давая повод поиздеваться над всей политической разрядки. «Ничего себе «френд», — говорили про Эйзенхауэра на Старой площади, — обвел вокруг пальца как последнего простака нашего «мудрого политика», «борца за мир». Разве этого Советский Союз ждал от мирного сосуществования?»

Спустя несколько лет Ч. Болен скажет: «Возобновление полетов У-2 Хрущев воспринял почти как личное оскорбление. Более того, я думаю, что теперь он выглядел просто дураком. Он, несомненно, рассказывал всем советским руководителям, что Эйзенхауэр хороший, надежный человек, которому можно доверять, и тут — трах-тарарах — появляется этот самолет, который во многом пошатнул власть Хрущева в Советском Союзе».

После разговора с Громыко Хрущев сразу же вызвал Ильичева и дал указание написать статью в «Правду», а в ней разгромить в пух и прах американскую политику последних месяцев. Если надо за что-нибудь зацепиться, возьмите недавнее выступление Гертера: там есть по чему ударить.

Ильичев со своей командой был мастер до таких разгромных статей. Тут их учить было не надо. Да и задание ясно. Статья будет за подписью «Обозреватель», и ее должны одобрить все члены Президиума. Это уже не просто статья, а почти официальный документ с объявлением пропагандистской войны.

Дав это распоряжение, рассерженный и опустошенный Хрущев уехал в Гагру. Во Внуково-2 его ждал ма-

ленький Ил-14. Но это был не простой самолет. Вместо обычных рядов кресел стояли кровать и диван. Если занавесить иллюминаторы — полное впечатление, что находишься в небольшой, но уютной спальне, которая как бы приглашает прилечь и вздремнуть, тем более что полет в Гагру продолжался тогда почти шесть часов. Хрущев так и сделал.

Самолет приземлился на безлюдном аэродроме в Адлере, где его ждала уже вереница машин. Не задерживаясь, Никита Сергеевич поехал на бывшую сталинскую дачу — скромный двухэтажный домик, стоящий на берегу моря в сосновом бору. Хрущев любил это место за тишину и удивительное сочетание запахов морской соли и соснового леса. Он считал, что это одно из самых теплых мест на Черном море, где даже в октябре еще можно купаться. Но сейчас был апрель.

Одиннадцать дней о нем не было ни слуху ни духу. Даже на торжественное заседание в Москве, посвященное 90-летней годовщине со дня рождения Ленина, не приехал. Но потом неожиданно появился в Баку и произнес разгромную речь. Он стоял на высокой трибуне — маленький человек под огромным собственным портретом — и гневно говорил:

— Чем ближе шестнадцатое мая — день встречи глав, тем более односторонне подходят некоторые западные деятели к проблемам, стоящим перед этой встречей. Они выискивают и раздувают то, что никак не может содействовать выработке договоренностей, стараются внести струю недоброжелательства и подозрений.

Тут крепко досталось госсекретарю США Гертеру и его заместителю Диллону.

— Видимо, кое-кто думает, — жестко говорил Хрущев, — свести эту встречу к малообязывающему обмену мнениями, к приятным разговорам и уклониться от выработки решений как по разоружению, так и по германскому вопросу. Не выйдет. Если западные державы не захотят искать вместе с нами согласованных решений, мы пойдем своим путем — заключим мирный договор с Германской Демократической Республикой. За-

пад потеряет тогда право доступа в Западный Берлин по земле, по воде и по воздуху.

Огромная толпа разразилась аплодисментами. Никита Сергеевич выкрикнул:

— Товарищи! В настоящее время Советский Союз сильнее, чем был когда-либо раньше. Наше могущество несокрушимо!

Это было открытое предупреждение другу Эйзенхауэру. Второе за этот месяц. Статья за подписью «Обозреватель» была опубликована в «Правде» 14 апреля. Поняли ли это предупреждение в Вашингтоне? Знал ли президент о тех серьезных переменах, которые произошли в Советском Союзе в этом апреле? Судя по всему — нет.

Но должен был знать и делать выводы Аллен Даллес. Он знал, просто не мог не знать, и о растущем недовольстве реформами Хрущева, и о ропоте в армии, и о том, что это напрямую связывается с его курсом на разрядку. А если знал, то делал ошибочные выводы, если только не преследовал иные цели...

Чиновная Москва не сразу распознала, какой крутой поворот произошел в политике после заседания Президиума 7 апреля. Хрущев уехал. Указаний никто не давал, и колесо бюрократической машины продолжало размеренно крутиться в том же направлении, что и раньше.

Двадцать пятого апреля, например, Царапкин получил утвержденные на Президиуме дополнительные указания, в которых предписывалось «добиваться согласования еще до совещания в верхах как можно большего числа несогласованных вопросов». Ему разрешалось дать согласие на проведение совещания экспертов по программе исследований обнаружения подземных ядерных взрывов. А главное — он должен был сделать заявление, что соображения, высказанные Эйзенхауэром и Макмилланом 29 марта, могли сыграть положительную роль, если бы три державы согласились объявить мораторий на ядерные взрывы ниже порога мощности с магнитудой 4,75.

Конечно, у искушенного американского советолога уже тогда мог возникнуть вопрос, почему на заявление

президента и премьера дает ответ какой-то представитель при ООН. Не порядок. Что-то здесь не так. Но никто не заметил.

Между тем в МИДе да и в Генштабе автоматически продолжали работать над директивами к саммиту. В начале апреля коллегия МИДа создала специальную комиссию для подготовки директив, которую возглавил И. И. Тугаринов. В нее входили наиболее светлые умы МИДа того времени: К. В. Новиков, И. И. Ильичев, П. М. Чернышев, Г. Н. Тункин. Речи поручили готовить лучшим перьям — М. А. Харламову, М. А. Александрову-Агентову, А. А. Ковалеву.

Было подготовлено три-четыре варианта директив. Разумеется, на первом месте стоял германский вопрос и Западный Берлин, затем шло всеобщее и полное разоружение. Третий раздел касался комплекса отношений Восток — Запад.

Особняком выделялся вопрос о прекращении ядерных испытаний. Хрущев прекрасно понимал, что это единственная проблема, по которой можно достичь серьезного и очень нужного соглашения. Ну, может быть, еще по германской проблеме удастся хоть кое в чем уломать Запад. Но гвоздем саммита будет, несомненно, прекращение испытаний. Громыко при всей его внешней серости и апатичности развил бурную деятельность, убеждая Президиум, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда запрещение испытаний без лишнего шума сможет разом решить две кардинальные проблемы. Во-первых, попридержать гонку ядерных вооружений. Логика здесь простая — нельзя создавать оружия, не проводя его испытаний. Во-вторых, перекрыть путь к появлению других ядерных держав. Это касается не только Западной Германии, но и Китая. Нашим интересам не отвечает появление даже маленьких ядерных государств, расположенных по периферии Советского Союза.

Однако политические вихри закрутились уже и на Смоленской площади. Кроме Громыко и, может быть, его заместителя Семенова, там плохо понимали, что происходит. Но видели, что по мере приближения к Парижской встрече директивы для советской делегации

Все ужесточаются и ужесточаются. Например, в первом варианте, подготовленном в начале апреля, разрешалось дать согласие на пять—семь, а в крайнем случае — на десять—двенадцать инспекций в год, но уже в варианте на начало мая лимит снизился до четырех—шести инспекций. А в окончательном документе, утвержденном 12 мая, уже фигурировали только три инспекции.

В общем, ситуация очень напоминала известный феномен с покойником, когда человек умирает, а волосы у него еще несколько дней продолжают расти, хотя все медленней и медленней.

В Вашингтоне выстраивали свои позиции к саммиту, не зная о тех переменах, которые происходят в Москве. Поэтому там больше были озабочены разногласиями с союзниками, которые могли связать американцам руки в Париже.

С 12 по 15 апреля в Вашингтоне проходила встреча министров иностранных дел США, Англии, Франции, Канады и Италии. Они пытались выработать единую позицию и тактическую линию к предстоящей встрече в верхах по трем основным вопросам:

- германская проблема и Берлин;
- разоружение;
- отношения Восток — Запад.

Министры пришли к выводу, что есть шансы достичь соглашения только по запрещению ядерных испытаний. Поэтому на одной из пресс-конференций в конце апреля Эйзенхауэр заявил, что он, де Голль и Макмиллан считают, что разоружение, а не Берлин и Германия, должно стать главной темой на Парижском саммите. При этом он, как и Хрущев, имел в виду запрещенные испытания.

Президент убеждал де Голля и Макмиллана, что Советский Союз искренне намерен сократить бремя военных расходов и запретить все ядерные испытания, чтобы не допустить появления атомной бомбы у Китая. Нам надо использовать, говорил он, это намерение прежде всего для того, чтобы устоять в Берлине. Он просил Макмиллана и де Голля подтвердить в частных беседах с Хрущевым, что «коммунистические акции против наших прав в Берлине положат конец разрядке

вообще и любимым надеждам на достижение разоружения в частности».

А в целом вплоть до первых чисел мая надежды у Эйзенхауэра явно преобладали над опасениями. Тем более что в Женеве уже было практически готово рамочное соглашение по испытаниям, в котором нужно было только проставить число инспекций и срок моратория.

Правда, тут была одна серьезная загвоздка. В начале апреля де Голль заявил, что Франция только тогда прекратит свою ядерную программу, когда три ядерные державы уничтожат свое ядерное оружие. Вслед за ним Чжоу Эньлай заявил, что Китай не будет связан никакими международными соглашениями, которые он не подписывал.

Эти два заявления, конечно, усложняли обстановку, но не настолько, чтобы отказаться от договора по испытаниям. В Париже его можно будет подписать сначала трем державам, а затем пропустить через ООН, где этот договор, без сомнения, получит всеобщее одобрение. На этом фоне будет уже куда проще уламывать совместными усилиями тех гордых одиночек, которые почему-либо попробуют остаться в стороне.

У Эйзенхауэра была и другая любимая идея — «открытое небо». Самолеты, оснащенные специальной аппаратурой, мечтал он, будут беспрепятственно летать над всем миром и фотографировать подозрительные объекты. Теперь он решил немного подправить эту идею к предстоящему саммиту — снять искусственно привязанные к ней меры разоружения, а главное, начинать вводить ее постепенно, например Сибирь — Аляска. Но сколько-нибудь обнадеживающих перспектив, как он сам понимал, для осуществления этого плана практически не было.

Чтобы придать разрядке поступательное движение, президент хотел связать Москву, Вашингтон и другие западные столицы обязательствами проводить ежегодные встречи Восток — Запад на высшем уровне. А министры иностранных дел должны будут тщательно их готовить.

Президент был полностью дезинформирован относительно реальной ситуации в Советском Союзе. На

протяжении марта и апреля посольство США в Москве проглядело серьезные изменения, которые произошли и в самом руководстве, и в его политике. Трудно представить, что не заметили этих изменений американские спецслужбы. Не исключено, что Аллен Даллес не докладывал о них президенту, опасаясь, что тот, узнав о трудностях своего «френда» Хрущева, мог запретить полеты У-2, которые давали ЦРУ важную информацию.

Неверно была задумана и вся переговорная концепция Эйзенхауэра на предстоящем саммите. Он явно преувеличивал заинтересованность Советского Союза в запрещении испытаний. Поэтому совершенно наивным выглядел его замысел «продать» русским прекращение испытаний в обмен на Берлин. Хрущев действительно был готов пойти на прекращение испытаний, но за это он сам хотел получить что-то в политической сфере и лучше всего в германских делах. Соглашение должно было быть таким, чтобы он мог сказать на Пленуме ЦК военным, партийной и советской верхушке: «Да, мы пошли на прекращение испытаний потому, что общая политическая обстановка в мире улучшилась, а империализм умерил свой аппетит и в Германии, и в других «горячих точках» мира».

А по схеме Эйзенхауэра получалось, что Хрущев должен был получить договор о запрещении испытаний как награду за уступки в германском вопросе. Сделка была явно несостоятельной. В Москве поняли это значительно раньше, чем в Вашингтоне. Тут и кроется одна из причин срыва Парижского саммита. И У-2 был вовсе не причиной, а только предлогом.

Возникает вопрос, как могло случиться, что в медовый месяц советско-американской дружбы Эйзенхауэр дал согласие на полеты У-2?

В 1959 году президент держался и твердо отводил все просьбы ЦРУ и Пентагона возобновить разведывательные полеты над Советским Союзом. Даллес доказывал, что русские вот-вот начнут размещение МБР и крайне необходимо засечь этот момент.

Но Эйзенхауэра он не убедил. Президент сказал, что вообще предпочел бы обойтись без этих полетов... А в

1960 году появятся спутники-шпионы, и вопрос упадет сам собой.

Даллесу оставалось довольствоваться посылкой У-2 в Африку собирать информацию о французских ядерных испытаниях в Сахаре. Это было тоже рискованное предприятие, так как союзники обещали не шпионить друг за другом.

В феврале 1960 года генерал Дулиттл, видимо, с подачи Даллеса снова поднял проблему полетов У-2. Но президент был настроен весьма решительно. Когда в мае он приедет в Париж, в активе у него будет одно преимущество — его честная репутация. И дальше следовали пророческие слова: «Если один из этих самолетов будет сбит в то время, когда мы ведем особо доверительные переговоры, его выставят в Москве на всеобщее обозрение, и это подорвет мои позиции».

Но Даллес упрямо продолжал гнуть свою линию. Необходимо проследить, доказывал он, за размещением пусковых установок МБР на Северном Урале и около Белого моря. Кроме того, надо знать, что происходит на советских ракетных полигонах, аэродромах, заводах и других целях.

В Вашингтоне, конечно, знали, что Советский Союз разместил вокруг некоторых особо важных объектов новые управляемые ракеты САМ-2, которые могли поражать цели на высоте 70 тыс. футов. Но надеялись, что, поднявшись на 60 тыс. футов, они будут уже трудноуправляемыми. Если ракета и достанет потолок У-2, это будет скорее промах, чем попадание.

Но даже коль самолет собыют, утверждал Даллес, ни пилот, ни разведывательное оборудование не сохранятся — никаких улик не будет. Да и Хрущев уже свыкся с мыслью, что У-2 беспрестанно летают над Советским Союзом, даже не жалуется. Вот и в Кэмп-Дэвиде не поднял этого вопроса. Значит, его это не особенно волнует. Между тем мы теряем время: американский спутник-шпион не будет готов до конца года. А без У-2 американская разведка слепа. Она проглядит развертывание первых МБР в Советском Союзе.

Эйзенхауэр, как это нередко с ним случалось, поддавался на уговоры. И, как уже рассказывалось, 9 апреля

1960 года У-2 вылетел из Пешавара и взял курс на Семипалатинск. В Вашингтоне с напряжением ждали, как пройдет этот полет. Самолет вернулся целым и невредимым, но фотографии не выявили чего-либо существенно нового в продвижении строительства ракетных установок.

А Хрущев опять смолчал. Они ждали протестов, угроз — чего угодно. Как это понимать? Значит, он боится, что советский народ узнает правду — его вооруженные силы слишком несовершенны, чтобы прикрыть небо от вторжения вражеских самолетов. А может быть, он вообще смирился с тем, что разведывательные самолеты США будут летать над Россией?

И Даллес с Бисселом тут же начали выпрашивать разрешения на новый полет — им нужно иметь самую точную информацию о том, что происходит в Тюратам и на военно-промышленных объектах Свердловска. Но главный объект — Плисецк, в 1000 км к северу от Москвы. Там обнаружены признаки развертывания четырех межконтинентальных ракет. Если это так, то баланс сил коренным образом меняется, и русские впервые получают возможность нанести внезапный удар по Америке. Надо немедленно выяснить, так ли это, тем более что очень скоро они могут быть замаскированы... Погодные же условия на севере, утверждали разведчики, позволяют проводить фотографирование только с апреля по июль.

Уже потом госсекретарь Гертер так прокомментировал споры, происходившие в Овальном кабинете: «Встреча в верхах все время была тогда у меня на уме, так же как и у других. Суть проблемы состояла в следующем: как срочно необходима эта информация и нет ли другого более удобного времени? С технической точки зрения момент был подходящим. С дипломатической же — могли возникнуть трудности, поскольку президент планировал ехать в Россию».

Даллес ворчал: «Во времена напряженности нам говорят, что полеты должны быть прекращены, потому что они увеличивают напряженность. Когда все хорошо, нельзя летать потому, что это испортит «медовый

месяц» в наших отношениях с Советским Союзом. По этой логике нам вообще не придется летать».

— Всегда проходит какая-то международная конференция или что-то подобное, — вторил ему Гейтс.

И Эйзенхауэр сдался во второй раз. Предыдущий полет прошел без шума. А вась и этот проскочит. Но, на всякий случай, решил подстраховаться — Даллесу он дал две недели. Если до 25 апреля не будет хорошей погоды — полеты должны быть отменены.

— Мы не хотим, чтобы этот самолет летал над нами, когда идет саммит, — проворчал Эйзенхауэр.

Срок, назначенный президентом, прошел. Однако густые облака и снежные бури по-прежнему прикрывали Россию от непрошенных гостей. Биссел взмолился: дайте мне хотя бы еще несколько дней.

Обговорив ситуацию еще раз с президентом, его помощник генерал Гудпастер вызвал 25 апреля Биссела и при нем написал сверхсекретный меморандум: «После разговора с президентом я информировал мистера Биссела, что может быть проведена одна дополнительная операция при условии, что это произойдет до 1 мая. Никаких операций — после 1 мая».

У президента Эйзенхауэра не было помощника по вопросам национальной безопасности, как, скажем, Банди, Киссинджер, Бжезинский или Скоукрофт. При нем эта должность была, по сути дела, разделена между двумя помощниками: Гордоном Греем, бывшим президентом Университета в Северной Каролине, который больше занимался проблемными вопросами и долгосрочным планированием, и генералом Эндрю Гудпастером, долговязым, лаконичным и очень четким человеком, который осуществлял всю повседневную работу. Во время войны Гудпастер сражался в Северной Африке и в Италии. Потом защитил в Принстоне докторскую диссертацию по международным отношениям и служил у Эйзенхауэра, когда тот был главнокомандующим союзными вооруженными силами. Когда в 1954 году возник вопрос о кандидатуре помощника президента, Эйзенхауэр сказал:

— Я не хотел бы ничего другого для моего сына, как вырасти таким же хорошим человеком, как Эндрю.

Вопрос был решен. Гудпастер стал не просто помощником, а, пожалуй, самым доверенным лицом президента. Во всяком случае, никто не видел президента так часто, как он.

В субботу утром 30 апреля генерал Гудпастер, как обычно, доложил обстановку за прошедшую ночь. Дружественный режим в Турции потрясли беспорядки и забастовки: полиция стреляла по толпе. Американская военная разведка обнаружила, что у побережья Лонг-Айленда советский траулер шпионил за ядерной подводной лодкой «Джордж Вашингтон». В конце доклада Гудпастер напомнил о секретной миссии: в Пешаваре пилот ЦРУ ждет приказа для проведения девятичасового полета через всю территорию Советского Союза в Норвегию.

Эйзенхауэр ничего не ответил, и его молчание было воспринято как знак согласия.

...Пауэрс быстро набрал недостижимую для советских истребителей высоту — 20 километров — и через час пересек советское воздушное пространство. Подал два коротких радиосигнала и тут же получил в ответ один. Это означало, что полет следует продолжать по намеченному плану. Теперь ему предстоял путь в шесть тысяч километров, через всю территорию СССР до норвежского города Боде.

Летчики У-2 знали на что шли, они рисковали, но за это получали хорошие деньги. С огромной высоты, где небо из голубого превращается в темно-фиолетовое, открывалась таинственная земля — Центральная Азия, Урал, Сибирь. Внизу проплывали незнакомые города, и надо было обнаружить заводы, аэродромы, пусковые установки ракет... Или сфотографировать ночной пуск ракеты, которая внезапно осветит черные облака на сотни миль вокруг.

Без их работы армады американских бомбардировщиков могли оказаться слепыми в будущей войне. Один из этих летчиков, Сэмми Снайдер, был недалеко от истины, когда говорил:

— Я представлял, как кто-то нажимает красную кнопку, и Б-36 направляются через всю Россию к своим целям. Навигатор смотрит на карты и коротко бросает: «О'кей, бомбардир, мы в трех минутах от цели». А бомбардир, выглядывая в иллюминатор, кричит: «Эй, никакой цели тут нет! Где мы находимся, черт возьми!»

Полеты У-2 действительно дали американским военным бесценную информацию. Начать с того, что достоверных карт Советского Союза в пятидесятых годах американцы не имели. Операторы, определяя цели для ударов с воздуха, пользовались картами, изданными еще в царской России, или же картами немецкой аэрофотосъемки времен второй мировой войны. Но почти ничего не было известно о новых городах и объектах за Уралом. Советским картам они не доверяли — и правильно делали. Поэтому полеты У-2 были для них настоящим прозрением. По оценкам ЦРУ, число целей на территории Советского Союза за время этих полетов поднялось с трех до двадцати тысяч.

Неудивительно, что после каждого возвращения У-2 люди из Пентагона и ЦРУ, как коршуны, набрасывались на привезенные пленки. Их тщательно исследовали, а потом докладывали самому президенту. Это делали шеф ЦРУ Аллен Даллес и руководитель полетов У-2 Ричард Биссел. В западное крыло Белого дома приносили увеличительные стекла и огромные карты — 40 на 60 дюймов. Президент Эйзенхауэр то снимал очки, то надевал их снова, разглядывая снимки заводов, железных дорог, шоссе, аэродромов, стоянок для подлодок. Однажды он хлопнул аналитика по спине и сказал:

— Это была ошибка, когда перед Перл-Харбором разведку заполонили отбросами других ведомств. Спасибо тебе, Господи, что во время войны туда пришли профессионалы.

...В глубине России тучи стали рассеиваться. Пауэрс пролетел над Аральским морем, покрутился над космодромом Тюра-Там и теперь держал курс на Челябинск. На востоке уже показались каменные громады Уральских гор, обрамленные бескрайней зеленой тайгой. В распадах еще белел снег, а озера были покрыты синеватой коркой льда.

И тут неожиданно самолет клюнул носом — вышел из строя автопилот. Пауэрс пытается наладить его, но тщетно. Подумал: плохой призрак, может быть, вернуться? Час назад он, не задумываясь, сделал бы это. Но сейчас, когда треть пути была позади... Он решил продолжить полет.

Проведя съемку важного, как у него было отмечено, объекта на берегу озера Иртяш — это был секретный атомный город Челябинск-40, — он повернул к Свердловску. Огромный уральский город отчетливо выделялся вдаль. До него оставалось три-четыре десятка километров.

Пауэрс слышал, что большевики расстреляли там царя с семьей. И еще немаловажные сведения — вокруг Свердловска были размещены советские зенитные ракеты «земля — воздух» САМ-2, на его карте они отмечены синим карандашом. Пауэрс включил съемочную аппаратуру и повернул круто вправо, чтобы обойти город с юго-восточной стороны.

Он пролетел ровно полпути: в Вашингтоне была еще глубокая ночь — 1 час 53 минуты, а в Москве — 8 часов 53 минуты утра...

... Советские радары вели У-2 от самой афганской границы. В зенитно-ракетные дивизионы сразу же поступила команда: аппаратуру в боевой режим с распечатыванием тумблеров! Это означало, что ракеты будут направлены не на учебную, а на настоящую цель. Такое ракетчикам здесь приходилось выполнять впервые.

Но случилась осечка. То ли судьба была пока милостива к Пауэрсу, то ли опять разгильдяйство в службе ракетчиков, то ли праздник трудящихся. Как бы там ни было, но самолет-шпион благополучно продолжил свой полет.

Космодром Тюра-Там охраняли три дивизиона, оснащенные ракетами С-75, известными на Западе как САМ-2. Один из них, как раз тот, над которым выделял виражи Пауэрс, накануне Первой была снят с боевого дежурства по причине наступления срока регламентационных работ. А по праздникам, естественно, никто не работал, солдаты сидели в казармах, офицеры разъехались кто куда. Поэтому самолет спокойно прошел над их позициями.

Два других дивизиона, расположенных по краям полигона, были в боевой готовности и ждали врага. Но Пауэрс вовремя повернул в сторону, и ракеты остались на земле.

Теперь судьба давала возможность отличиться летчикам. Рано утром 1 мая капитан Игорь Ментюков, один из асов советской авиации, неожиданно получил приказ:

— Я — Сокол. Семсот тридцать второй, как меня слышите? Слушайте меня внимательно. Цель — реальная, высотная. Таранить. Приказ Москвы. Передал Дракон.

— Вот это да, — обомлел Ментюков, — сам Дракон!

Каждый летчик в те годы знал, что это — фронтовой позывной сигнал командующего авиацией ПВО страны генерала Евгения Савицкого. Значит, дело действительно очень серьезное. И хотя Су-9 к боевой операции готов не был — Ментюков оказался под Свердловском чисто случайно, перегоняя самолет в далекую Белоруссию, — он отпрапортовал:

— К тарану готов. Единственная просьба — не забыть семью и мать...

К счастью для него, все обошлось. Он не обнаружил У-2 в небе, локаторщики так и не смогли вывести его на цель. На его Су-9 не было ни ракет, ни пушек. Значит, только таран, и шансов остаться в живых у летчика — никаких! Он был без высотно-компенсирующего костюма и гермошлемофона — для простой перегонки самолета они не требуются. Если бы даже он катапультировался без них на высоте 20 километров, то его просто разорвало бы на куски, как лопнувший воздушный шарик...

Тем временем Пауэрс подлетел к Свердловску, где его в полной боевой готовности ждали несколько зенитно-ракетных дивизионов. И снова судьба улыбнулась Пауэрсу. Несмотря на строгий приказ, первый дивизион на его пути немного замешкался. Майор Шелудько открыл огонь, когда У-2 стал огибать город и вышел из зоны поражения. Пауэрс даже не заметил, что по нему стреляли...

Но нельзя испытывать судьбу дважды, а то и трижды. Тщательно огибая Свердловск, У-2 напоролся на дивизион капитана Воронова. Не медля ни секунды, тот отдал приказ:

— Пуск!

Однако офицер наведения старший лейтенант Фельдман замешкался.

— Да пуск же... твою мать! — заорал Воронов.

И как бы подстегнутая русским матом ракета взмыла в воздух. На экране локатора цель исчезла и он покрылся зеленоватыми хлопьями снега — так выглядят либо искусственные помехи, либо обломки сбитого самолета...

... Случилось то, чего Пауэрс все время опасался и ждал. Где-то сзади, немного справа, он услышал глухой хлопок. Блеснул оранжевый всполох пламени, осветивший небо и кабину. Самолет сильно трянуло, и вдавленный в спинку кресла Пауэрс крикнул: «Проклятье, они меня достали!»

Мотор заглох, и самолет дал крен носом вниз. Пауэрс потянул штурвал на себя и понял, что самолет неуправляем. Его стало швырять по кабине — это отваливались крылья. Бескрылый и беспомощный фюзеляж пошел к земле.

Теперь согласно инструкции летчик должен был нажать на панели две кнопки, включавшие часовой механизм подрывного устройства. После этого у него будет еще 70 секунд, чтобы катапультироваться, прежде чем взорвутся самолет, фотокамеры и другой шпионский инвентарь. На следующий день НАСА опубликует сообщение, что один из самолетов—наблюдателей погоды заблудился и пропал. А русские никогда не смогут доказать, что это был шпион.

Пауэрс потянулся к кнопке «Взрыв», но остановился. Пилоты У-2 вполголоса поговаривали, что эту кнопку лучше не трогать. Кто знает, не предусмотрели ли хитрые конструкторы из ЦРУ такой взрыв, который отправит к праотцам вместе с терпящим бедствие самолетом и самого пилота, так верней: никаких улик.

Да и катапультирование... Как и все летчики, Пауэрс побаивался его. Словно пушечное ядро, этот механизм выстреливал пилота вместе с креслом через пластиковый колпак. Иные пилоты погибали при этом, другим края кабины обрезали руки и ноги... Нет, лучше не рисковать.

Ценой огромных усилий Пауэрсу удалось откинуть

колпак. Воздушная волна прижала его к щиту управления. Выбраться из кабины мешали шланги кислородного прибора. И все же ему удалось перевалиться за борт. Над головой вспыхнул купол парашюта. Мелькнула мысль: «Жив!»

...А на земле тем временем продолжался театр абсурда, приведший к трагедии.

То ли Воронов не поверил своей удаче и потому еще с полчаса промедлил с рапортом о поражении цели, то ли его рапорт затем застрял в каких-то инстанциях, но только на командном пункте войск ПВО об этом ничего не знали.

В подразделении же радиотехнических войск исчезновение цели на экране радаров сочли явлением временным — чем-то вроде технической помехи — и продолжали выдавать на командные пункты уже фиктивную прокладку курса несуществующего самолета.

С самого верха поступил очередной приказ: сбить разрушителя любой ценой. И против воздушного фантома наперехват вышли две машины МиГ-19.

Летчики выжимали из них все возможное и невозможное. Безуспешно. Потолок «мигов» был всего 17—18 километров, а разрушитель должен был находиться на высоте 20 километров, достать его им было не по силам. Очень скоро истребители оказались в зоне действия очередного ракетного дивизиона, который тут же получил приказ к запуску ракет. На запрос земли «Я — свой» летчики не ответили, как оказалось потом, они при взлете не включили автоответчики.

Первой ракетой был сбит МиГ, которым командовал старший лейтенант Сергей Сафронов. Он погиб. Другой летчик сманеврировал, и «его» ракета прошла мимо.

Через несколько дней вся советская пресса восторженно писала об этой операции с У-2, называя ее снайперской. Командование ПВО заявило, что была пущена одна-единственная ракета. Хотя на самом деле во время охоты на Пауэрса было выпущено 14 ракет. О гибели Сафронова — ни слова.

Здесь следует несколько отвлечься от хронологической канвы повествования, чтобы помочь читателю войти в атмосферу описываемой эпохи. Особенно же — молодого читателя, у которого рассказанное выше может вызвать чувство недоумения, — что, мол, за дурацкие игры велись руководителями обеих великих держав!

Это было время, когда над миром витал призрак Страха с большой буквы. На памяти еще были близки ужасы Хиросимы и Нагасаки, и многие дети, посмотрев вечером телевизор, ночью не могли уснуть — им все мерещилась атомная бомба.

Да что там дети, в страхе перед ядерным катаклизмом пребывали и взрослые. Самой ключевой формулой в те годы, определявшей доминанту жизни и поведения людей, была фраза: «Лишь бы не было войны». Пропаганда обеих стран стократно увеличивала страхи, которые лишали способности здраво мыслить даже самых, казалось бы, трезвых политиков, толкали их на авантюры, которые в спокойном состоянии были бы немислимы.

За тот животный страх мы расплачиваемся еще и по сей день. Не зная, например, что делать с накопленными горами всяческого оружия массового уничтожения: ядерного, химического, биологического. Тратя колоссальные средства на ликвидацию того, на создание чего в свое время уже были потрачены колоссаль-

ные средства. Нонсенс! Не говоря уже о тяжелейших экологических последствиях, к которым привела бешеная гонка вооружений, это тема отдельной книги.

Не беря в расчет психологии описываемой эпохи, трудно понять и события, происходившие в то время. Такие, как Берлинский или Карибский кризисы, поставившие мир на грань новой мировой войны! И это при том, что ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты войны не хотели. Вот уж воистину — страх лишает разума.

Американское стратегическое мышление складывалось под воздействием шока, пережитого страной от внезапного нападения Японии на Перл-Харбор. С тех пор боязнь неожиданного удара, как мания, довлела над умами американских политиков. Она вошла в плоть и кровь нации.

Визави Америки Советский Союз также жил под гнетом страха вероломного нападения. Поэтому первой заповедью советских политиков было не допустить повторения июня 1941 года. Это не только означало держать страну в состоянии постоянной военной готовности, причем от нападения со всех четырех сторон — с запада, востока, севера и юга. Одной из главных составных советской стратегии безопасности была сплошная секретность — противник не должен знать ничего. Причем скрывались не столько военные секреты, сколько поразительная слабость, неорганизованность и неготовность к серьезной войне.

В общем, оба гиганта страдали одним и тем же комплексом — боязнью внезапного нападения. Но полностью асимметричным был подход к тому, как не допустить этого внезапного нападения. Американцы уповали на открытость, прозрачность, а русские — на секретность.

Это противоречие отражало суть существовавших в этих странах порядков. США были открытым обществом. В любом книжном магазине продавалась самая подробная карта Америки, где были указаны мосты, дороги, аэродромы и даже военные базы и полигоны, предназначенные для ядерных испытаний. А Советский Союз оставался наглухо закрытым обществом. Не

только карты, но даже абонементной телефонной книги в продаже не было. Все покрывалось завесой секретности.

Взять хотя бы Боевой устав пехоты. В Советском Союзе он был за семью печатями. В США же лежал на полках книжных магазинов. Один ушлый советский разведчик в Нью-Йорке купил этот устав, а потом устроил целое представление с розыгрышем тех трудностей и опасностей, которые ему будто бы пришлось преодолеть, чтобы овладеть этим важным «секретом» Америки.

Но помимо указанных различий у СССР и США было нечто общее — оба гиганта не жалели сил и денег на вооружения и разведку. Против кого? Ответ, разумеется, ясен — прежде всего друг против друга. Американские ракеты были нацелены главным образом на Советский Союз, а советские — на Соединенные Штаты.

Но вот тут-то и возникает логическая неувязка. Парадокс состоял в том, что собственные национальные интересы СССР и США нигде и ни в чем не пересекались. Разве что они были руководителями двух миров — западного и социалистического, и именно в этом качестве противостояли друг другу.

Реальная опасность такого противостояния заключалась в том, что социалистический мир постоянно расширял сферу своего влияния, а западный мир сопротивлялся этому. Вашингтон и Москва постоянно обвиняли друг друга в коварных замыслах, и обоюдная подозрительность стала определяющей характеристикой советско-американских отношений. Если на каком-либо международном форуме американский представитель произносил «да» — пусть даже по самому ясному и невинному вопросу, то советский представитель тут же решительно заявлял «нет». И наоборот.

Хрущев и Эйзенхауэр первыми начали проводить так называемую «красную черту», которая четко определяла, что мое, а что — твое. Переступить ее было нельзя — это грозило войной. Когда русские войска вошли в пылающий восстанием Будапешт, венгры молили Запад о помощи. Но Эйзенхауэр отказал им:

— Венгрия так же недоступна для нас, как Тибет.

И это не потому, что Эйзенхауэр был черствым или трусливым человеком. Как раз наоборот. Но именно здесь проходила та самая разделительная черта, а потому при всем желании помочь венграм он не мог.

Так же и Хрущев: он знал, что ему нельзя ввести войска ни в одну из стран Европы, находившейся в зоне американского влияния.

В общем, в Европе к середине 50-х годов эта линия была проведена четко. И только Западный Берлин все еще оставался в подвешенном состоянии. Более или менее ясно эта линия была проведена и на Ближнем и Дальнем Востоке. Но в остальном мире контуры ее ослабевали, а то и вовсе исчезали. Там шли постоянные локальные войны, а за воюющими оказывались с одной стороны США, а с другой — Советский Союз. Но это была периферия их сфер влияния, и по неписанным правилам в таких случаях тотальной войны между ними быть не могло.

Проведенное размежевание хотя и стабилизировало обстановку, но не принесло успокоения: кошмар внезапного нападения продолжал довлеть над политикой Эйзенхауэра. Может быть, внешне это и не было столь заметно. Однако если проанализировать действия его администрации, то трудно избежать впечатления, что именно в этой неуверенности надо искать ключ к пониманию многих событий тех лет.

Весной 1954 года Эйзенхауэр назначает авторитетную комиссию во главе с Джеймсом Киллианом — директором Массачусетского технологического института. Перед ней четко поставлена задача — рассмотреть все возможные новые виды оружия, которые помогли бы оградить страну от внезапного нападения. Проект с полетами У-2 — не только над Советским Союзом, но и по всему миру — одно из первых порождений этой комиссии. Другое ее детище — идея международного соглашения об «открытом небе». Принятие ее позволило бы самолетам всех стран летать без ограничения воздушного пространства и наблюдать, не происходит ли опасной концентрации военных сил, которая может обернуться внезапным броском.

Эта идея очень нравится Эйзенхауэру, и он тут же

ставит ее во главу угла своей политики. Конечно, ЦРУ и министерство обороны в восторге. Еще бы, Америка настолько открытая страна, что русские мало что узнают, летая над Соединенными Штатами. Зато открытое небо над Россией для американской разведки — суший клад. Вот только старый скептик Джон Фостер Даллес ворчит, что это-де нереальная идея — русские не пролотят такую приманку.

Тем не менее на встрече «большой четверки» в Женеве в 1955 году Эйзенхауэр решил испробовать собственную дипломатию. В июле де Голль, Макмиллан, Эйзенхауэр, Булганин и Хрущев встретились в зале заседаний Дворца наций. Из просторных окон открывался прекрасный пейзаж на голубое озеро, за которым вставала стена Альпийских гор, накрытых черной шапкой грозовых облаков.

Неожиданно Эйзенхауэр снял очки и уставился своими широко раскрытыми голубыми глазами на неразлучную тогда пару — Булганина и Хрущева:

— Я напрягаю свое сердце и ум, чтобы найти слова, которые могли бы убедить каждого в великой искренности Соединенных Штатов.

В это мгновение грянул гром и сверкнула молния — лучшего театрального эффекта нельзя было нарочно придумать для столь удачного вступления к плану «открытого неба», который излагал Эйзенхауэр. Захваченный врасплох, Булганин пробормотал невнятно, что эти предложения имеют некоторые достоинства и заслуживают изучения. Но во время коктейля Хрущев отверг их решительно и определенно:

— Я не согласен. Проблема как раз в шпионаже. Мы не ставим под сомнение ваши намерения, но кого вы хотите одурачить? Этот план хорош для вас, потому что дает возможность вашим стратегическим силам собрать информацию о наших целях, а нам он ничего не даст.

Сколько ни упрашивал Эйзенхауэр Хрущева согласиться на этот план, ничего у него не получилось. Советский лидер твердо стоял на своем — для него «открытое небо» было не чем иным, как неприкрытым шпионским заговором.

А между тем искренность американского президента отнюдь не была фальшивой, «открытое небо» должно было помочь ему убедить своих военных в том, что Америка вовсе не отстала от Советского Союза в гонке вооружений и что повода для нового наращивания расходов на производство оружия нет. Не без основания Эйзенхауэр считал, что чрезмерные военные вливания неизбежно приведут к повышению налогов и росту дефицита бюджета. А они, в свою очередь, повлекут за собой снижение производительности труда, подъем инфляции и подрыв американской системы. «Человеку, — говорил он, — который плохо себе представляет, что национальная безопасность и национальная платежеспособность взаимосвязаны и что постоянное сохранение тяжелого бремени военной мощи приведет в конечном счете к установлению диктатуры, не может быть поручен никакой ответственный пост в нашей стране».

Его явно беспокоило, что военно-промышленный комплекс и психоз «холодной войны» постоянно подпитывают друг друга. Если, поддавшись чувству страха, страна позволит вовлечь себя в нескончаемую гонку вооружений, это будет самой большой угрозой национальной безопасности. Гонка вооружений породит безумную инфляцию и приведет в конечном счете к национальному банкротству.

И президент не просто декларировал эти постулаты и сетовал в тиши своего кабинета на распоясавшуюся прессу. Нет, он действовал. Делая ставку на ядерное сдерживание, он постепенно сокращал обычные вооружения с тем, чтобы поддерживать военные расходы примерно на уровне 40 миллиардов долларов в год. Во время его президентства среднегодовая инфляция понизилась до уровня, слегка превышающего один процент.

Эйзенхауэр — и это одна из его главных заслуг перед Америкой — не поддался всеобщей панике из-за мнимого ракетного отставания. Возобладали его спокойствие и здравый смысл. Америка сохранила тогда сотни миллиардов долларов.

Как он этого добился? Очень просто. От министра обороны он категорически требовал укладываться в рамки бюджета любой ценой. Тут президент был не-

преклонен. «Ни одного цента больше, вы понимаете? Ни при каких обстоятельствах!»

Своим отказом от принятия плана «открытого неба» Хрущев в немалой степени сыграл роковую роль в судьбе Эйзенхауэра. На выборах 1960 года победила демократическая партия во главе с Кеннеди. В ее предвыборной платформе черным по белому было записано: «Наше военное положение сегодня измеряется понятием отставания — ракетное отставание, космическое отставание и отставание в ведении ограниченных войн». В то время как никакого отставания у США не было.

А в результате была развязана изнурительная гонка ракетных вооружений.

В середине 1958 года Хрущев на волне объявленной им разрядки дал согласие на созыв в Женеве совещания экспертов для выработки мер по предотвращению внезапного нападения. Главой советской делегации был первый заместитель министра иностранных дел Василий Васильевич Кузнецов.

Худой, высокого роста, немного сутулый, Кузнецов походил на Громыко своим угрюмым и неулыбчивым видом. Попав на советский олимп еще в сталинские годы, человек умный и в общем интеллигентный, он понял, что единственный способ уцелеть — это быть таким же серым, как и все. Эту маску он носил всю жизнь, и редко, очень редко кто догадывался, что за ней скрывается совсем другой человек.

В МИДе вскоре он стал номером два не только по должности, но и по сути. Громыко мог спокойно заниматься большой политикой, а всей внутренней работой огромного аппарата министерства руководил его первый зам. Этому в немалой мере способствовали и личные качества Кузнецова. Он был на редкость спокойный и терпеливый человек, никогда не ругался, хотя и любил поворчать. Ну, а работоспособностью обладал лошадиной.

Старые мидовцы в один голос свидетельствуют — не было ничего хуже, чем писать какую-нибудь бумагу вместе с Кузнецовым. Он к каждому слову придерется, сам все перепишет, и получится нечто невыразимо скучное и серое, но зато все будет правильно. У него

был поразительный нюх на новое и свежее. Малейший признак новизны — и он тут же безжалостно вымарывал, переписывал все заново, потому что знал: у того же Сулова этот пассаж вызовет озлобление, а некоторые члены Президиума просто облают неприличными словами. В те годы сложился набор штампов, которые нужно было непременно употреблять для быстрого прохождения бумаги. Кузнецов эту кухню знал досконально. А о его осторожности ходили анекдоты и легенды.

При всем этом он был страстный книголюб и любитель литературы, что решительно скрывал. Однажды — это случилось уже в 60-е годы — ему довелось возглавлять советскую делегацию на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Воскресным утром, как было заведено, приехал отдохнуть на дачу советского представителя в Гленкове под Нью-Йорком. И встретил там молодого дипломата с книгой в руках.

— Что за книга у вас? — спрашивает Кузнецов.

— Цветаева, Василий Васильевич.

— Цветаева?!?!

Столько изумления и настороженности было в его вопросе, что молодой дипломат сразу сообразил: Кузнецов подумал — не читает ли он какое-то эмигрантское издание. Тем более «соседи» жаловались, что некоторые дипломаты тайком посещают книжную лавку при издательстве «Новое русское слово» и покупают там запрещенную литературу.

— Да, Цветаева, — повторил молодой человек. — Наше советское издание.

— Дайте сюда!

И, взяв книгу, Кузнецов посмотрел на выходные данные. Все было правильно: «Художественная литература», Москва. Повертев книгу, Кузнецов хмыкнул:

— Смотрите, до чего дожили — Цветаеву стали издавать. Послушайте, дайте мне ее посмотреть на один день. Завтра я вам верну.

На следующий день утром он вызвал молодого дипломата и, ни слова не говоря, вернул книгу. Однако с тех пор спрашивал у него самого или через помощников передавал — пусть у него спросят: не появилось ли у нас чего-нибудь нового или интересного почитать. Так

Василий Васильевич открыл для себя Аксенова, Евтушенко, Вознесенского, Солженицына, Ахмадулину. Даже просил, чтобы Окуджаву ему дали послушать.

Надо сказать, что Кузнецову всегда поручали самые неприятные, безнадежные дела. Но из них он обычно как-то выпутывался: не то чтобы решал — их решить было нельзя, — но спускал на тормозах и обходилось без скандалов. В ООН в 60-е годы за ним укрепилась даже слава миротворца, которой, пожалуй, не достаивался там ни один советский дипломат.

Теперь «открытым небом» предложили заняться Кузнецову. Начал он с того, что сколотил хорошую команду, собрав из разных мидовских отделов самых толковых дипломатов. Правой рукой у него оказался мало кому известный тогда советник Управления внешнеполитической информации Лев Менделевич. Они и решили поколебать твердокаменность советской позиции, применив метод «от обратного». «Если «открытое небо» позволит американцам беспрепятственно летать над территорией Советского Союза, — рассуждали они, — то и мы получим право беспрепятственно летать не только над Соединенными Штатами, но и их союзниками — Англией, Францией и другими странами. Американцы будут фотографировать наши военные объекты, а мы будем фотографировать их. Но, поскольку НАТО вынашивает агрессивные планы, а Советский Союз борется за мир, он и выиграет больше, так как получит возможность следить за военными приготовлениями Запада и уточнять цели для своих ракет».

Вокруг этой новой и, прямо скажем, неортодоксальной позиции сразу же разгорелся жаркий спор. Военные и КГБ были решительно против. Окончился этот спор в кабинете Шелепина на Лубянке. Мягко улыбаясь, «железный Шурик» сказал:

— Да не нужно нам открывать небо над Америкой. Мы и так там все хорошо знаем.

В Женеву советская делегация выехала с директивами решительно возражать против плана «открытого неба». Ему противопоставлялся набор различных мер разоружения и создания безъядерных зон, который был

объявлен конкретным планом предотвращения внезапного нападения.

Переговоры начались 11 ноября 1958 года и с первых же дней зашли в тупик. Но Кузнецов воспринял это спокойно. Даже несколько меланхолично, как должное. Только Царапкин, который в это время также заводил в тупик переговоры по прекращению ядерных испытаний, хорохорился.

— В Женеве, — говорил он группе своих сотрудников, — всем заправляют металлурги. Смотрите, Василий Васильевич — металлург, я — металлург.

— Может быть, именно поэтому и идут так плохо дела в Женеве? — невесело заметил генерал А. И. Устюменко.

В середине декабря 1958 года переговоры по «открытому небу» были прерваны из-за полной нестыковки позиций. Возобновились они только через тридцать с лишним лет, в 1990 году.

Конечно, можно было провести «красную линию» в Европе, расставив вдоль нее частокол из ядерных ракет. Что в конечном счете и произошло. Но сразу же возникало и желание посмотреть, что делается за этим забором.

Попытки проникновения в Россию с воздуха начались почти сразу после окончания второй мировой войны. В 40-е годы из Германии и Англии в Советский Союз полетели тучи воздушных шаров, напичканных фотокамерами и электронной аппаратурой. Они должны были пересечь огромную страну с запада на восток, а у японских берегов их ждали американские суда.

Красиво задумано. Но из длинного путешествия до цели добирались лишь жалкие единицы. В основном все шары сбивались и попадали в руки КГБ. Поэтому информация, которую получали американцы, была отрывочной, далеко не полной и в общем-то мало эффективной.

Все изменилось после первого ядерного взрыва в Советском Союзе. ЦРУ и Пентагон потребовали начать радиоэлектронную разведку по всему периметру советской и китайской границы. Осенью 1950 года Объединенная группа начальников штабов США поручила ге-

нералу Омару Брэдли доложить президенту Трумэну о возможности использования военных самолетов для проникновения в Советский Союз. На стенах Овального кабинета были развешаны карты с вычерченными маршрутами полетов.

— Начальники штабов пойдут на это? — спросил Трумэн.

— Так точно, сэр. Мы очень хотим начать эту программу безотлагательно. Мы понимаем всю серьезность ситуации, но считаем, что это единственный путь получить информацию.

Трумэн подписал разрешение на полеты и сказал Брэдли:

— Послушайте, когда вернетесь, скажите от моего имени генералу Ванденберу: «Какого черта мы не стали делать это раньше?»

Позднее, в 1960 году, Трумэн публично отрицал, что дал такое распоряжение. «Шпионаж — грязное дело, — сказал он. — Я не мог участвовать в нем». Но ему было не привыкать делать такие заявления.

С тех пор все и началось. С 1950-го по конец 60-х годов американцы совершили около 15 000 шпионских миссий, пытаясь раскрыть противовоздушную оборону Советского Союза и Китая. Официально объявлялось, что самолеты ведут электромагнитные исследования и уточняют карты. Но на самом деле они должны были установить точное расположение и возможности электронной и радарной защиты вдоль советской границы. Подлетая к ней на низкой высоте, ниже уровня приема радара, американские самолеты совершали короткие, но острые, как кинжал, проникновения в советское небо.

И они нашли, что искали. Еще в конце 40-х РБ-17, вылетевший с Гренландии, и РБ-29 — с Аляски, обнаружили, к своему удивлению, что у русских отсутствуют радары вдоль Полярного круга. В 50-х ситуация не изменилась. К востоку от Берингова пролива Россия была полностью открыта. И только в 60-х начинают появляться — и то спорадически — отдельные узлы системы раннего предупреждения. Но, как заявил один из американских специалистов, «в конце 50-х и 60-х

русские так и не построили эффективной радарной сети между Аляской и Мурманском».

Вашингтон считал это самым главным секретом «холодной войны». Через незащищенное полярное подбрюшье России Пентагон прокладывал маршруты стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных ракет. Отсюда в случае необходимости они должны были нанести внезапный удар. Кстати говоря, советские военачальники хорошо знали этот секрет. Долгое время, даже после того как система раннего предупреждения надежно перекрыла северо-восточное направление, оно по-прежнему рассматривалось в Москве как главное для возможного удара со стороны США. Вплоть до последних лет перестройки.

Разумеется, советские летчики не сидели сложа руки и охотились за этими самолетами-шпионами, беспощадно их расстреливали, порой даже в небе над нейтральными водами. Шла настоящая необъявленная воздушная война. В ноябре 1951 года американский бомбардировщик исчез в Сибири. В июне 1952 года Б-29 был сбит и утонул в Японском море. То же происходило с американскими самолетами в 1952—1953 годах. У ТАСС даже существовал эвфемизм на этот счет: «Нарушитель ушел в сторону моря».

Сталин был сильно разгневан этими полетами, и советские военные заверяли его, что скоро создадут ракету «земля — воздух», которая будет сбивать воздушных шпионов безотказно.

Воздушная война продолжалась и после смерти Сталина. Был сбит или пропал без вести 31 самолет. Погибло 24 пилота. Судьба многих других осталась неизвестна.

Трудно сказать, как удалось Аллену Даллесу в условиях этой необъявленной войны соблазнить осторожных англичан пересечь Советский Союз с запада на восток и сфотографировать Капустин Яр, таинственный полигон, где русские испытывают свои баллистические ракеты. Тем не менее они переоборудовали новенький Б-57, сняли с него вооружение и установили дополнительные баки с горючим, фотокамеры и аппаратуру. Из Западной Германии летчик провел машину чере з

всю юго-восточную часть Советского Союза и пролетел над Капустиным Яром. Правда, советские истребители чуть не сбили его, в Иране английский самолет сел весь в пробоинах. После этого англичане сказали американцам: «Никогда, никогда, никогда снова».

И вот тогда в недрах ЦРУ родилась идея создать специальный самолет — легкий, маневренный, летающий на недоступной для истребителей тех лет высоте и имеющий на борту всю самую современную аппаратуру для проведения разведки с воздуха.

В ноябре 1954 года уже упомянутый доктор Киллиан доложил об этих планах президенту Эйзенхауэру. Тот воспринял их настороженно. Последовало много трудных вопросов, но главным был: «Стоит ли разведывательная информация риска совершаемой провокации?»

Как раз накануне, 7 ноября, два советских истребителя сбили американский Б-29, совершавший полет в Японском море, залетая при этом на советскую территорию, чтобы сфотографировать военные базы. Шум в печати был большой. Волновался и парламент, было не ясно, где сбили самолет — над советской территорией или в международных водах.

И все же неожиданно для Киллиана президент дал согласие. Правда, поставил условие: эти полеты не должны совершаться под эгидой ВВС США. Он не хотел никаких ассоциаций с проведением военных операций.

24 ноября в 8.15 утра в Овальном кабинете собрались все главные действующие лица этой истории. По левую руку от президента занял свое обычное место госсекретарь Джон Фостер Даллес, а вслед за ним вокруг стола расселись Чарльз Вильсон из минобороны, директор ЦРУ Аллен Даллес и его заместитель Пьер Кабелл, генералы Туайнинг и Питт. Теперь они официально просили разрешения президента на создание 30 специальных самолетов стоимостью в 35 миллионов долларов.

Эйзенхауэр сказал:

— Действуйте. Только перед началом каждой операции приходите ко мне, чтобы я дал последнее «добро».

Действовать Аллен Даллес поручил Ричарду Бисселу, назначив его своим специальным помощником. Биссел

был хорошо известен в правительственных учреждениях как человек огромной работоспособности, неуемной энергии и необузданных страстей. Те, кто работал с ним, рассказывают, что он напоминал ртуть, минуты не мог посидеть спокойно. Постоянно крутя что-нибудь в руках — то скрепку, то линейку, — он поминутно вскакивал из-за стола и бросался давать указания по телефону. Мог швырять карандаши в своих подчиненных и отчаянно ругаться. Но за этим внешним сумбуром скрывался человек железной воли, который, как лошадей на скачках, мог загнать своих сотрудников, но выполнить дело в назначенный срок.

В ЦРУ Биссел считался восходящей звездой. Причем не просто талантливым администратором, который доказал это, работая заместителем директора в программе по осуществлению плана Маршалла. Он был еще и человеком с идеями — вместе с Кеннетом Гелбрайтом и Полем Нитце участвовал в разработке американской политики в области экономики и национальной безопасности. В общем, это был мастер на все руки.

Не прошло и полутора лет как новый самолет-разведчик начал совершать полеты в Неваде и Орегоне. Долго ломали голову, как назвать его. Посвященные именовали самолет не иначе как «каприз Даллеса» или «птичка Биссела». Но это между собой. Попробовали применить официальный американский шифр для подобных секретных операций — X. Но тут же отказались, так как это обозначение сразу указывало на секретный характер миссии. Тогда Биссел предложил нейтральное наименование У-2. По иронии судьбы именно так назывались советские универсальные бипланы, которые во время войны успешно использовались как разведчики. Но Биссел, по-видимому, этого не знал.

Наступил 1956 год. Биссел хотел начать полеты У-2 в середине июня, когда первые летние дожди омоют землю и на ней хорошо будут видны все рельефы ландшафта — взлетные полосы тяжелых бомбардировщиков, пусковые установки ракет, полигоны, военные базы... Президенту в Овальный кабинет принесли первые пробные снимки американских городов, сделанные с

высоты 20 километров С удивлением он обнаружил, что может не только сосчитать число автомобилей на улице, но и различить тонкие линии на асфальте, обозначающие места для парковки автомобилей.

Такой точности съемок он не ожидал. Но спросил, что случится, если с самолетом произойдут какие-нибудь неполадки? Аллен Даллес ответил, что это маловероятно. А если и случится, то летчик едва ли останется жив. Самолет развалится, и нельзя будет ничего доказать.

Без особых колебаний президент дал тогда согласие на проведение полета над Советским Союзом. Но тут, как назло, испортилась погода, и европейскую часть страны накрыли облака. Потом оказалось, что в июне в Москву на празднование Дня авиации едет начальник штаба ВВС генерал Туайнинг. В Москве во время приема у него произошел любопытный разговор с подвыпившим Хрущевым.

— Вы, наверное, интересуетесь нашими баллистическими ракетами, — неожиданно крикнул он Туайнингу через весь зал. — Хотите взглянуть на них? Это очень хорошие ракеты!

Туайнинг остолбенел. Неделю назад они с Алленом Даллесом и Ричардом Бисселом обсуждали, как это сделать. Неужели Хрущев знает об этом? На всякий случай он неопределенно мотнул головой, опасаясь — не ловушка ли это. Но Хрущев, подогретый водкой, кричал свое:

— Но сначала покажите нам ваши ракеты, и тогда мы покажем вам наши. Но не сегодня — это было бы слишком рано!

Все смеялись и хлопали в ладоши. Хрущев пожал руку Туайнингу и поднял тост за мир и дружбу! Все выпили. Никита Сергеевич заметил, что американский военный атташе незаметно вылил содержимое своего бокала в кусты.

— Вы что, против дружбы между нашими странами? — напустился он на него.

И, потащив сникшего американца к своему столу, заставил его выпить полный фужер коньяку. После этого тот исчез, говорят, долго болел.

Между тем в начале июля небо над Россией очистилось, и Биссел дал на американскую базу в Висбадене в Западной Германии, где размещались У-2, кодовый сигнал: «Выполняйте задание. Переданный план полета утвержден». Это означало, что самолет полетит прямо на Москву, потом совершит поворот под углом 90 градусов на Ленинград и затем, пролетая над побережьем Балтики, возвратится назад в Германию.

4 июля Америка отмечала 180-ю годовщину своей независимости. В Москве в резиденции американского посла в Спассо-Хаузе на Собачьей площадке, как по старинке именовался этот район Арбата, Чарльз Болен давал торжественный прием. Приехал Хрущев. Он был в очень хорошем настроении, разговаривал с Авис, маленькой худенькой девочкой, дочкой посла. Она показывала ему, как хорошо растет у нее в саду кукуруза. Хрущеву кукуруза очень понравилась. Он погладил девочку по головке:

— Я рад, что американская кукуруза так хорошо растет в России.

А в это время американский У-2 пролетал над Москвой. Первый радиолокационный узел дальнего обнаружения засек цель восточнее Минска, которая на высоте 20 километров двигалась к советской столице. Вел себя обнаруженный объект весьма странно. Временами он пропадал, а потом снова появлялся на экране. Смущала и скорость — на отдельных участках она вдруг резко отличалась от обычной крейсерской скорости самолета и походила на полет птицы. Но этот объект никак не мог быть птицей, потому что птицы так высоко не залетают. С другой стороны, не было известно и самолета, который мог забираться на такую высоту.

«Что же это? — ломали голову операторы. — Природное явление? НЛО? Шар-зонд, который нередко запускали в те годы американцы? Но как тогда может быть, что, дойдя по прямой до определенной точки, где неподалеку, кстати сказать, были расположены зенитные ракеты, объект резко сменил направление и стал двигаться назад — на запад?»

Генерал Георгий Михайлов, который служил тогда в Главном штабе войск ПВО в Москве, вспоминает:

«Наша оборона была рассчитана на борьбу с бомбардировщиками, но здесь был один-единственный самолет, который летел очень высоко и медленно. Никто не знал, что это. Многие высокопоставленные генералы отказывались верить, что это самолет».

Хотя сомнений было много, доклад пошел наверх и попал к министру обороны Малиновскому. И вот там, в помпезном министерском кабинете на улице Калинина (ныне улица Воздвиженка), произошла самая настоящая битва между летчиками и ракетчиками. Вокруг огромного стола сидели маршалы и генералы. Золотое сияние исходило от их погон. Летчики утверждали, что это просто помеха на экранах радиолокаторов. В природе нет такого самолета, который летал бы на высоте 20 километров, а некоторые добавляли, что и быть не может. Им возражали ракетчики. Они считали, что это новый американский самолет, который будет непременно сбит советской ракетой.

Но как тогда он смог пролететь над Москвой? Вокруг нее еще в 1952 году было создано плотное кольцо зенитных ракет Лавочкина, так называемые «двадцатипятки». Они уверенно сбивали цель на высоте до 23—24 километров. Муха, казалось бы, не пролетит. Вот только перемещаться с места на место они не могли — их старты были наглухо забетонированы в землю. Поэтому вражескому самолету нужно было буквально напороться на ракету.

Так что же произошло? Прозевали ракетчики? Или же везунок У-2 аккуратно проскочил между двумя ракетными позициями? Однако московские старожилы вспоминают, что именно в тот день в районе Тушино стреляла зенитная артиллерия и даже падали осколки, а потом огонь переместился к западу, в район Минского шоссе...

В общем, спорили долго. Но рассудил маршал Малиновский, который принял соломоново решение. Во-первых, он приказал считать неопознанный объект американским самолетом-шпионом, а во-вторых, доложить об инциденте Хрущеву, указав на необходимость выделения дополнительных средств на развитие истребительной авиации и зенитно-ракетных комплексов.

Когда Хрущев узнал о случившемся, он страшно рассердился, решив, что это дело рук Туайнинга, с которым несколько дней назад пил за мир и дружбу. Крепко запала ему в душу обида. В сердцах назвал американского генерала свиньей, которая где жрет, там и...

Да и было отчего рассердиться. Американские шпионы спокойно летают над Москвой, а военные спорят, что это — самолет или стрекоза. Самолюбие Хрущева было сильно уязвлено. В советской системе обороны образовалась брешь, причем зияющая.

Положение рассматривалось на Президиуме. В отличие от заседания у министра обороны там споров не было. Все восприняли американский полет как сигнал тревоги. Решение было единогласным — нажать на развитие зенитно-ракетной и истребительной авиации, а американцам сделать решительный протест.

По войскам был отдан приказ: нести боевое дежурство со снаряженными боевыми частями и ракетами, заправленными топливом.

10 июля 1956 года подтянутый и строгий, больше похожий на военного, чем на дипломата, советский посол в США Г. Н. Зарубин вручил протест Джону Фостеру Даллесу по поводу «пиратского» полета самолета ВВС США над суверенной территорией Советского Союза. «Кто послал этот самолет в советское воздушное пространство?» — грозно вопрошала нота. И сама же отвечала: «Реакционные круги, враждебные делу мира».

Не дожидаясь ответа, Зарубин по-военному круто повернулся и, печатая шаг, вышел из кабинета Даллеса. Пресс-секретарь госдепартамента, когда его спросили о самолете-нарушителе, удивленно пожал плечами: нам абсолютно ничего не известно. А другой чиновник из госдепартамента сказал с ухмылкой:

— Если американские самолеты проникают так далеко в глубь советской территории и остаются там столь долго, почему советские истребители не сбивают их?

Это был как раз тот самый вопрос, которого боялся Хрущев. Поэтому в дальнейшем только еще два раза делались протесты по поводу полетов У-2. А потом решили — лучше не позориться и молчать.

Но главный ответ готовился не по дипломатической

линии. В феврале 1956 года, когда У-2 еще только снаряжался к полету, на полигоне Тюра-Там в безжизненной пустыне, где ртутный столбик термометра упал до 31 градуса по Цельсию, прошли испытания нового зенитно-ракетного комплекса С-75, получившего на Западе название «САМ-2 Гайдлайн». Это была огромная одиннадцатиметровая стреловидная двухступенчатая ракета. На огромной высоте она поразила движущуюся с большой скоростью цель.

Маршал Бирюзов поздравил конструктора П. Д. Грушина:

— Результаты отличные. Дальность стрельбы до тридцати километров, поражение цели на высоте до двадцати двух километров.

А пока Биссел мог с гордостью показывать президенту первые снимки, сделанные с У-2. Хорошо были видны Кремль, московские улицы, Зимний дворец в Ленинграде. Качество фотографий было превосходным. И президент одобрительно отозвался о проведенном полете. Но, когда Аллен Даллес попросил разрешения продолжать полеты, Эйзенхауэр решительно отказал:

— План каждого будущего полета должен представляться на утверждение в Овальный кабинет.

В 1958 году полеты У-2 над Советским Союзом продолжались, разумеется, каждый раз с разрешения президента США.

Бывший командующий корпусом ПВО Туркестанского военного округа генерал-полковник Юрий Вотинцев вспоминает, что в начале 1959 года радиолокационные станции обнаружили самолет на высоте 20 километров. На перехват его был послан МиГ-19. Хотя потолок его был 15,5 тысяч метров, опытный летчик сумел разогнать свой МиГ и поднялся на 17,5 тысяч метров. Доложил, что видит над собой в 3—4 километрах самолет. Но на такой высоте его истребитель продержался несколько секунд, а затем стал сваливаться вниз, и цель, естественно, потерял.

Когда МиГ приземлился, рассказывал генерал, летчик нарисовал самолет, который видел над собой. Крестообразная машина с большими крыльями и ма-

ленькими закрылками. Об этом сообщили в Москву в Главный штаб ПВО. Оттуда вскоре прибыл с группой специалистов командующий истребительной авиацией генерал-полковник Евгений Савицкий. Прибывшие долго беседовали с летчиком. Но итог работы комиссии был обескураживающим — рассказ пилота, поднявшегося на перехват цели-невидимки, был просто поставлен под сомнение.

Савицкий заявил:

— Летчик выдумал, что наблюдал цель. Просто отличиться захотел, заработать награду.

Генерал Вотинцев говорит, что у комиссии была твердая уверенность, что такого самолета, который мог бы несколько часов держаться на высоте 20 тысяч метров, не существует.

Тем не менее в России быстрыми темпами шла доводка грушинских ракет САМ-2. 16 ноября Совет Министров СССР принял решение об изготовлении трех батарей новой зенитно-ракетной системы. Фактически началось их серийное производство. А через год ЗРК С-75 начали поступать в войска.

Неумолимо приближалось время, когда У-2 и САМ-2 должны были встретиться в воздухе. Первой жертвой такого свидания стал Пауэрс.

# ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ

... Фрэнсис Гарри Пауэрс, с трудом управляя парашютом, приземлился на свежевспаханном поле, чуть-чуть не зацепив линию высоковольтной передачи. Неподалеку тархтел трактор. Удар о вражескую землю был настолько сильным, что его бросило вперед и он едва не стукнулся о нее головой. На несколько секунд он даже потерял сознание. В ушах стоял звон, а кровь бешено пульсировала в висках, когда он ошарашенно смотрел на человека в ватнике, который пытался помочь ему встать на ноги. В это время другой человек в ватнике пытался удержать парашют.

Подошли еще два колхозника, они помогли Пауэрсу отцепить стропы и снять шлем. Постепенно вокруг него собралось около полусотни человек, которые что-то спрашивали. Пауэрс только мотал головой, а сам мучительно соображал: что делать? На ум ничего путного не приходило. Только сейчас он сообразил, что летчиков толком не инструктировали, как поступать, если попадут в плен. Вроде бы ему нужно говорить, что совершал обычный полет по сбору метеорологических данных, но у него вышел из строя компас и он заблудился. Правда, один офицер разведки как-то бросил: «Лучше рассказать им все как есть, потому что они захотят получить информацию любым способом».

Происходило это на краю глухой русской дереvушки Поварня. Ехал простой рабочий Леонид Чужакин на

совхозном «Москвиче» по каким-то нехитрым делам, как вдруг из крайней избы выскакивает его давний знакомый Владимир Сурин и кричит:

— Поехали летчика спасать!

Чужакин огляделся. Небо было ясным и чистым. Только вдалеке белым облачком виднелся парашют, который медленно опускался к берегу речки там, где ее пересекала высоковольтная линия. Не раздумывая он погнал машину прямо в поле.

Когда подъехали, летчик уже приземлился, барахтаясь на земле, а местный рабочий Петр Осабин пытался погасить парашют. Чужакин и Сурин помогли пилоту встать на ноги и снять шлемофон с каской.

Мы спросили его, рассказывал Чужакин, кто он такой, но он ничего не ответил. Тогда мы поняли: он — иностранец. Это насторожило нас, мы решили его задержать и отобрать висевший на поясе длинноствольный пистолет в кожаной кобуре.

Пока Пауэрс беспомощно соображал, как быть, два здоровых мужика взяли его под руки и затолкали на заднее сиденье старенького автомобиля, а сами сели по бокам. Машину сильно трясло на ухабах, а они с любопытством рассматривали длинноствольный пистолет. Внимание привлекли три буквы — USA. Водитель написал их пальцем на пропыленном ветровом стекле. Пауэрс угрюмо кивнул головой. Русские переглянулись. Один из них сказал:

— Ага, американец.

Сначала Пауэрса привезли в правление совхоза. Там его обыскали и обнаружили золотые часы, цепочки, валюту. На том же стареньком «Москвиче» его отвезли в расположение ближайшей воинской части, но допросить не могли — никто не говорил по-английски. Хотя и без допроса все было ясно: трактористы привезли остатки самолета. В полной сохранности оказалась катушка с отснятой им пленкой и другие шпионские причиндалы.

После долгих телефонных перезвонов Пауэрса снова затолкали в автомобиль. На этот раз под охраной двух солдат его привезли в Свердловск. Улицы города были украшены флагами и переполнены толпами

празднично одетых людей. И только тут до Пауэрса дошло, на какой праздник он попал без приглашения и столь необычным образом.

В Свердловске он, естественно, оказался в местном отделении КГБ.

— Вы американец? — услышал он по-английски.

Пауэрс даже вздрогнул. Впервые после Пешавара он услышал родную речь.

Разумеется, никто не поверил легенде о сборе метеоданных и поломке компаса. На столе лежала его карта полета, на которой четкими ломаными линиями был вычерчен маршрут от Пакистана до Норвегии. Рядом высилась груда валюты разных стран, среди которой поблескивали франки в прозрачных целлофановых пакетах. Особенно бестолковыми в этой груде выглядели семь женских золотых колец. Кто-то достал удостоверение личности пилота. В нем указывалось, что его предъявитель является гражданским служащим американских военно-воздушных сил.

— А, ВВС, ВВС! — закричали со всех сторон.

Тогда Пауэрс объяснил, что он всего лишь гражданский пилот, нанятый ЦРУ. Лица людей, находившихся в комнате, помрачнели. Новые звонки по телефону. Пауэрса снова сажают в машину и везут на аэродром, где его ждет пассажирский самолет. Первые сиденья отгорожены занавеской. Туда усадили Пауэрса, а вокруг него несколько человек в штатском.

— Куда мы летим? — робко спросил он.

— В Москву.

Пауэрс был убежден, что его часы сочтены.

... На Красной площади в Москве царил праздник. Ласково пригревало солнце, и улицы столицы были заполнены толпами ликующих людей — это был один из самых любимых праздников.

На трибуне Мавзолея стояли улыбающиеся Хрушев, Ворошилов, Косыгин, Микоян и другие руководители партии и правительства. Вместе с ними почетный гость из ГДР Отто Гротеволь.

Начался военный парад. Суровый и тучный министр обороны Малиновский прокричал властным голосом, усиленным через динамики, речь, в которой

говорилось, что влиятельные американские круги не отказались от пресловутой политики «с позиции силы». Всевозможными путями они противодействуют оздоровлению отношений между государствами. В этих условиях СССР ничего не остается, как заботиться об оснащении войск современным вооружением, совершенствовать воинское мастерство. И как бы в подтверждение его слов на Красную площадь выползли тяжелые ракеты.

Их сменила демонстрация трудящихся. С первого взгляда могло показаться, что люди идут по площади огромной ликующей толпой. Но, приглядевшись, легко было заметить, что движутся они стройными колоннами по шесть человек в ряд, отделенные друг от друга сплошными цепочками людей в штатском. Над колоннами реяли портреты вождей и транспаранты с лозунгами. В них провозглашалось многообразие политических задач дня:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Больше удобрений для сельского хозяйства!»

«Требуите скорейшего заключения Германского мирного договора!»

«Боритесь за полное окончание «холодной войны» и ослабление международной напряженности!»

В этот момент на трибуну Мавзолея поднялся главнокомандующий противовоздушной обороной страны маршал Бирюзов. Многие обратили тогда внимание — маршал был не в парадной, а полевой форме. Он подошел сзади к Хрущеву и стал шептать на ухо:

— Самолет сбит. Летчик взят в плен и сейчас допрашивается. Мы разместили наши средства ПВО в шахматном порядке так, чтобы У-2 проходил от одной установки к другой. Когда он попал в радиус действия одной из них, были выпущены две ракеты. Самолет был сбит первой. Вторая была выпущена для страховки, чтобы быть уверенными, что нарушитель не уйдет.

Хрущев сдернул с головы свою серую шляпу и, широко улыбаясь, стал ею размахивать. Потом пожал маршалу руку и поблагодарил за прекрасную новость.

Юлия Хрущева вспоминает:

— Зная, как отец был раздражен, я все время наблюдала за ним. С трибуны наискось мне были видны только часть лица и шляпа. Неожиданно его лицо закрыла военная фуражка — я думала, что это маршал Малиновский ему что-то докладывает. Но, хотя микрофон был включен, не было слышно, что он говорит. Зато вся площадь услышала торжествующий возглас отца: «Молодцы!!!»

После парада вся большая семья Хрушевых поехала на дачу обедать. Его зять Н.П.Шмелев потом рассказывал, что Хрущев был сильно возбужден.

— Он был какой-то взвинченный. Уселся за праздничный стол и все повторял: «Утром сбили американский самолет под Свердловском. Вот и хорошо — теперь уж Эйзенхауэр точно не приедет».

А президент США Дуайт Эйзенхауэр в это время крепко спал в своей загородной резиденции.

Накануне он отдыхал и полностью отключился от текущих дел. После обеда немного вздремнул. Потом пошел ловить рыбу в одном из горных ручьев. Рыбалка оказалась на редкость удачной: президент поймал тридцать форелей!

Пребывая по этому поводу в прекрасном расположении духа, поужинал вечером в семейном кругу и потом допоздна смотрел новый американский фильм «Апрельские дожди».

Проснувшись, пошел бродить один по горным тропинкам, потом сыграл несколько лунок в гольф. Когда же приступил к своему любимому занятию — стрельбе по тарелочкам, — к нему подошел адъютант и передал трубку переносного телефона. Звонил его помощник генерал Эндрю Гудпастер, который коротко доложил:

— Один из разведывательных самолетов, совершавших запланированный полет, просрочил все сроки с возвращением и, очевидно, пропал.

Эйзенхауэр внимательно посмотрел на адъютанта своими большими, несколько навывкате, глазами и сказал:

— Если этот самолет разбился в России, нужно ждать бури.

... В Москве Пауэрса сразу же отвезли на Лубянку. Была ночь, облицованное серым гранитом мощное здание КГБ мрачно возвышалось над окружающими домами. Там Пауэрса переодели в обычный костюм и сразу же повели на допрос. Он сидел в торце длинного стола, вдоль которого, судя по погонам, разместились высокие чины из КГБ и ГРУ.

— Фамилия? Национальность? Звание? С каким заданием были направлены в Советский Союз? — Вопросы сыпались один за другим.

Пауэрс не стал запираться. Если русские спросят его о том, что они уже сами наверняка знают, например маршрут полета, он будет говорить правду, а там видно будет. Пока же он решил прикинуться простым летчиком, которого наняли совершить этот полет. Он ничего не знает потому, что в его обязанности входило только нажимать кнопки.

Но на этой версии он долго не продержался. А все из-за пустяка. В самый разгар допроса, когда, как ему казалось, он убедительно рассказал, что и знать не знает, какая аппаратура была установлена на борту самолета, кто-то, покопавшись в его снаряжении, разложенном тут же на столе, вытащил булавку со смертельным ядом. Пауэрс не на шутку испугался. Только не хватало, чтобы к шпионажу было добавлено обвинение в убийстве! Он тут же взволнованно предупредил, чтобы с булавкой обращались осторожно. Предостережение было сделано вовремя, но раскрыло самого Пауэрса.

После трех часов допроса Пауэрса отвели в камеру. Стальная дверь захлопнулась. На потолке тускло светила лампочка без абажура. В ушах у него еще звучали вопросы. Все они были ему понятны. Кроме одного:

— Почему полет проводился в сроки, столь близкие к началу встречи на высшем уровне? Было ли это преднамеренной попыткой сорвать саммит?

Ричард Биссел, начальник Специального управления ЦРУ по руководству полетами У-2, решил действовать.

Прежде всего он достал из сейфа старое, пригото-

ленное еще несколько лет назад сообщение для печати на случай, если У-2 потерпит аварию в Советском Союзе. Разумеется, теперь его надо было переработать. Но Биссел был убежден: версия должна оставаться прежней. Пилот, совершавший обычный метеорологический полет, заблудился из-за неполадок с навигационным оборудованием, пересек по недоразумению советскую границу и был сбит. Обломки самолета русские увезли в глубь страны, чтобы обвинить американцев в шпионаже. Он был убежден, что Советский Союз никогда не сможет доказать этого.

Однако это при условии, что летчик погиб.

Весь день 2 мая Москва и Вашингтон напряженно приглядывались друг к другу: кто сделает первый шаг.

Пауэрса допрашивали уже вторые сутки. Он не запырлялся. И чем больше говорил, тем яснее становилось, что его полет — не случайность, а одна из регулярных шпионских миссий по раскрытию самых сокровенных тайн Советского Союза — размещения его ракет.

Вечером, когда стемнело, Пауэрса посадили в большой черный лимузин с шестью охранниками и повезли по праздничной Москве. Улицы были заполнены толпами людей, которые шумно веселились, танцевали, пели песни. Впервые он видел Кремль, разукрашенный гирляндами огней, Университет на Ленинских горах и праздничный город внизу: сверкающий разными гранями улиц, как алмаз.

Сначала Пауэрс нервничал — зачем весь этот спектакль? Но потом успокоился. В голове мелькнула мысль: «А может быть, они привезут меня в Париж и скажут: «Вот, Айк, посмотри на своего американца».

В Вашингтоне, разумеется, всего этого не знали, но каких-нибудь признаков напряженности в Москве не обнаружили. Праздники шли своим чередом. Для участия в выставке «Чехословакия-1960» прибыла солидная делегация во главе с президентом Новотным.

В американской столице хотели верить, что так будет и дальше. Русские сбили этот проклятый самолет и успокоились. Хрушев всегда добивался встречи в верхах и теперь не захочет раздувать скандал, а то и

вообще смолчит, ограничившись каким-нибудь злым намеком во время встречи с Эйзенхауэром.

Наступило 3 мая. Вашингтон не мог более ждать. Управление аэронавтики — НАСА — опубликовало следующее заявление: «Исследовательский самолет У-2, принадлежащий НАСА и совершавший полет в Турции по совместной программе службы погоды НАСА и ВВС США, по-видимому, упал в районе озера Ван, Турция, около 9 часов в воскресенье 1 мая. Во время полета в Восточной Турции пилот сообщил по аварийной связи, что испытывает трудности с кислородом. Полет совершался из Аданы с целью сбора данных по выяснению воздушных турбулентностей».

Американская печать не обратила внимания на это сообщение. А Москва загадочно молчала. Ни одного словечка, которое могло бы насторожить.

С утра Хрущев принял французского посла Дежана, был весел и спокоен, по-видимому, ничто не омрачало его жизнь. А потом весь день занимался чехословацкими друзьями. Дал им завтрак в Кремле, ездил в Сокольники открывать выставку. Вечером был на приеме в чехословацком посольстве, где хорошенько выпил.

В общем, ничто не предвещало бури. Правда, потом задним числом вспоминали, что в тот вечер на чехословацком приеме, переходя от одной группы к другой, Никита Сергеевич говорил, что на Верховном Совете послезавтра он скажет нечто важное. Но в Советском Союзе на всех сессиях Верховного Совета всегда говорили что-нибудь «очень важное».

Поэтому внимания на это тогда никто не обратил.

4 мая. Москва молчала. Утренние газеты сообщали, что Главком ВВС Вершинин, а с ним девять генералов и полковников посетят США, как и планировалось, 14 мая. Из Женевы тоже успокоительная информация. Царапкин дал согласие на американское предложение о проведении встречи экспертов по программе исследований... Значит, все нормально?

С утра в Кремле заседал Пленум ЦК, который затянулся до поздней ночи. Прервались только на пару часов, чтобы дать возможность Хрущеву съездить во

Внуково проводить чехословацкую делегацию. Шли крупные кадровые передвижки. Из Президиума были выведены Беляев и Кириченко. Вошли — Косыгин, Полянский, Подгорный. Казалось, Хрущев укрепил свое положение. Но на самом деле его позиции размывались.

Конечно, нельзя сказать, что новые члены Президиума были явными противниками Хрущева. Нет. Как и все, они воздавали ему хвалу, но они не были его людьми. Скорее, их можно было назвать независимыми, играющими собственную игру в сложном пятиугольнике борьбы за власть: Хрущев — Козлов — Брежнев — Сулов — Шелепин.

Пользуясь выражением Черчилля, можно сказать, что это была борьба бульдогов под ковром. Началась она с секретариата ЦК. Хрущев любил поворчать, что этот орган, громоздкий и неуправляемый, нередко дублирует Президиум и его нужно сократить. Но секретариат состоял в основном из его людей, и он не раз использовал его для давления на нелояльных членов Президиума и проталкивания нужных ему решений. Теперь Козлов и Сулов преподнесли Хрущеву его же идеи, но с конкретным предложением: сократить секретариат вдвое, убрав из него Кириченко.

На пленуме было принято решение — вывести из состава секретариата пять человек. Все они оказались твердыми сторонниками Хрущева. Брежнев сменил старенького Ворошилова на посту Председателя Верховного Совета. Косыгин стал первым заместителем Председателя Совета Министров. Мадам Фурцева неожиданно для себя оказалась в кресле министра культуры.

Но главным итогом пленума было, пожалуй, повышение Фрола Романовича Козлова — он стал вторым секретарем ЦК, а значит, уже официально первым после Хрущева человеком в стране.

Конечно, интеллектуалом его назвать было бы грешно, но дело свое он знал и сразу же стал подминать под себя отделы ЦК и обкомы партии. Принадлежал он к той славной когорте администраторов-управленцев, которые умело приспособивались к пере-

менчивой обстановке и крутым хрущевским поворотам. Но в работе был четок, собран и не боялся брать на себя ответственность.

В политическом спектре он тяготел к сталинистам, но открыто этого не показывал, прикрываясь формулировками «есть мнение», «не надо забегать вперед», «не искривлять линию» и т. д.

В общем, если Кириченко слепо подчинялся Хрущеву, то Козлов проявлял некую самостоятельность. Неудивительно, что очень скоро между ними пробежала черная кошка.

Впрочем, тут, наверное, уместнее говорить не о кошке, а о свинье. Охотились они на кабанов в Беложевской пуще в Белоруссии, оба были азартные охотники. Ну, кабана на них конечно же выгнали. Оба выстрелили. Зверь упал замертво.

— Хорошего кабана я завалил! — радостно закричал Козлов.

— Нет, это я его застрелил, — насупился Хрущев.

Стали спорить — оба упрямы и самолюбивы. Тогда Хрущев достает из патронташа пули и говорит:

— Вот мои пули, а вот его — режьте кабана!

Кабана разрезали, провели экспертизу, и оказалось, что сразила зверя пуля Хрущева.

После этого Никита Сергеевич приказал помыть пулю и долго носил ее в кармане. Как станет Козлов с ним спорить, Хрущев вытащит пулю и катает по столу — играет. При виде ее Фрол Романович мертвел лицом и замолкал. Как тут не вспомнить о гоголевских Иване Ивановиче с Иваном Никифоровичем?

В разгар игры в кадровые перестановки Хрущев неожиданно обратился к пленуму:

— Товарищи, гвоздем завтрашней сессии Верховного Совета станет вопрос об американском шпионском самолете, который мы сбили на Урале. Я информирую депутатов, что Соединенные Штаты послали шпионский самолет в глубь территории СССР, и объявлю, что наши доблестные ракетчики сбили нарушителя. Но я не буду говорить им, что летчик жив и сидит у нас на Лубянке. Пусть это будет пока нашей тайной. А потом мы преподнесем американцам сюрприз.

Сначала члены ЦК оцепенело молчали. Потом, когда замысел Хрущева дошел до них, раздались аплодисменты. Позднее в своих задиктовках Хрущев расскажет: «Нашим намерением было сбить с толку правящие круги США. Пока американцы считают, что пилот погиб, они будут продолжать рассказывать сказки о том, что, по-видимому, он случайно сбился с курса, был сбит и упал в горах на советской стороне границы. А когда заврутса совсем, мы откроем, что в действительности пилот жив и вместе с ним в наших руках его шпионское снаряжение».

Так начиналась сложная комбинация, задуманная Хрущевым. Его не столько волновали американцы, хотя обида на них была очень сильна, сколько он выводил самого себя из-под удара. Разыгрывая эту комбинацию, хотел предстать перед Советской страной не как беспомощная жертва американского коварства, а как уверенный в себе лидер, который держит в руках ситуацию и сумел защитить Родину, сбив шпионский самолет. Более того, он заманил американцев в ловушку, заставив лгать всему миру, что это был обыкновенный полет для сбора метеоданных. А потом разоблачил как бессовестных лгунов, виновных в шпионаже. В общем, око за око, зуб за зуб. Но в конце концов он, Хрущев, благосклонно примет извинения американского президента и поедет в Париж как победитель.

Утром 5 мая в Кремле началась сессия Верховного Совета СССР. Появление Хрущева на трибуне, как всегда, было встречено бурей аплодисментов.

Два часа рассказывал он депутатам, как хорошо обстоят дела в Советском Союзе. Так хорошо, что в самом недалеком будущем мы выйдем на уровень производства и потребления США, самой богатой капиталистической страны в мире. И чтобы ни у кого не было сомнений в этом, он тут же объявил об отмене налогов на зарплату рабочих и служащих.

Зал буквально раскалывался от аплодисментов. Объявили двадцатиминутный перерыв. Но после перерыва на трибуну снова поднялся Хрущев. Пробежав

взглядом ряды ликующих депутатов, Никита Сергеевич остановился на ложе для почетных гостей, где находился американский посол Лэллуин Томпсон. Не чувствуя беды, тот с любопытством созерцал этот бурлящий зал, казавшийся ему немного диковатым, и спокойно улыбался.

А Хрущев, распаяясь, как он это умел, гневом, сверлил взглядом американского посла и ледяным тоном бросал в зал тяжелые, как глыбы, обвинения: распоясавшаяся американская военщина послала шпионский самолет в глубь Советского Союза в священный для нашего народа и трудящихся всех стран день 1 Мая. Правительство приказало сбить самолет! Это задание выполнено — самолет сбит!

Хороший оратор был Хрущев. И голос вроде бы тонковат, и говорил неграмотно, с грубейшими ошибками, но аудиторией управлять умел. Мог, когда хотел, заставить ее и смеяться, и аплодировать.

Вот и сейчас зал встретил его слова бурными, продолжительными аплодисментами. Гремели возгласы: «Правильно! Правильно! Позор агрессору!»

Азартный человек был Никита Сергеевич. Казалось бы, холодным умом два дня рассчитывал все возможные ходы. Но теперь увлекся, как на волчьей охоте, — глаза горят, весь кипит страстью, — загнать зверя, зафлажить его со всех сторон. Да и зал уже вошел в азарт охоты и страстно требовал крови. Однако вовремя остановился Хрущев, продолжал уже вполне спокойно:

— Возникает вопрос, кто же послал этот самолет в пределы Советского Союза? Был ли он послан с санкции президента Соединенных Штатов или же этот агрессивный акт был совершен милитаристами из Пентагона без ведома президента? Если подобные действия совершаются американской военщиной на свой страх и риск, то это должно особенно глубоко встревожить мировую общественность.

По сути дела, Эйзенхауэру предлагался выход из создавшегося положения. В зафлаженном лесу Хрущев намеренно оставляет проход, через который хитрый волк может уйти из загона. Президенту нужно

лишь сказать, что он и знать ничего не знал об этом У-2, и свалить все на Пентагон.

Стоит ли говорить, что корреспонденты тут же помчались передать сенсационное заявление Хрущева.

Вечером в тот же день эфиопский посол давал прием в гостинице «Советская». Москва в те годы жила активной светской жизнью. Приемы давались часто, и на них нередко бывали высшие руководители Советского Союза. А гостиница «Советская» в Москве тогда пользовалась особым расположением. На ее месте когда-то находился знаменитый еще до революции своими лихими загулами гостиный двор «Яр», где пел цыганский хор Ильи Соколова и происходили всякие невероятные приключения. Однажды, было это в стародавние времена, похоронная процессия, шествовавшая на Ваганьковское кладбище, неожиданно остановилась у дверей ресторана, и гроб пронесли в самый большой кабинет. Там «мертвец» встал из гроба, скинул саван и, оставшись в модном сюртуке, к веселию присоединился.

Совершенно невероятное приключилось в гостинице «Советская» и вечером 5 мая 1960 года. Поначалу было все как положено. Пили водку и шампанское. К винам отношение было пренебрежительное — квас. Огромный стол в конце зала, сверкавшего люстрами, ломился от блюд с черной икрой, розовой семгой и белоснежной осетриной. За ним на почетном месте стоял хозяин, эфиопский посол в белом бурнусе, и главные гости, среди которых грузной фигурой выделялся заместитель министра иностранных дел Я. А. Малик. Еще со сталинских времен он был знаменит тем, что любил произносить разгромные ругательные речи. После Вышинского не было, пожалуй, другого такого мастера «врезать» американскому империализму, как Малик.

После выступления Хрущева в зале царил ажиотаж — только и разговору было о его гневном разоблачении коварных американцев. Посол Томпсон понуро стоял в сторонке и, вопреки обычаю, к Малику не подходил. А вот другие послы, как мухи, вились вокруг Малика, задавая всякие вопросы с подковыр-

кой: откуда, мол, советский премьер так уверен, что самолет этот американский. А далеко ли он залетел на территорию Советского Союза? Может быть, это всего лишь незначительная ошибка и летчик просто сбился с курса? Особенно донимал его иранский посол Ансари, который утверждал, что один случайный самолет — это еще не агрессия.

От этих вопросов Яков Малик багровел и наливался яростью.

— Данных в нашем распоряжении достаточно, — злорадно кричал он, — и мы докажем, кто виноват!

В этот момент его отозвал в сторону дуайен дипломатического корпуса шведский посол Рольф Сульман. Среднего роста, чуть полноватый, с круглым улыбочным лицом, он излучал самую доброжелательность. Полстолицы были его хорошими знакомыми. Он был вхож к советскому руководству, и сам Хрущев не раз беседовал с ним наедине. Кроме того, Сульман хорошо говорил по-русски, жена у него была русской, а дети ходили в советскую школу, явление для Москвы конца пятидесятых совсем неординарное.

Малика он сразу успокоил, назвав полет У-2 более чем странным, провокационным актом. Но потом шведский посол все в той же доброжелательной манере поинтересовался, есть ли у Советского Союза веские основания для того, чтобы поднять этот вопрос в Совете Безопасности?

Малик взорвался:

— Да оснований больше чем достаточно! Самолет залетел очень далеко в воздушное пространство СССР, когда был сбит. А летчик выпрыгнул с парашютом и находится в надежных руках. Он будет допрошен и даст показания!

Это была сенсация. То, что летчик жив, коренным образом меняло картину.

В тот же вечер Сульман сообщил эту новость американскому послу Томпсону и французскому послу Дежану. Томпсон остолбенел: может быть, Хрущев блефует? Или столь необычным путем хочет дать сигнал Эйзенхауэру? Такие люди, как Малик, ничего просто так не делают. И если надо, умеют держать

язык за зубами. А если пилот действительно жив? И находится у русских? Какой же нелепой комедией будут тогда выглядеть американские заявления о метеорологическом полете и заблудившемся самолете!

Томпсон поспешил в посольство и послал телеграмму в Вашингтон с грифом «сверхсрочно». В ней он кратко сообщил, что сам слышал, как Малик сказал на приеме шведскому послу, что пилот жив и допрашивается. По его мнению, Малик не мог проговориться, такое с дисциплинированными советскими дипломатами случается крайне редко.

Утром следующего дня на стол Хрущеву был положен доклад КГБ. В нем сообщалось: вчера во время эфиопского приема Малик сказал шведскому послу Сульману о том, что американский летчик жив и находится в наших руках. И что Сульман немедленно сообщил об этом Томпсону.

Никита Сергеевич пришел в ярость: весь его хитрый план заманить американцев в ловушку рушится из-за какого-то болтуна! Он вызвал Малика и полчаса кричал на него и даже топал ногами. Малик упал на колени и, размазывая слезы по мордастой физиономии, просил простить его, обещая больше никогда не выдавать государственной тайны.

Хрущев был непреклонен:

— Гнать его в три шеи и с работы, и из партии.

Теперь персональным делом Малика занялся председатель Комиссии партийного контроля, с виду благообразный, Н. М. Шверник. Поначалу Малик пробовал выкручиваться: с Сульманом я действительно говорил, но то, что летчик жив, высказывал в предположительном плане. Однако очень скоро, увидев, что его оппонент располагает данными КГБ, сдался и признался: да, был грех, проболтался.

Хрущеву он пишет покаянное письмо, которое может служить своего рода образчиком эпистолярного творчества такого жанра.

«Дорогой Никита Сергеевич. У меня случилось большое несчастье, страшное горе. Допустил громадную ошибку, совершил серьезный проступок перед партией и государством. Заслужил наказание. Любое

осуждение и наказание партией восприму как должное и справедливое. Прошу пощады. Прошу принять во внимание мою честную, преданную, самоотверженную работу на благо партии и Родины в течение всей моей жизни. Прошу Вас, как просил бы в минуту великого неутешного горя отца родного, дать мне возможность оправдать высокое доверие Партии и лично Вам, дорогой Никита Сергеевич!

Искренне, глубоко от всего сердца бесконечно рад, что Вы так гениально и до конца разоблачили злейших врагов нашей Родины — американских агрессоров, посягнувших на священные рубежи и воздушное пространство великого Советского Союза. Я. Малик, член партии с 1938 года».

К этому времени Хрущев уже отошел, видимо, и Громыко уговорил. Решением Президиума ЦК 12 мая Малику вкатили «строгача» и оставили служить в МИДе в прежней должности. Но прежде он должен был пройти унижительный разбор персонального дела по месту работы. Происходило это так.

В высотном здании на Смоленской площади состоялся партактив. Тема его была посвящена, как это было принято в те годы, очередной кампании, на сей раз подъему сельского хозяйства. Поэтому клубный зал, построенный в виде амфитеатра, был наполовину пуст. Народ привычно скучал и, как только была принята резолюция, потянулся было к выходу. Но тут председательствующий Н. К. Тупицын неожиданно дал слово Громыко. Тот зачитал бумагу:

— «Решением Президиума ЦК заместителю министра иностранных дел Я. А. Малику объявлен строгий выговор «за разглашение секретных сведений». — И от себя добавил:

— Пусть он лично объяснит коммунистам суть своего проступка.

Малик поднялся на сцену. На него жалко было смотреть. Казалось, он хотел вжаться в трибуну, чтобы его совсем не было видно. Лепетал нечто бессвязное, но суть сводилась к тому, что он просил собрание не лишать его доверия, потому что в прошлом никогда не нарушал святости государственной и

партийной тайны. Даже тогда, когда за полгода до предстоящей войны с Японией Сталин поставил его в известность об этом, он никому не рассказал. «Простите меня, — закончил он — я больше никогда не буду...»

Для дипломатов, сидящих в зале, это было как удар грома среди ясного неба. Еще бы — такое не увидишь и в века: «персональное дело» заместителя министра, обвинявшегося в разглашении государственной тайны! Кто-то злорадно посмеивался. Но большинство молчало, явно угнетенное этим постыдным зрелищем.

Первые сообщения о разгромной речи Хрущева на Верховном Совете, обгоняя медленное движение солнца, стали поступать в Вашингтон рано утром 5 мая. Но, как нарочно, на это утро была назначена учебная ядерная тревога. Все руководство Америки перебралось на секретный командный пункт в тоннель, пробитый в отрогах Голубого хребта. Поэтому с большим опозданием президент собрал в подземном убежище руководителей госдепа, минобороны и разведки. Гудпастер зачитал заключительную часть доклада Хрущева. Стояла мертвая тишина. Ее разорвало чье-то восклицание: нужно немедленно отвергнуть все хрущевские обвинения.

Эйзенхауэр не согласился:

— Было сделано заявление НАСА — этого на сегодня достаточно. Нужно помолчать, пока мы не узнаем, что намерен предпринять Хрущев.

Однако все высказались за то, чтобы сделать еще одно заявление: молчание может быть воспринято как признание вины. Президент нехотя согласился и попросил госсекретаря Диллона написать проект текста. А чтобы не было разнобоя, поручил госдепу, и только ему, заняться информированием общественности об инциденте с У-2.

Через пятнадцать минут все уселись в вертолеты и полетели обратно в Вашингтон. Там уже началась буря. Журналисты осаждали пресс-секретаря президента Хеггерти, требуя разъяснений, а тот ничего не мог им сказать. Поэтому, как только Эйзенхауэр появился в Вашингтоне, Хеггерти бросился к нему в ка-

бинет. Сказал, что положение очень серьезное, и умолял его выступить перед прессой. Но президент отказался.

Пресс-секретарю пришлось сообщить журналистам, что ведется тщательное расследование, а результаты будут опубликованы Управлением по авионавигации и государственным департаментом. Но такое разъяснение породило еще больше вопросов. Корреспонденты бросились в НАСА и потребовали заявления.

— Какого заявления? — удивленно спросили там.

— Заявление, которое, как сказал нам Джим Хегерти, вы должны опубликовать.

Но в НАСА ничего не знали ни о каком заявлении. Последовали звонки в Белый дом, и после этого представитель НАСА, вернувшись к корреспондентам, смущенно объяснил, что заявление, которое они просят, будет опубликовано в 1.30 пополудни. Журналисты почувствовали, что запахло жареным.

А в это время в своем кабинете на пятом этаже в госдепартаменте Диллон, прижав плечом телефонную трубку к уху, писал это злосчастное заявление, одновременно обговаривая его содержание с Алленом Даллесом. Времени у них было в обрез. Оба сошлись на том, что чем меньше будет сказано, тем лучше.

Поэтому заявление, которое зачитал пресс-секретарь госдепартамента Уайт, было коротким и, по сути дела, не содержало ничего нового по сравнению с тем, что было объявлено НАСА 3 мая. Очень осторожно признавалась возможность того, что из-за неполадки в аппаратуре снабжения кислородом, которая привела к потере сознания пилота, самолет продолжал автоматический полет на значительное расстояние и случайно нарушил советское воздушное пространство.

Посыпался новый град вопросов. Но Уайт повторил, что все подробности журналисты узнают от НАСА.

В обещанное время в НАСА была проведена пресс-конференция. Однако поднадоевшие объяснения о потере сознания бедным летчиком, совершавшим-де обычный рейс для сбора метеоданных, журналистов

явно не удовлетворяли. Из зала требовали подробностей.

— Почему полет проводился вблизи советской границы?

— Ну, — засмутился пресс-секретарь Бонней, — погодные исследования проводятся нами по всему миру.

— Какая аппаратура была на борту самолета?

— Там были разные приборы, но не камеры для разведсъемки. Приборы, установленные на самолете У-2, позволяют получить более точные сведения о турбулентности воздуха, конвективных облаках, ветровом сдвиге, струйных течениях и таких широко распространенных метеорологических явлениях, как тайфуны. Национальное управление использует также этот самолет для получения сведений о космических лучах и концентрации некоторых элементов в атмосфере, в том числе озона и водяных паров.

В госдепе Диллон разговаривал по телефону с Алленом Даллесом, когда секретарь положил перед ним телетайпную ленту с отчетом о пресс-конференции в НАСА. Проглядев ее, Диллон схватился за голову.

— Боже мой, — крикнул он в трубку. — Посмотрите телетайпную ленту!

Шестого мая в обеденный перерыв между заседаниями Верховного Совета Хрущев в кремлевском кабинете с интересом читал материалы пресс-конференции НАСА. На столе перед ним лежали протоколы допроса Пауэрса и кипа фотографий, сделанных с фотопленки, найденной в обломках У-2. Вокруг стола с каменными лицами сидели Малиновский, Громыко, Шелепин и Ильичев.

— Так, — сказал Хрущев, — американцы влипли. Здорово я им ловушку расставил, и они, как глупые бычки, туда поперли. Думали, что летчик погиб и все шито-крыто. А он жив-здоров и, смотрите-ка, что наговорил.

Хрущев порывлся в протоколах допроса и стал читать: — «Я должен был подняться с аэродрома в Пакистане, пересечь государственную границу СССР и лететь над советской территорией в Норвегию. Я дол-

жен был пролететь над определенными пунктами, и которых я помню Мурманск и Архангельск. Во время полета над советской территорией должен был включать и выключать аппаратуру над определенными пунктами, которые были показаны на карте. Я считаю, мой полет над советской территорией предназначался для сбора сведений о советских управляемых снарядах и радиолокационных станциях». — Закончив читать, потер руки. — Ну, что теперь скажете, наш дорогой друг Аллен Даллес? Попался, мерзавец, с личным. Сейчас ему уже не отвертеться. Ведь что дураки говорят — «струйные течения», «тайфуны», «изучение космических лучей». Я им устрою «тайфун»! Они у меня покрутятся!

— Правильно, Никита Сергеевич, — поддержал его маршал Малиновский. — Вот, смотрите — это снимок нашего аэродрома, сделанный с У-2. Две белые линии — это ряды наших истребителей. А вот другой снимок — и тоже наш аэродром и самолеты на нем. Эти пленки мы проявили. Нами захвачена также магнитофонная лента с записями сигналов некоторых наших радиолокационных станций. Все это — неоспоримые доказательства шпионской работы, а не каких-то там метеорологических исследований.

Хрущев внимательно рассматривал фотографии, потом сказал:

— Ну, хорошо, завтра им будет баня!

А в Вашингтоне президент с удивлением читал шифровку из Москвы от посла Томпсона, в которой сообщалось, что Малик в беседе со шведским послом сказал, что пилот жив.

— Невероятно, — только и мог произнести Эйзенхауэр.

Случилось то, чего он боялся больше всего. Но может быть, это просто слухи? Или дезинформация, специально запущенная КГБ, чтобы замутить воду?

Нет, Томпсон не ошибся. 7 мая, подводя итоги работы сессии Верховного Совета, Хрущев извинился перед депутатами за то, что два дня назад не сказал им всей правды.

— Летчик жив и здоров, — заявил он, улыбаясь во

весь рот, — а обломки самолета находятся у нас. (Смех. Продолжительные аплодисменты.) Это мы сделали сознательно потому, что если бы мы все сообщили сразу, тогда американцы сочинили бы другую версию. (Смех в зале. Аплодисменты.)

Зовут этого летчика Фрэнсис Гарри Пауэрс. Ему тридцать лет. По его заявлению, он является старшим лейтенантом военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, где служил до тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, то есть до тех пор, пока не перешел на службу в Центральное разведывательное управление...

Самолет имел задачу пересечь всю территорию Советского Союза от района Памира до Кольского полуострова в целях разведки военных и промышленных объектов нашей страны с помощью фотографирования.

И Хрущев стал демонстрировать залу фотографии аэродромов, бензоскладов и промышленных предприятий. Правда, фотографии были небольшими, и из зала никто их разглядеть не мог. Но выглядело это впечатляюще.

— Вот такие «пробы воздуха» брал американский самолет-разведчик, и брал их не над озером Ван в Турции, а совсем в иных местах, — закончил Хрущев.

Посол Томпсон на этот раз в Кремль на сессию Верховного Совета не пошел, а послал вместо себя второго секретаря. Но внимательно смотрел репортаж с сессии по телевизору. В Вашингтон послал телеграмму с очень точной оценкой ситуации:

«Наблюдая по телевизору Хрущева, который произносил сегодня свою речь в Верховном Совете, было очевидно, что он полностью доволен устроенным им представлением... Не подлежит сомнению, что мы очень многое потеряли в глазах советского общественного мнения и, возможно, всего мира.

Наиболее опасно в поведении Хрущева — это то, что он понимает: достичь прогресса на саммите ему не удастся. И потому он хочет использовать инцидент для подготовки общественного мнения к неминуемому кризису... Я также не могу не думать, хотя сведений

тому немного, что у Хрущева существуют определенные внутренние трудности, и этот инцидент дает ему удобный предлог отвлечь от них внимание.

Судя по показаниям, которые приводил сегодня Хрущев на Верховном Совете, я сомневаюсь, что мы можем и далее отрицать обвинение в преднамеренном облете. Хрущев сам указал основную дилемму: должны ли мы отрицать, что президент в действительности знал об этой акции».

Блестящая телеграмма. Ее можно демонстрировать в дипломатических учебниках как своего рода образец. В трех коротких абзацах сделан глубокий анализ ситуации и серьезные выводы, на которые решится не каждый посол. Острым чутьем дипломата, хорошо знакомого с ситуацией в стране, Томпсон верно нащупал истинные причины происходящих событий.

В общем, нужно сказать, что этот поджарый, седеющий человек с ясными голубыми глазами был первоклассным дипломатом. В отличие от своего советского коллеги Меньшикова в Вашингтоне он искренне добивался кардинального улучшения советско-американских отношений. Это хорошо знали как Эйзенхауэр, так и Хрущев. Поэтому практически вся доверительная связь между Кремлем и Белым домом в тот период осуществлялась через Томпсона.

Сообщение телеграфных агентств с хрущевским разоблачением было получено в Вашингтоне 7 мая. Поэтому на первые полосы газет оно в этот день не попало. Одним из первых, кто его прочитал, был генерал Гудпастер.

Обычно конец недели президент проводил на своей ферме в Геттисборге, и связь с ним осуществлялась в основном через его сына Джона. Этим субботним утром Гудпастер позвонил ему и сказал:

— Плохие новости.

— Насколько они плохи, генерал? — спросил Джон Эйзенхауэр.

— Так плохи, как только могут быть. Русские захватили летчика живым.

Репортеры, толпившиеся в гостинице вблизи фермы Эйзенхауэра, где всего полгода назад Хрущев играл с его внуками, были вне себя от возмущения. Где президент? Что происходит? Прошло уже 12 часов, как Хрущев обвинил Америку в шпионаже, а власти молчат как воды в рот набрали.

А президент в это время играл в гольф. Он просто не знал, что делать, и ждал совета от своих министров. Тут же на гольфовом поле дежурил военный телефонист, который в любую минуту мог связаться с ними.

Была и другая причина, почему он не поспешил в Вашингтон — ему не хотелось создавать атмосферу

ажиотажа вокруг всей этой истории, если бы телеграфные агентства мира, вдруг дали бы анонс: президент США прервал отдых и отбыл в Вашингтон.

Но вся чиновничья верхушка, несмотря на субботний день, находилась на своих местах. Вашингтон был похож на растревоженный улей. Шли совещания, звонили телефоны, сновали курьеры. Обсуждалась самая больная и деликатная проблема. Нельзя было больше скрывать сам факт проведения шпионской миссии У-2. Но признать, что операция проводилась с согласия самого президента, язык тоже не поворачивался. Ведь с 1776 года, почти 200 лет, США официально провозглашали, что не ведут шпионажа против других стран. Значит, вся загвоздка в том, как объяснить этот злосчастный полет и ответить, кто же все-таки несет за него ответственность — президент США или простой стрелочник.

Первое, что приходило в голову, — это сказать, что виноват Пауэрс или командир базы ВВС в Адане — они-де сами учинили этот полет. Но тогда возникает вопрос, есть ли вообще дисциплина в американской армии, вооруженной ядерным оружием? Нет, такое объяснение принесло бы еще больше вреда Соединенным Штатам и вызвало бы настоящую панику. По этой версии выходило, что каждый летчик мог при случае и бомбу сбросить по собственному усмотрению.

Ну, а если поднять уровень на несколько ступеней выше? Скажем, руководство ЦРУ или минобороны без согласования с президентом санкционировало полет У-2? Эйзенхауэр, таким образом, будет выведен из-под удара. Хрушев в своих речах как раз и предлагает такой выход. Потрясая кулаками, кричит на весь мир, что американская военщина распоясалась, наглеет и творит что хочет. Но, может быть, это очередная ловушка, в которую он хочет заманить теперь самого президента? Нельзя исключить, что у него в заглазнике есть данные и о том, что это с его благословения Пауэрс отправился в свой злополучный полет.

Но, если даже это и не так, не обернется ли по-

том такая ложь во спасение жаркими дебатами в конгрессе и печати? У президента немало противников, и они не преминут обвинить его в том, что он слаб и не управляет страной, коль столь важные решения принимаются за его спиной. И все это в год президентских выборов, когда деятельность администрации рассматривается под микроскопом, а любая самая крошечная ошибка сразу же приобретает слоновьи размеры.

Утром у себя в Лэнгли собрал совещание Аллен Даллес. Как всегда, было высказано немало различных мнений. Биссел, к примеру, так и не мог поверить, что русским удалось сбить его У-2. Он показывал фотографию из газеты «Труд», где над грудой исковерканного металла склонились плохо одетые мужчины и женщины, и говорил, что это что угодно, но не У-2. Кто-то сообщил, что Пауэрс был двойным агентом, то есть находился также на службе у советского КГБ. На этих днях его будто видели в ночном кабаре в Свердловске. Бедные американские разведчики — они не ведали, что в Свердловске даже не знают, что это такое — ночное кабаре.

Тем не менее Даллес заявил, что готов уйти в отставку. Президент сможет тогда заявить миру, что он прогнал директора ЦРУ за то, что тот без его ведома послал в Россию шпионский самолет. Но Гудпастер отклонил это предложение:

— Президент не нуждается в козлах отпущения.

После долгих споров в ЦРУ согласовали довольно жалкую бумагу, в которой говорилось, что вашингтонские власти не давали добро на такой полет.

Днем Гертер собрал свою дипломатическую рать. Он только что вернулся из нелегкой поездки, посетив Иран, Турцию и Грецию. В Афинах услышал американскую версию приключения с У-2, и она показалась ему глупой и неуклюжей — уж лучше молчать, чем плохо врать. Но теперь он понимал, что молчать нельзя. Однако и сказать всю правду он тоже не решился, хотя вроде бы и хотел. В итоге получилось самое худшее из всех решений: сказать полуправду-полуложь.

Связался с президентом. Тот хотя и сомневался, не совершается ли таким образом серьезная ошибка, в конце концов махнул рукой: попытка — не пытка.

Только в шесть часов вечера после всех этих мучительных сомнений журналистам, собравшимся в госдепе, было сделано следующее сообщение: «В результате расследований, проводимых по указанию президента, было установлено, что власти в Вашингтоне не давали никаких санкций на проведение любых таких полетов, о которых говорил г-н Хрушев. Тем не менее, очевидно, стремясь получить информацию, скрываемую сейчас за «железным занавесом», был, вероятно, проведен полет над советской территорией невооруженным гражданским самолетом У-2... Необходимость в такой деятельности как мероприятия по обеспечению законной национальной безопасности увеличивается повышенной секретностью, практикуемой Советским Союзом в отличие от стран свободного мира».

Это заявление Гертера вызвало шок у журналистов.

— Почему вы сказали «вероятно»? Разве информация об операциях с У-2 не точна или Вашингтон не полностью информирован о том, что случилось?

— Я не могу ответить на этот вопрос.

— Предполагается ли, что пилот сам принял это решение?

— Опять-таки я не могу ответить на этот вопрос.

— Есть две вещи в этом заявлении, которые трудно понять. Означает ли оно, что пилот или местный начальник сделали по-своему и дезинформировали НАСА о действительном характере своей миссии; или же этот полет НАСА, о котором говорилось, использовался в качестве прикрытия кем-то другим? Это то впечатление, которое вы хотите, чтобы мы вынесли отсюда?

— Я хочу, чтобы вы вынесли то, что сказано в этом заявлении.

В воскресенье 8 мая Америка, как всегда, отмечала День матери. Утром с красной гвоздикой в петлице президент отправился в местную церковь в Геттисберге. Настроение у него было отвратительное. Не-

трудно представить, о чем он думал, слушая проповедь. Вся мировая печать от Вашингтона до любой захудалой столицы в Африке только и писала, что о глупости и неразберихе, царящих в американском правительстве. Досталось и ему — Эйзенхауэру.

«Если некоторые американские генералы, упрекала «Нью-Йорк таймс», могут послать самолет в Россию, они, должно быть, в состоянии сбросить и водородную бомбу. Американская администрация, отрицая, что дала санкцию на полет, сама оказалась на скамье подсудимых. Как мог Эйзенхауэр допустить, чтобы все это случилось как раз накануне парижского саммита? Все выглядит так, что страну унижают отсутствием здравого смысла в высших правительственных сферах».

Вернувшись из церкви, президент позвонил Гертеру в Вашингтон и сказал, что передумал. Требуется новое заявление. Нужно признать, что это он, президент, на протяжении четырех лет непосредственно давал указания посылать У-2 для сбора информации о военно-промышленном потенциале Советского Союза, чтобы оградить США от внезапного нападения.

Однако и тут президент постарался оставить лазейку, создав впечатление, что ему не были известны «необычные или неортодоксальные методы» получения такой информации. Иными словами, он вроде бы не знал деталей, как проводились эти полеты. В общем, все еще желал невозможного: с одной стороны, дистанцировать себя от злополучного майского полета У-2, а с другой — пресечь все разговоры в печати о том, будто любой американский сержант может начать ядерную войну.

В тот же день вечером на даче у Хрущева в Горках Ленинских собрались гости. Приехали Микоян, Козлов, Суслов, Громыко, Малиновский, Шелепин. Многие — с женами. Разговор крутился вокруг У-2. Из рук в руки передавался подготовленный в МИДе обзор откликов иностранной печати, который начинался с броского заголовка в «Вашингтон пост»: «США пойманы с поличным».

Хрущев ходил как именинник — план его удался.

Он был очень доволен, что сумел осрамить США на весь мир.

— Опростоволоосились американцы, — говорил он. — Я и не ожидал, что они окажутся столь беспомощными. Думал, что они поведут себя серьезно: или уж с повинной придут, или драться до конца будут. А то что это? Ни то ни се. Как в анекдоте: вроде бы и девица, но и не девица — ребенок есть.

Все смеялись, но Хрущев неожиданно посуровел:

— Плохое заявление сделал Гертер. Он признал, что сбитый самолет был послан со шпионским заданием. Знали об этом американские власти или нет — это все сказки для доверчивых обывателей. Конечно же знали. Не могли не знать.

Для нас главное другое — американцы пытаются теперь узаконить шпионаж. Раз мы сами не преподносим им свои секреты, то они вроде бы имеют законное право открывать наше небо и там летать. Вот что получается — поймали вора, который взломал замок в чужой квартире, а он говорит: я не виноват, виноват хозяин, поставивший замок. Он заставил меня сломать замок, чтобы забраться в чужую квартиру.

Но это же бандитская философия. Надо будет американцев строго предупредить — мы им не какая-нибудь Гватемала! Сбивать будем тут же. А базы, с которых американцы будут летать, снесем так, что от них ничего не останется. Пусть потом норвеги с турками головы чешут.

Все это происходило за столом, обильно уставленным закусками, фужерами и рюмками, в которые услужливые официанты наливали кому водку, кому коньяк. Вино, как уже говорилось, в почете не было.

— Вот что, — обратился Никита Сергеевич к Шелепину, — надо в парке Горького выставить этот самолет со всеми его шпионскими причиндалами на всенародное обозрение. Послов пригласить и журналистов — пусть они полюбуются.

Все вроде бы хорошо рассчитал Никита Сергеевич — кроме одного: чем больше он обличал амери-

канцев в шпионаже, тем сильнее заставлял их публично защищать необходимость проведения разведывательных полетов. Эйзенхауэр не хотел этого, но другого выбора теперь у него не было.

Поэтому нелепое и даже глупое, с точки зрения Хрущева, заявление госдепартамента спутало ему карты. До этого он уверенно вел игру по правилам, которые сам же и установил: Америка должна признать, что совершила полет над территорией Советского Союза с целью шпионажа. Ответственность за него несут милитаристы-военные или разведка. Но президент здесь ни при чем. США приносят извинения. Саммит проходит без особых успехов — ну, может быть, удастся заключить Договор о запрещении испытаний ядерного оружия. Через какое-то время советско-американские отношения, совершив зигзаг напряженности, возвращаются на круги своя — к разрядке и сотрудничеству, начатым в Кэмп-Дэвиде.

Теперь после заявления Гертера дело выглядело по-другому. Да, американцы совершили шпионский полет над советской территорией. Санкцию на него давал неизвестно кто. Но виноват в этом сам же Советский Союз. Оградив себя стеной секретности, он вынуждает США вести шпионаж во спасение «свободного мира».

Такой поворот коренным образом менял игру. Для Хрущева главным теперь было: а что скажет президент. Отмежуется ли он от этого заявления госдепартамента и даст тем самым возможность вернуться к прежнему курсу в советско-американских отношениях? Или согласится с ним, и тогда Хрущеву, как он выразился, ничего не останется как «бить горшки», да так, что Эйзенхауэру белый свет покажется черным.

— Начнем с Германии, — говорил Никита Сергеевич, — а там посмотрим.

Конечно, он не думал тогда о кубинском кризисе. Но вся цепочка событий, начавшихся с апреля 1960 года, логически вела к нему.

Кстати, вопрос этот — знал ли действительно Эй-

зенхауэр о полете У-2 — задавал не только Хрущев. Им пестрели газеты всего мира.

Весь день в понедельник 9 мая 1960 года в Москве ждали ответа на вопрос: «Кто же все-таки санкционировал полет У-2?» Но Вашингтон молчал. Тогда — это было уже около 8 часов вечера — Никита Сергеевич решил поехать на прием в чехословацкое посольство и там врезаться американцам, как он это умел — сплеча. Войдя в зал, переполненный гостями, он с ходу заговорил резко и даже сердито:

— Одно тревожно в заявлении госдепартамента. Оно ставит нам в вину, что мы не позволяем летать, ездить, ходить в Советский Союз тем, кто хочет раскрывать секреты нашей обороны. Поэтому-де американское правительство вынуждено посылать самолеты с разведывательными целями. Это очень опасное объяснение. Оно опасно тем, что не осуждает, а оправдывает подобные полеты и как бы говорит, что и в будущем они будут продолжаться.

Сделав это жесткое заявление, Хрущев отошел в угол. Ему налили полстакана коньяку, он выпил его залпом и стал что-то говорить на ухо бессменному шефу мидовского протокола Ф. Ф. Молочкову.

Гости, образовавшие неровный полукруг, стояли на почтительном расстоянии. В своем углу он походил на загнанного кабана, который свирепо сверкал маленькими глазками. Молочков подвел к нему двух послов. Салману Али из Пакистана Хрущев сказал с угрозой в голосе:

— Мы отметили Пешавар на наших картах. В будущем, если любому американскому самолету будет разрешено использовать Пешавар в качестве базы для операции против Советского Союза, мы нанесем по нему ответный удар.

Потом повернулся к норвежскому послу Гундерсену:

— Вы знали об этих полетах? По глазам вашим вижу, что знали.

Кто-то, вроде бы шутя, спросил турецкого поверенного в делах Хамита Бату — не место ли и ему в том углу? Но тот передернулся и ответил:

— Я чувствую себя спокойней здесь, с вами.

Что ж, Никита Сергеевич не упускал случая побряцать оружием для острастки соседей. И те на это реагировали всерьез. После скандала с У-2 пресс-секретарю госдепартамента Линкольну Уайту пришлось заявить, что США использовали территории других стран свободного мира для полетов в Россию без их согласия и они не знали об этом. Это дало возможность пакистанцам и туркам сослаться, что они ни о чем не ведали и не давали согласия на такие полеты. А норвежцы заявили даже формальный протест госдепу.

Прежде чем покинуть чехословацкое посольство, Хрущев пригласил Томпсона в соседнюю комнату. Когда дверь за ними захлопнулась, вспоминает посол, Хрущев сказал:

— Эта история с У-2 поставила меня в ужасное положение. Вы должны помочь мне выбраться из него.

Томпсон обещал.

Странный заход со стороны Хрущева. Еще в апреле он принял решение взять курс на ужесточение с Америкой. Что означала тогда эта фраза? Намерение не захлопывать до конца дверь, а оставить хотя бы щелочку для продолжения диалога? Или он просто продолжал свою игру с Эйзенхауэром, стараясь сбить его с толку?

В Вашингтоне было далеко не так спокойно в тот понедельник, как представлялось из Москвы. В госдепартаменте с раннего утра сидели, запершись, Гертер, Диллон, Колер, Болен, Гейтс и его заместитель Джеймс Дуглас. Они готовили новое заявление, которое признавало — полеты У-2 проводились с ведома президента.

После завтрака с конгрессменами-республиканцами, во время которого Эйзенхауэр рассказал им все как было, он вернулся в Овальный кабинет очень расстроенный. Как вспоминает его секретарь Анна Уитмен, президент сказал только одну фразу:

— Хотел бы я уйти в отставку.

В 14.35 собрался Совет национальной безопасности. Эйзенхауэру снова пришлось объясняться:

— Что ж, сейчас мы готовимся получить хорошую порку, и я готов к этому.

Рассказав в деталях историю с У-2, он объяснил, почему хочет взять всю ответственность на себя:

— Конечно, всегда можно ожидать, что что-то когда-то не сработает. Но чтобы случилось такое безобразие и чтобы нас поймали со спущенными штанами, — это уж чересчур больно.

А в это время в Капитолии, где полгода назад Хрущев распивал чай с сенаторами, Аллен Даллес показывал группе конгрессменов увеличенные до необъятных размеров фотографии советских городов, ракетных установок и военных объектов, которые были получены У-2. По его мнению, они лучше любых слов доказывали, почему необходимы эти полеты для обеспечения безопасности США. Доклад его даже сорвал аплодисменты.

Прошло еще полтора часа, и пресс-секретарь госдепартамента Уайт зачитал на пресс-конференции новое заявление, подписанное Гертером. Суть его коротко сводилась к следующему: «С послевоенного времени весь мир жил в страхе перед советскими намерениями. Правительство США не выполнило бы своего долга, если бы не предприняло меры по уменьшению и устранению опасности внезапного нападения». И далее: «В соответствии с Указом о национальной безопасности 1947 года президент отдал распоряжение о сборе любыми возможными методами информации, необходимой для защиты от внезапного нападения. Была разработана и приведена в действие программа, которая включала обширное воздушное наблюдение с невооруженных самолетов обычно по периферии, но иногда и путем проникновения. Не каждая конкретная миссия утверждалась президентом».

Надо признать, что и это заявление было сформулировано неудачно. Вопрос о том, кто же все-таки отдает в Америке приказ о полетах над Советским Союзом, не снимался. Центр тяжести перемещался

на обвинение, что виноват сам Советский Союз. Из заявления следовало: такие полеты будут продолжаться и дальше. Большинство корреспондентов на этой пресс-конференции так и поняли — летали, мол, и будем дальше летать.

Президент так и не осознал, что, дав санкцию на полет У-2 1 мая, он поставил Хрущева в крайне трудное положение. Теперь ему было просто невозможно защищать политику разрядки с Соединенными Штатами, учитывая к тому же и возрастающую напряженность в советско-китайских отношениях.

Но и Хрущев не осознавал, насколько необходима была для Эйзенхауэра информация У-2. Причем не только для раскрытия советских военных секретов, но и для того, чтобы сдерживать нарастающую волну требований интенсивного наращивания американской военной мощи.

И еще один сбой. Хрущев явно не понимал, что, публично обличая американских генералов и сержантов, которые-де сами по своей прихоти могут развязать ядерную войну, он вынуждал президента взять на себя всю ответственность за полеты У-2, хотя советский премьер преследовал как раз противоположную цель. Но и в Вашингтоне не прислушались к мудрым словам посла Томпсона о том, что Хрущев пытается найти выход из создавшегося положения и продолжать политику разрядки...

Тут бы самое время вмешаться дипломатии, установить доверительные каналы связи. Но где были мудрые дипломаты? А Эйзенхауэра и Хрущева целиком поглотила борьба за спасение личного престижа как у себя дома, так и за рубежом. Да и была ли в то время возможность избежать иного развития событий?

С утра 11 мая толпы народа запрудили Крымский мост. Хрущев умело правил страной старым, испытанным еще в Древнем Риме способом — хлебом и зрелищами. И хотя день был рабочий, москвичи рвались в парк Горького посмотреть на останки американского самолета. Остряки тут же окрестили это «второй выставкой достижений американского народ-

ного хозяйства». Первая была год назад в Сокольниках.

В центре знаменитого своим пивом чешского павильона под ярким светом юпитеров лежал фюзеляж злополучного У-2, напоминающий черную змею. Зловеще выглядели и обломки остро скошенных крыльев.

— Проходите, товарищи, поживей, — покрикивали гиды. — Тысячи людей ждут своей очереди на улице!

Время от времени они включали магнитофонную запись советских радаров, сделанную Пауэрсом, и тогда павильон оглашался звуками их позывных.

Люди проходили мимо стеклянной витрины с тематическим названием «Снаряжение американского шпиона». Там были выставлены уцелевшие фотокамеры, катапультирующееся кресло, оранжево-белый парашют, карта полета и документы Пауэрса, его бесшумный пистолет, сигареты «Кент», пачки различной валюты, а также знаменитая булавка со смертельным ядом.

У выхода на маленьком столике лежала непрерывная книга отзывов посетителей. Десятки людей задерживались здесь и оставляли свои записи. Вот некоторые из них: «Позор Эйзенхауэру!», «Смерть империализму!», «Какие вы друзья? Волки в овечьих шкурах!», «Мы, студенты, рады, что американский пират был сбит... Мы верим, что Никита Сергеевич сделает все в Париже, чтобы это не повторилось».

К четырем часам вход в парк был перекрыт. С Крымского моста к нему медленно подъехала «Чайка» в окружении черных «Волг». Это выразить свое возмущение прибыл Хрущев. Строгий и решительный, он шел к павильону, а за ним валила толпа корреспондентов. На этот раз он не улыбался.

Быстро осмотрев выставку, Хрущев взобрался на шаткое плетеное кресло. Он хотел, чтобы его могли видеть все. Тесным кольцом вокруг него расположились охрана и пресс-служба. Кто-то выкрикнул из толпы:

— Будет ли инцидент с У-2 иметь влияние на со-

ветское общественное мнение, когда Эйзенхауэр придет в Москву?

Хрущев насупил брови и криво усмехнулся:

— Не хотел бы я быть в положении, в которое попал господин Эйзенхауэр. В этом отношении ему особенно помог один человек — Гертер. — И потом, неожиданно сорвался на крик: — На своей пресс-конференции Гертер сделал разбойное заявление! Он не только не чувствует вины и стыда за агрессивные действия, но оправдывает их и говорит, что в будущем будет то же самое. Эти агрессивные действия и заявление Гертера — наглость, наглость!

А вопросы били все в ту же точку: не изменилась ли доброжелательная оценка президента Эйзенхауэра, которую Хрущев дал после возвращения из Соединенных Штатов? И хочет ли он, чтобы после всего президент приехал в Советский Союз?

— Что вам на это сказать? — схитрил Хрущев. — Встаньте на мое место. Вы сами видите сейчас, какие возникают трудности. Я говорю вам искренне. Поймите, у нас, русских, советских людей, душа нараспашку — гулять так гулять, бить так бить. Как же я могу сейчас призывать наших людей — выходите и приветствуйте, к нам едет дорогой гость. Люди скажут: ты что, с ума сошел, какой же это дорогой гость, который одобряет посылку самолета со шпионскими целями.

И еще вопрос:

— Будет полет этого самолета предметом обсуждения на совещании в верхах?

Тут Хрущев несколько замялся:

— Он уже является предметом обсуждения во всем мире. Поэтому я сейчас не считаю, что этот вопрос необходимо включать в повестку дня совещания. Я намерен прибыть в Париж четырнадцатого мая, за день, даже за два, до начала совещания, чтобы немного акклиматизироваться. Париж мне понравился, хороший город. Так что мы поедem в Париж! А если совещание не состоится? Ну что же, мы жили без него много лет, проживем еще лет сто.

Своей пресс-конференцией Хрущев был доволен.

«Набросал я им в штаны горячих углей, — говорил он, — пусть теперь покрутятся».

В тот же день утром 11 мая Эйзенхауэр тоже решил провести пресс-конференцию. Он не знал еще о выступлении Хрущева в парке Горького, но тема у них была одна — У-2 и последствия инцидента для предстоящей встречи в верхах.

В отличие от Хрущева Эйзенхауэр не любил давать пресс-конференции. Его неуклюжие обороты речи и незнание, порой, элементарных фактов служили излюбленной темой для острот и пародий. Эйзенхауэр знал это и поэтому избегал общаться с журналистами, а на пресс-конференциях чувствовал себя неуверенно. Нередко он наклонялся к своему пресс-секретарю Хеггерти и шепотом спрашивал совета. Говорил он негромко, с явным тexasским акцентом, мягко улыбаясь и вставляя к месту и не к месту жаргонные словечки. Очков он обычно не носил, но пользовался ими при чтении. А в разговоре и на пресс-конференциях и жестикулировал ими.

В общем, ораторское витийство было не его стихией. Однако эта пресс-конференция прошла гладко.

— Доброе утро, — сказал Эйзенхауэр своим мягким голосом. — Садитесь, пожалуйста. Я набросал некоторые заметки, пользуясь которыми хотел бы поговорить с вами об этом инциденте с У-2.

Он надел очки и стал читать:

— «Никто не хочет нового Перл-Харбора. Поэтому мы должны знать о военных силах и военных приготовлениях по всему миру. Это неприятно, но жизненно необходимо. Нас не должно отвлекать от насущных проблем сегодняшнего дня то, что является инцидентом или симптомом нынешней международной ситуации. Насущные проблемы это те, над которыми мы будем работать на саммите: разоружение, поиск решений, затрагивающих Германию и Берлин, а также весь комплекс отношений Восток—Запад».

Итак, позиции, непримиримые в своих крайностях, были изложены. В них не было ни совпадающих моментов, ни малейшего намека на возможность компромисса. Президент Эйзенхауэр, который в бе-

седах со своими сотрудниками не раз высказывал опасения, что полеты У-2 могут рассматриваться как провокация или почти как военные действия, теперь заявил публично, что США не проводят ничего такого, что могло бы быть названо провокацией.

В обеих столицах эксперты напряженно гадали, что на самом деле значат эти заявления? Где здесь завышены ставки? В чем противная сторона может уступить и на чем она будет стоять до конца? 12 мая стало днем тяжелых раздумий. И было над чем. В этот день Эйзенхауэру представили две в корне расходящиеся оценки выступления Хрущева в парке Горького.

Первое, подготовленное управлением оценки текущей информации ЦРУ, рисовало картину в оптимистическом свете. Учитывая «глубокую личную приверженность» Хрущева встрече на высшем уровне, писали аналитики из разведки, а также его заинтересованность в политике мирного сосуществования, по всей видимости, данное выступление не ставило цель заставить президента отказаться от участия во встрече в верхах и от поездки в Советский Союз. «Хотя Хрущев, конечно, хочет получить максимальную политическую выгоду, он, однако, не намерен захлопнуть все двери или отказаться в последнюю минуту от проводимой долгое время кампании по организации встречи руководителей западных стран, для которой, по его мнению, созрели весьма благоприятные условия».

Леллуин Томпсон прислал телеграмму из Москвы, в которой утверждалось прямо противоположное. Посол был убежден, что замечания, высказанные Хрущевым в парке Горького, «были еще одним свидетельством того, что «холодная война» началась вновь. Я почти не сомневаюсь, что Хрущев надеется на отмену президентом своей поездки... Все признаки свидетельствуют о намерении Хрущева попытаться извлечь максимальную пропагандистскую выгоду из встречи в верхах, а не о его стремлении действительно провести серьезные переговоры».

Гудпастер принес это послание в Овальный каби-

нет днем. Президент прочитал его, надел шипованные ботинки и примерно с час играл в гольф на южной лужайке. По свидетельству Анны Уитмен, он вернулся «взвинченным, напряженным и сказал, что у него подскочило давление».

Что бы там ни говорили о выдержке и спокойствии Эйзенхауэра в эти дни, но он действительно попал в очень трудное положение и сильно нервничал. Он хотел ослабить международную напряженность, но лишь обострил ее. Он всегда выступал за коллективные усилия и моральные принципы, а столкнулся с ложью и административным хаосом. Все, что было столь присуще ему — осторожность, терпение, организаторские способности, военное умение и даже удача, — исчезло именно в тот момент, когда он более всего нуждался в них».

И все же надежда, что все как-нибудь обойдется, еще не оставляла Эйзенхауэра. Утром за завтраком в Белом доме он сказал конгрессменам-республиканцам, что не откажется от поездки в Советский Союз, если только Хрущев не отменит приглашение. А после заседания кабинета, состоявшегося тем же утром, попросил Гертера и Гейтса «прекратить любую деятельность, которую советская сторона могла бы считать провокационной». Гудпастер дал аналогичное указание Аллену Даллесу.

Накануне, обсуждая с госсекретарем тактику поведения на встрече в верхах, Эйзенхауэр исходил из того, что инцидент с У-2 можно будет если не уладить, то хотя бы обойти стороной, чтобы он не мешал нормальной работе совещания. Конечно, рассуждал президент, советский премьер, вероятно, попытается направить ход событий в нужное ему русло. Тогда Эйзенхауэру придется выложить на стол неоспоримые доказательства непомерной шпионской деятельности Советского Союза в Америке. Но еще лучше, если Хрущев поднимет вопрос об У-2, просто отшутиться и перейти к другой теме. Или даже так: дать ему возможность порассуждать об этом инциденте сколько захочет, а затем спокойно предложить, чтобы он пришел поговорить приватно, тет-а-тет.

Эйзенхауэр хотел, чтобы Гертер еще до начала переговоров в Париже позвонил Хрущеву и попытался выяснить, к чему будет вести дело советский премьер. Но Гертер отсоветовал: Хрущев непременно воспримет это как признак слабости. Тогда Эйзенхауэр попросил Гертера устроить так, чтобы Хрущев пришел в резиденцию американского посла в Париже после окончания первого дня заседаний.

В Вашингтоне ясно представляли, что Хрущев попытается заработать максимальный пропагандистский успех на инциденте с У-2 и лживых, противоречащих друг другу официальных заявлениях американских представителей. Поэтому многие советники предлагали Эйзенхауэру отказаться от признания своей вины, а свалить все на того же Аллена Даллеса. Это спасет не только лицо президента США, но и предстоящую встречу в верхах.

Однако Эйзенхауэр решительно отверг такой путь. Прежде всего потому, что это неправда и несправедливо по отношению к Даллесу. А во-вторых, если он даже так и поступит, Хрущев может отказаться иметь с ним дело, потому что президент не контролирует поступков своих министров.

Все, кто когда-либо имел отношение к майскому кризису или занимался его изучением, задаются вопросом — ну а если бы Эйзенхауэр все-таки свалил всю вину на Даллеса, Биссела или кого-нибудь еще, не помогло ли бы это разрядить обстановку и вернуть ход истории в русло разрядки? Трудно сказать.

Естественно желание понять, что же заставило Хрущева занять столь жесткую и непримиримую позицию. Неприкрытый шпионаж? Но ведь Советский Союз сам занимался тем же еще похлеще американцев. Отказ Запада уйти из Берлина? Но Хрущев знал об этом уже в марте. Почему же он так взъярился в мае? Боялся, что поездка Эйзенхауэра в Советский Союз вызовет волну симпатий к американцам и их образу жизни? Но в пропаганде и манипуляциях общественным мнением Хрущев любому политику мог дать фору.

Сам Эйзенхауэр полагал, что советский премьер

хочет использовать инцидент с У-2, чтобы взорвать НАТО изнутри, отколоть Францию и Англию от США. Но из многочисленных высказываний Хрущева в своем окружении это стремление совсем не прослеживалось.

Хотя каждая из вышеназванных причин могла иметь определенное значение, ни одна из них в отдельности, ни даже все они вместе не играли решающей роли в поступках Хрущева. Главное, — и это верно уловил посол Томпсон, — он столкнулся с сильной внутренней оппозицией его курсу реформ и политике мирного сосуществования. А попросту говоря, святая троица, определявшая советскую жизнь, — партия, военные и КГБ, — строго осадила его в апреле. Соотношение сил в Политбюро изменилось — теперь он уже не был полновластным хозяином в Кремле. Вот и перестроился Хрущев: ему нужно было показать им, что он не идет на поводу у империалистов, а борется с ними.

# ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В Москве тоже ломали голову, что делать со ставшей вдруг никому не нужной встречей в верхах. Ма-линовский и Козлов предлагали вообще не ехать в Париж. Оставаясь в тени, их поддерживал Суслов.

Но Хрущев предложил другой план.

— Я разделяю ваше возмущение, товарищи, провокационными выходками американцев, — говорил он проникновенно и убедительно своим коллегам на Президиуме, который начал заседать с утра 12 мая. — Но в политике нельзя давать волю чувствам. Если мы не поедem в Париж, весь мир скажет, что встречу в верхах и начавшуюся разрядку сорвал Советский Союз. Мы должны действовать хитрее и с дальним прицелом. В Париж приехать надо, но заседаний не начинать, пока американцы не принесут извинений и не заявят, что больше не будут посылать шпионские самолеты в наши пределы. Вы спрашиваете, пойдут ли они на это? Трудно сказать. Если умные люди, то пойдут. Ведь мы поймали их с поличным — деваться некуда. Знаете, вот встретились на улице два генерала: как определить, кто из них умней? Тот, кто первым скажет «здравствуйте» или честь отдаст.

Но и в этом случае будем жестко вести дело. Положим на стол переговоров нашу принципиальную позицию по германскому вопросу и разоружению. Пойдут американцы на уступки — будет соглашение. Не пойдут, значит, они виноваты. Вместе со шпионажем

навесим на них еще и гонку вооружений, и международную напряженность. В обстановке, когда весь мир только и говорит об их позоре с У-2, всякое лыко будет в строку.

Никита Сергеевич любил народные поговорки, применяя их и к месту, и без нужды. Те, кто писали для него речи, лезли прежде всего в словарь Даля и выписывали поговорки, которые можно будет потом вставить в текст.

— В общем, — заключил Хрущев, — наша линия беспроигрышная. Извинятся они или нет, мы все равно на них всех собак навесим. Для этого и в Париж надо ехать.

Нехотя члены Президиума согласились. Тем более что сам Хрущев предложил включить в состав делегации маршала Малиновского. Тогда еще не было принято брать в заграничные вояжи министра обороны, боялись, что это смажет миролюбивый облик Советского Союза. Хрущев был первым, кто сообразил: участие в переговорах министра обороны сделает военных заложниками принятых там решений. А для подозрительных членов Президиума это своего рода поручительство, что не смягчит Хрущев позиций — в случае чего остановит Малиновский разошедшегося не в меру премьера.

Другим членом делегации был назначен Громыко. Но это так, проформы. Самостоятельной роли в советской политике он не играл. Тогда же была обговорена и тактическая линия: переговоров не начинать, пока американцы не принесут извинений и не откажутся от шпионских полетов над территорией Советского Союза. Был заранее подготовлен текст заявления, которое Хрущев сделает де Голлю, Макмиллану и Эйзенхауэру. В него внесли ряд поправок, все — на ужесточение, и тут же, на Президиуме, затвердили.

Директивы делегации, которые, как сквозь сито, прошли через это заседание, были на редкость жесткими и бескомпромиссными. Хотя начинались они вроде бы даже доброжелательно — делегации предписывалось добиваться сближения позиций по таким

вопросам, как разоружение, прекращение ядерных испытаний и заключение мирного договора с германскими государствами. Однако далее следовали конкретные позиции, которые напрочь исключали возможность договоренности.

По германской проблеме, включая Берлин, повторялись старые предложения. Так что Конрад Аденауэр мог быть спокоен — до соглашения здесь дело все равно бы не дошло.

То же — по испытаниям ядерного оружия, позиции были заморожены на том уровне, как они излагались в апреле в Женеве. Хрущев мог дать согласие на проведение только трех инспекций.

Зато по всеобщему и полному разоружению военные были куда как щедры. Они вообще хотели поставить этот вопрос в центр парижского саммита, хорошо понимая, что такого разоружения никогда не произойдет. Поэтому Хрущеву разрешалось широким жестом пойти на крупные уступки Западу. Например, согласиться с ликвидацией уже на первом этапе всех средств доставки ядерного оружия, как это предлагал де Голль. Или — значительно сократить численность вооруженных сил.

В общем, замков было навешано много. И даже стража поставлена. И все же не оставляет мысль, что Хрущев где-то в глубине души надеялся на другой исход парижской встречи. Никаких доказательств этому нет. Просто, зная характер Хрущева, — а он был человек упрямый и хитрый, — трудно представить, что он так просто смирился с оппозицией и отказался от задуманного курса. И в Париж поэтому ехал не к самому началу, а на два дня раньше. Видимо, все-таки надеялся, что придет к нему Эйзенхауэр и они вместе найдут выход из этого глухого тупика.

Никто не ездит по миру с такой помпой, как русские и американцы. Отправляется, скажем, с визитом за рубеж шведский премьер-министр, так с ним — от силы десять человек, включая охрану. А вот если едет советский премьер, то за ним потянется хвост ну не менее чем человек в сто.

И тут Советский Союз, пожалуй, догнал и пере-

гнал Америку. В Париж делегация Хрущева ехала четырьмя партиями.

Первая группа, которая, как и положено, выехала за несколько дней, состояла из восьми человек. В нее входили генеральный секретарь делегации С. М. Кудрявцев, шеф протокола Ф. Ф. Молочков и представители так называемой «девятки» — службы охраны руководства. Им действительно нужно было организовать на месте работу делегации.

Вторую группу, выехавшую также заранее, возглавлял заведующий отделом печати МИДа М. А. Харламов. С ним было тридцать журналистов и еще сорок четыре человека, о профессиональной принадлежности которых можно было только догадываться.

Третья группа состояла из тридцати семи человек. В нее входили эксперты и переводчики.

И, наконец, как тогда говорили, «основной самолет» — с Хрущевым, членами делегации, советниками и ведущими экспертами, а также обслугой — пятьдесят девять человек. Всего в Париж с Хрущевым прибыло сто семьдесят восемь человек. И еще не поддающееся подсчету число людей и машин из советских посольств и представительств в Женеве, Бонне, Брюсселе и Лондоне — так, на всякий случай. Ну а сколько человек действительно работали и были нужны? Как всегда, не более десяти.

14 мая, суббота. Никита Сергеевич прилетел в Париж взвинченный. На аэродроме «Внуково-2» Сулов, Козлов, Брежнев и другие члены Президиума, приехавшие проводить его в дальнюю дорогу, снова стали корить коварных империалистов, плетущих агрессивные замыслы против социализма. Разговор этот продолжался даже под крылом самолета, где они толпились кучкой. Хрущев жестикулировал, с жаром показывая, как он врежет в Париже американцам.

— Сначала я встречусь с де Голлем, — говорил Никита Сергеевич, — и прочитаю ему заявление, которое мы с вами вместе подготовили. Пусть почешется. Потом — с Макмилланом. А с Эйзенхауэром встречаться не буду. Заставлю его просить да хорошенько просить, чтобы все видели, как он на пузе приползет.

Но, видимо, чудилось ему, что соратники не особенно верят его словам и как бы все время наставляют его, что доверять империалистам ни в чем нельзя.

Наконец ритуал прощания с объятиями и поцелуями был окончен. Мрачный Хрущев поднялся по трапу, устроился поудобней в салоне, но обычного совещания проводить не стал. Просто попросил дать ему почту и документы. О том, что произойдет в Париже, он не заговаривал, но все чувствовали: случится нечто неожиданное.

В своих мемуарах Хрущев утверждает, что именно во время полета в Париж он принял решение ужесточить условия для участия Советского Союза во встрече в верхах и заручился затем согласием своих коллег. Видимо, память здесь подвела Никиту Сергеевича. Указания для делегации и тактическая линия были обговорены и утверждены на заседании Президиума 12 мая и подтверждены при проводах во «Внуково».

В аэропорту «Орли» Хрущева ждала огромная толпа журналистов. Пожалуй, никогда раньше Париж не собирал такого числа пишущей братии, все предчувствовали скандал.

Ту-144 — лучшая в то время наша машина опустилась мягко и вовремя. Открылась дверь, и в ее проеме показался широко улыбающийся Хрущев. Как всегда, он был в сером бесформенном костюме с широкими брюками и в сером плаще до пят. Весь этот наряд вершала серая шляпа, которой он время от времени энергично размахивал, приветствуя толпу.

По красной ковровой дорожке мимо строя французских гвардейцев он прошел к микрофону и обещал приложить все усилия, чтобы совещание было успешным, несмотря на «активность влиятельных кругов, которые стремятся возродить «холодную войну». В общем, это была весьма умеренная речь.

Потом Хрущев сел в подкатившую черную «Чайку» и отправился в советское посольство на рю де Гренелль. Кортёж машин потянулся за ним. Старинные железные ворота распахнулись, и машины въехали во двор, выложенный выщербленными временем плитами. В глубине стоял большой трехэтажный дом с

фронтоном и мансардой, построенный в самом начале XVIII века. Когда-то это был дворец герцога д'Эстре. На этом самом месте еще раньше стоял дворец кардинала Ришелье.

— Как, — удивился Хрущев, — того самого? Из «Трех мушкетеров»? А я думал, что это все выдумки...

И затем, уже окинув дом придирчивым взглядом хозяина, спросил:

— А не слишком ли жирно будет для посла такой дворец иметь?

Посол Виноградов, краснея и заикаясь, рассказал, что посольской резиденцией этот дом был только при царях, а в советское время, вот уже 40 лет, тут размещается посольство, посол с семьей живет в мансарде, а в крыльях здания — еще и технический персонал.

Посол не приbedнялся. Дом был заполнен от подвалов до чердака. До революции здесь работало девять дипломатов. А теперь их число приближалось к полусотне. Поэтому старинные и когда-то роскошные залы были перегорожены, как в коммунальной квартире, на клетушки-кабинеты. Это был клочок советской земли в самом сердце Парижа.

Хрущева провели на второй этаж в кабинет посла, хотя и маленький, но со всеми атрибутами того времени: на одной стене висел портрет Ленина, а напротив него — Хрущева. Никита Сергеевич уселся под собственным портретом, рядом с ним, как два ангела-хранителя, — Малиновский и Громыко, и стал внимательно слушать доклад посла о положении во Франции. Затем местные руководители разведки, КГБ и ГРУ, также доложили обстановку. Таков был ритуал. Их по одному проводили в посольский кабинет, и там они рассказывали какие-то таинственные истории.

Однако ничего нового Хрущев, по-видимому, не услышал, так как не стал задерживаться в посольстве, а сразу уехал на посольскую дачу в Бруней — бывший охотничий приют французских королей. Там и провел ночь.

В тот же день, 14 мая, вылетел в Париж и Эйзенхауэр.

Утром он постригся, встретился с помощниками, подписал последние бумаги и прочел телеграмму сестры Пауэрса с мольбой о спасении брата...

Его вертолет приземлился на военной базе Эндрюс, перед тем как стало темнеть. Президент прошел прямо к самолету мимо микрофонов, подготовленных для его заявления американскому народу. Стал накрапывать дождь. По широкому трапу он поднялся на борт, помахал рукой, и президентский лайнер ВВС-1 взмыл в воздух.

По-видимому, настроение у него было не из лучших, он отрешенно молчал и думал. В салоне были всегда под рукой последние издания романов-вестернов в мягких обложках, которые Эйзенхауэр любил читать перед сном. Временами он дремал, потом снова читал, а иногда бросал взгляд на яркие крупные звезды в черном небе.

Несколько раз в кабину к Эйзенхауэру заходил его сын Джон. Между ними существовали теплые, дружеские отношения, и Джон глубоко переживал за отца, попавшего под огонь острой критики из-за неуклюжего поведения правительства в инциденте с У-2. В этом он целиком винил шефа ЦРУ Аллена Даллеса, подставившего президента, — ведь он утверждал, и не раз, что русским ни при каких обстоятельствах не удастся захватить пилота живым. Обычно Джон Эйзенхауэр не лез с советами к отцу, пока тот его не спрашивал, но на этот раз не выдержал.

— Тебе нужно уволить его, — сказал он.

Эйзенхауэр-старший взорвался:

— Я не собираюсь переключать вину на подчиненных!

Позднее Джон скажет:

— Отец дал мне понять, что я еще мальчишка в коротеньких штанишках. Вспышка гнева свидетельствовала, что внутренне он вел тяжелую борьбу с самим собой, анализировал действия Даллеса.

15 мая, воскресенье. На посольской даче Хрущеву не спалось. Он рано встал, и сразу же ему доложили приятную новость, которую, впрочем, он сам себе подготовил впрок. Московское радио сообщило, что

этой ночью в Советском Союзе запущен спутник с четырехтонным грузом. Хрущев был доволен: он любил такие пропагандистские обрамления своих заграничных поездок, которые, считал, придают ему дополнительный вес на переговорах.

Все еще в прекрасном настроении Никита Сергеевич плотно позавтракал и вышел в парк без пиджака в белой, расшитой узором украинской рубашке. Огромные штаны держались на подтяжках.

Стояло теплое, солнечное утро. Французский садовник — в посольском просторечии «дядюшка Шарль» — косил сено. Хрущев постоял рядом, посмотрел, а потом сказал:

— Давай косу.

Садовник протянул ему косу. Хрущев зачем-то потряс ее в воздухе и начал косить, как крестьянин, ровно и уверенно, делая широкие взмахи от плеча. Однако тут вышла незадача. Тучный живот явно не поспевал за хозяином. Только замахнется Никита Сергеевич, а живот его в сторону тянет. Сбился очень скоро с ритма и в сердцах косу бросил.

Позднее дядюшка Шарль скажет корреспондентам:

— У месяе Хрущева уверенные движения настоящего косца, но, поскольку он тучный мужчина, это ему мешает косить.

Эйзенхауэр также проснулся рано. Самолет ровно скользил над Атлантическим океаном, а над горизонтом огромным багровым шаром вставало солнце. Президент позавтракал и еще раз посмотрел заготовки своих выступлений в Париже.

По той же красной дорожке, что вчера Хрущев, он прошел мимо строя почетного караула французской гвардии и зачитал бесцветное заявление перед толпой журналистов. Потом сел в лимузин американского посла Хоугтона и направился в его резиденцию на авеню де Иена. Гертеру он напомнил: если Хрущев поднимет вопрос об У-2, надо предложить обсудить это приватно.

В 11 часов Хрущев прибыл в Елисейский дворец. Военный оркестр сыграл торжественный марш. Ярко разодетые, как петухи, кавалеристы из французской

гвардии в белых лосинах отсалютовали ему, подняв сабли к кирасам, украшенным перьями. По широкой лестнице он поднялся во дворец, где его уже встречал президент Франции.

Внешне де Голль походил на многочисленные карикатуры на него, которые публиковались в прессе. Со стороны могло показаться, что этого человека волнует только одно — как бы не уронить свое превосходство и достоинство. Еще в 1957 году он заявил, что эпоха гигантов в политике прошла. Когда спросили его мнение об Эйзенхауэре, Хрущеве и Макмиллане, то в отношении первых двух он был весьма краток: они идиоты, а в отношении последнего просто махнул рукой. Себя самого он считал исключением из правила.

Теперь они сидели друг перед другом — величавый, как монумент самому себе, президент Франции и весь округлый, в плохо пошитом костюме председатель совмина, похожий, скорее, на крестьянина, случайно очутившегося в этих роскошных залах.

— Мы долго готовились к этому совещанию, — начал Хрущев, — и возлагали на него большие надежды. Но инциденты, которые имели место девятого апреля и особенно первого мая, породили у нас другие мысли. Они показали, что один из участников совещания стремится торпедировать возможность достижения согласованных решений по острым международным вопросам.

Де Голль слушал с каменным лицом. О полетах У-2 он хорошо знал. Накануне американские специалисты, приехавшие в Париж, рассказали ему, какую информацию собирали эти самолеты. И не просто рассказали, а показали, разложив перед президентом карты Советского Союза. Де Голль, вооружившись лупой, с интересом разглядывал отснятые военные объекты.

Между тем Хрущев начал читать длинный документ из шести страниц, в котором детально расписывалась эпопея с У-2. Президент слушал, что называется, вполуха. Неожиданно его внимание привлекли слова: «... Если правительство США действительно готово сотрудничать с правительствами других держав в инте-

ресах поддержания мира и укрепления доверия между государствами, то оно должно, во-первых, осудить недопустимые провокационные действия военно-воздушных сил США в отношении Советского Союза и, во-вторых, отказаться от продолжения подобных действий и подобной политики против СССР в будущем. Само собой разумеется, что правительство США в этом случае не может не привлечь к строгой ответственности непосредственных виновников преднамеренного нарушения американскими самолетами государственных границ СССР».

Обычно Хрущев не изъяснялся с деятелями других государств с помощью написанных заранее документов, подумал де Голль. Было ли это заявление заранее подготовлено в Кремле и Хрущев обязан вручить его президенту? Если это так, нет шансов рассчитывать на значительные уступки с его стороны. А может быть, советский премьер намерен торговаться с Эйзенхауэром об условиях своего участия в совещании на высшем уровне и полагает, что требования, изложенные в письменной форме, усилят его позиции?

Как бы угадав его мысли, Хрущев резко сказал:

— До тех пор, пока это не будет сделано со стороны правительства США, наше правительство не видит возможности продуктивных переговоров с правительством США на совещании в верхах.

Де Голль снял очки с толстыми линзами и попросил передать ему этот документ, пусть даже на русском языке. После минутного замешательства Хрущев обменялся несколькими словами с Громыко, и тот передал документ своему французскому коллеге Куву де Мюрвилю.

Далее произошел следующий диалог:

Де Голль: Я передам содержание вашего заявления Эйзенхауэру. Этот инцидент не связан с совещанием. Если он будет решен путем договоренности между СССР и США, совещание состоится. Я буду способствовать достижению согласия.

Н. С. Хрущев: Это не двусторонний инцидент. Удивительно, что вы даете возможность американцам продолжать шпионские полеты. Я удивлен, господин

президент, вашей позицией в этом вопросе, потому что она расходится с представлением, которое я имел о вас как о государственном деятеле, реалистически подходящем к оценке международных вопросов. Мы знаем, что такое война в современных условиях. Мы знаем всю разрушительную силу ядерного оружия. Но у нас нет выбора, вернее, если говорить откровенно, наши противники, я позволю себе так выразиться, не дают нам иного выбора. Если американские агрессоры развяжут против нас войну, мы будем всеми силами бороться, и мы уверены, что победим, выживем и выстоим. История рассудит нас потом.

Хрушев был действительно обескуражен этой, как показалось ему, откровенной проамериканской позицией французского президента. Где же тогда и чем измеряется его дистанцирование от американской политики, о котором так много говорят.

Однако и французский президент был очень недоволен эмоциональной эскападой советского премьера. Величаво и весьма сухо заметил:

— Полет американского самолета над советской территорией является фактом. Вы сделали заявление по этому поводу, я передам его содержание президенту Эйзенхауэру. Отвечать по этому вопросу должен Эйзенхауэр. Я не могу дать никакого ответа на это заявление. Я только принимаю к сведению то, что вы сказали в отношении совещания на высшем уровне, а именно: оно либо будет иметь место, либо не состоится. Если оно не состоится, то я выражаю от имени Франции глубокое сожаление. Если имевший место инцидент должен привести к войне, то это будет ужасное бедствие для всего человечества. Никогда еще совещание на высшем уровне не было столь необходимо, как в настоящее время.

— О содержании того, что должен сделать президент Эйзенхауэр, я сказал, — ответил Хрушев. — Что касается формы, то пусть делает, как он найдет удобным для себя.

Прощание с де Голлем было ледяным. Мрачный Хрушев спустился по мраморным ступеням, где за-

мерли, салютуя, разнаряженные гвардейцы, сел в машину и уехал в посольство.

Эйзенхауэр проснулся после краткого тяжелого сна в маленькой спальне на самом верхнем этаже в резиденции американского посла в Париже. Чувствовал он себя неважно, сказывался бросок через океан и шесть часов разницы во времени, — «джет лэг», как называют это американцы.

Но в час дня президент спустился вниз к ланчу, который устраивал посол Хоугтон. Там Эйзенхауэр и услышал, что в беседе с де Голлем Хрущев выдвинул ультиматум: если США не извинятся за инцидент с У-2 и не накажут виновных, он уедет из Парижа. Это было как удар грома. Но президент сказал мрачно:

— Хотят загнать меня в угол.

Теперь он действительно рассердился. Хрущев заманил его в ловушку, уличил в публичном обмане и, по существу, обвинил в бесконтрольных действиях его собственной администрации. В течение многих лет Россия никогда не протестовала публично против полетов У-2. Теперь же, накануне саммита, Хрущев устраивает этот скандал... Зачем?

Позднее Эйзенхауэр поймет, что не он, а Хрущев был загнан в угол в Париже советскими военными и партийной верхушкой, которые не хотели перемен. Но все это будет потом. А теперь Эйзенхауэр видел только одно: Хрущев снова выдвигает ультиматум и намерен использовать инцидент с У-2 как предлог для срыва саммита, свалив всю вину на американцев.

За приватным обедом в советском посольстве собрались наиболее приближенные к Хрущеву лица. Премьер не скрывал своего раздражения по поводу встречи с де Голлем. Видимо, где-то в глубине души он все же надеялся, что французский президент займет по крайней мере нейтральную позицию в советско-американском противостоянии. Но де Голль явно встал на сторону американцев.

Малиновский, а затем Громыко стали убеждать его, что наша линия единственно правильная и поведение президента Франции тому лишнее доказательство.

Просто здесь сработала межимпериалистическая солидарность. Но твердость и только твердость может разоблачить сговор империалистов перед всем миром и заставить их отвечать за содеянное перед собственными народами.

Другие присутствовавшие на обеде либо поддакивали, либо помалкивали. Только посол Виноградов, хотя и осторожно, высказал иное мнение.

— Наша линия, конечно, правильная, — сказал он, — но лобовое столкновение с Эйзенхауэром вынудит де Голля и Макмиллана встать с ним в один ряд. Не стоит ли нам поэтому встретиться с французами и англичанами, может быть, не на самом высоком уровне и сделать намек: Никита Сергеевич ждет, что Эйзенхауэр приедет к нему и они смогут договориться. Я знаю французов — они не довольны грубой политикой США в истории с У-2. Если с нашей стороны будет сигнал, я уверен, французы посоветуют американцам не чиниться, а поехать к Хрущеву и отрегулировать возникший конфликт. А как только начнутся неофициальные контакты, американцам волей или неволей придется оправдываться и давать заверения, что не будут больше летать над Советским Союзом. У меня хорошие отношения с французами, и, если вы, Никита Сергеевич, поручите это мне, я, думаю, смогу настроить их соответствующим образом. Если даже американцы заартачатся, то не мы, а они останутся в одиночестве. Тогда и наш удар по ним будет весомее и получит куда больший резонанс в мире.

— Да, — сказал Хрущев, — Францию, может быть, ты и знаешь, а вот от домашних дел, сразу видно, оторвался. Сколько времени ты здесь сидишь?

— Семь лет, Никита Сергеевич.

— Оно и видно.

Сергей Александрович Виноградов работал послом во Франции с 1953 года. На мидовском небосклоне он был фигурой не совсем обычной. В отличие от своих коллег, прошедших партийные университеты, обладал неким европейским лоском. Кроме того, был еще умен и эрудирован. В общем, настоящий дипломат.

Когда в 1953 году де Голль отошел от активной по-

литической жизни и уединился в своем имении Буасери в далекой Шампани, политики и дипломаты стали потихоньку забывать своего равного генерала. Но не Сергей Александрович. Для него двести пятьдесят километров были нипочем, он по-прежнему регулярно наезжал в поселок Коломбе, где находился небольшой двухэтажный дом де Голля, к которому по какой-то прихоти пристроили шестиугольную башню с конусообразной крышей, наподобие старинного французского замка. Там, в кабинете генерала, и рассказывал ему Виноградов политические и светские новости. В общем, сумел поддержать личную дружбу.

Когда в мае 1958 года, в разгар общего политического кризиса, Франция призвала де Голля в Париж, то самым близким человеком к новому президенту из всего дипломатического корпуса тогда оказался советский посол Виноградов.

К сожалению, его советы на этом обеде во внимание приняты не были.

После ланча президент поехал в Елисейский дворец для встречи с де Голлем и Макмилланом. Все уже знали об ультиматуме Хрущева, и надо было посоветоваться, что делать дальше.

— Я думаю, ни у кого нет иллюзий насчет того, что я собираюсь приползти на коленях к Хрущеву? — спросил Эйзенхауэр.

Таких иллюзий не было. Де Голль сказал, что уже заявил Хрущеву, что не может всерьез рассчитывать на приезд к нему Эйзенхауэра с извинениями. Как вспоминает переводчик президента генерал Вернон Уолтерс, де Голль говорил об этом с олимпийским спокойствием. Он не считал, что погрешности разведывательных служб являются подходящей темой для обсуждения на встрече глав правительств.

Тем не менее де Голль считал нужным рассказать об угрозе Хрущева совершить нападение на базы У-2 в Турции, Японии и других странах. Американский президент угрюмо ответил:

— Ракеты могут летать в обоих направлениях.

Уже прощаясь, де Голль отвел Эйзенхауэра в сторону и сказал:

— Со мной все просто. Вы и я вместе, мы связаны историей.

Президент был растроган: это была как раз та поддержка, в которой он нуждался.

Вернувшись в резиденцию, Эйзенхауэр собрал совещание, чтобы оценить угрозу Хрущева. Присутствовали Гертер, Томпсон, Гудпастер и другие. Президент внес предложение:

— Мы должны подумать, не лучше ли нам самим сорвать конференцию.

Первым взял слово американский посол в Москве Томпсон. Он сказал, что если таково будет решение, то лучше сделать это под другим предлогом, чем шпионские полеты. Хрущев уязвим дома из-за своей импульсивности. Соединенные Штаты могли бы сказать, что они не могут вести переговоры с человеком, который использует бранные выражения на столь серьезных переговорах.

Эйзенхауэр задал вопрос, почему бы Хрущеву не высказать свои угрозы пять дней назад, прежде чем поставить перед столь трудной дилеммой всех прибывших в Париж. Если он хочет, чтобы мы приняли четырехстороннее заявление, отвергающее шпионаж, — это приемлемо. Однако мы не пойдем дальше этого и не откажемся от соответствующих действий в одностороннем порядке.

# ШПИОНАЖ

Как бы рассуждая вслух, президент высказал предположение: не стоит ли сделать на саммите очень простое заявление. Например, все знают, что шпионаж существовал всегда. Поэтому требование русских, чтобы мы отказались от шпионажа, зная, что мы сами жертвы их шпионажа, совершенно неприемлемо. При подходящих обстоятельствах он был бы готов объявить об отказе от дальнейших полетов У-2 в Россию.

В 16.30 Хрущев прибыл в резиденцию британского посла в Париже для встречи с Макмилланом. Как записал в своем дневнике премьер-министр, Хрущев в резких выражениях критиковал США, президента Эйзенхауэра, Пентагон, реакционные круги вообще. Он сказал, что его друг (с горечью снова и снова повторял эти слова Хрущев), его друг Эйзенхауэр предал его.

Как и де Голлю, Хрущев зачитал английскому премьеру шестистраничное заявление. Ситуация, в которую США поставили своими действиями Советский Союз, сказал он, исключает возможность нашего участия в саммите, если США не откажутся от объявленного ими намерения направлять свои самолеты в воздушное пространство Советского Союза.

Потом состоялся следующий диалог:

Макмилла: Входит ли в ваши намерения встреча с президентом Эйзенхауэром, чтобы поговорить по этому вопросу?

Хрущев: Если Эйзенхауэр проявит интерес к такой встрече, я готов встретиться с ним.

Макмиллан: Не делали ли вы аналогичное заявление Эйзенхауэру?

Хрущев: Я не имел с ним встречи и потому не делал ему такого заявления. Если встречу, то обязательно сделаю это. Наши действия — это естественная защитная реакция. Помню, еще в далеком детстве мы с мальчишками ловили птичек. Поймаешь воробья, держишь в руке, а он клюнуть норовит — защищается.

Макмиллан: Надо искать пути к преодолению возникших трудностей, чтобы приступить к работе.

К концу дня обстановка в Париже стала накаляться. В шесть часов вечера тройка западных лидеров снова собралась в Елисейском дворце, чтобы решить главный вопрос — что делать завтра, когда встретятся главы четырех великих держав.

Эйзенхауэр стал жаловаться, что Хрущев передал свой ультиматум не ему, а де Голлю и Макмиллану, но претензии предъявляет Соединенным Штатам. Почему он не обращается прямо к президенту?

— Конечно, — говорил президент, — история с У-2 страдает отсутствием вкуса и можно не соглашаться с тем, как она проводилась. Но я решился на этот шаг, потому что у США были трудности с разведанными. Но ни при каких обстоятельствах я не приду на встречу завтра с поднятыми руками и не стану клясться, что никогда больше мы не будем заниматься шпионажем. Я не собираюсь связывать руки правительству Соединенных Штатов на вечные времена ради единственной цели — спасения этой конференции.

Что же делать?

Макмиллан сказал, что положение требует предпринять что-нибудь для снятия напряженности. Возможно, Хрущев так непреклонен потому, что сам связан по рукам ястребами в Кремле. Тут все согласились, что его заявление, переданное де Голлю и Макмиллану, по всей видимости, было тщательно подготовлено в Москве. Но зачем тогда Хрущев вообще приехал в Париж?

Теперь беседа сконцентрировалась на том, что дол-

жен ответить Эйзенхауэр Хрущеву, если тот выступит утром с резким и агрессивным заявлением. Де Голль пожал плечами и бросил:

— Скажите ему — все занимаются шпионажем, и они в Советском Союзе тоже. Разумеется, вы не можете извиниться, но должны решить, как собираетесь уладить это дело. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть полезным, но не смогу открыто занять вашу сторону.

После долгой дискуссии все согласились, что поскольку обвинения Хрущева направлены против США, то председатель (президент де Голль) завтра утром начнет заседание с того, что предоставит слово Эйзенхауэру.

В общем, как записал Макмиллан в своем дневнике: «Французская точка зрения цинична, хотя и логична: с конференцией покончено. Американцы испытывают некоторые надежды и думают, что со стороны русских это в основном угрозы. Англичане считают, что конференция может быть спасена, если президент займет разумную линию и возьмет на себя обязательство не проводить больше полетов У-2».

Вечер 15 мая был тревожным. Хрущев ужинал в посольстве в окружении своей преданной свиты. Он все еще ждал, что Эйзенхауэр позвонит ему и предложит встречу. Но время клонилось к ночи, а звонка не было. Теперь Никиту Сергеевича интересовало только одно, что делают его «друзья» — Эйзенхауэр, Макмиллан и де Голль. Поэтому и дипломаты, и разведчики, как гончие псы, рыскали по Парижу. Конечно, они засекли все передвижения западных лидеров и их встречу в Елисейском дворце. Это было не такое уж трудное дело, о ней говорил весь Париж. Но вот что там обсуждалось и о чем договорились?

То ли у наших служб были хорошие контакты во французской столице, то ли логическим путем вычислили они возможные позиции западных лидеров, что в общем было не так уж сложно сделать, только информация, которую они докладывали Хрущеву, действительно была близка к тому, что происходило в Елисей-

ском дворце и на рю де Иена. Поэтому Хрущев мрачнел и все больше укреплялся во мнении устроить завтра Западу форменный разнос.

Неожиданно предложил:

— А чтобы попутать их, давайте отодвинем на час начало завтрашней встречи. И шептаться мне с ними с глазу на глаз не о чем. Пусть вместе со мной поедут во дворец Малиновский и Громыко.

А в это время — было уже 8 часов 20 минут вечера — Эйзенхауэр спустился вниз в роскошные представительские помещения американского посла, который давал обед в его честь. Президент был в смокинге, и по его желанию все гости тоже надели этот, по выражению Хрущева, буржуазный наряд, а дамы — длинные вечерние платья. На обеде присутствовал и британский премьер Макмиллан. Ожидалось, что после обеда они уединятся и вдвоем еще раз попытаются найти выход из тупика. Но в 10 часов 15 минут президент сказал, что уже поздно, и пошел спать.

После полуночи команда из Парижа подняла американские вооруженные силы по боевой тревоге. По всему миру солдаты, моряки и летчики заняли свои боевые места. Объявление по обычному радио вблизи базы ВВС в местечке Лоури (штат Денвер) перепугало население: «Всем боевым летчикам Ф-101 и боевым летчикам Ф-102 — тревога третьей ступени! Горячий пирог-1 и горячий пирог-6 — собраты в Лоури немедленно».

В Вашингтоне репортеры пытались узнать, что случилось: не хотят ли генералы захватить власть, пока президент в Париже? А может быть, конфликт между Эйзенхауэром и Хрущевым поставил мир на грань войны? Будучи неподготовленным, пресс-бюро Пентагона не могло сказать ничего вразумительного.

Только позднее было объявлено, что проводятся военные учения. «Выбор времени для учения по замыслу был в том же ключе, что и посылка У-2 на его гиблую миссию за две недели до саммита», — писал Уолтер Липпман. И он был прав — здравым смыслом здесь не пахло.

16 мая, понедельник. Практически все главные ге-

рои этой драмы встали довольно рано в тот понедельник.

В 7.30 утра Хрущев в сопровождении посла Виноградова вышел из ворот посольства. С ним — только несколько охранников и кучка обеспокоенных французских жандармов. По улице Гренель они повернули к Сене. Никите Сергеевичу захотелось лично посмотреть, как живут французы и что продают в магазинах. Но так, чтобы без обмана и показухи, — сам хорошо знал, какие потемкинские деревни выстраиваются к приезду высокого гостя. А французы не обращали на советского премьера никакого внимания. В многочисленных кафе, которые попадались ему на пути, они не спеша пили кофе с круасанами. Многие спешили по своим делам.

Но вот небольшой супермаркет. Сюда — показал рукой Хрущев. Он вошел в магазин и громко сказал:

— Доброе утро, дамы и господа.

Потом прошелся вдоль полок, которые ломились от товаров. Покупателей было совсем мало, и очереди никакой.

— Зато цены высокие, — буркнул Хрущев.

Он вышел из магазина, потрепал отечески по голове попавшуюся под руку студентку и обратился к рабочему, копавшемуся в бетономешалке:

— Как жизнь?

Тот покосился на него и пробормотал нечто невразумительное, вроде того: шел бы ты своей дорогой и не мешал. Но Хрущеву перевели совсем другое.

Через сорок минут, довольный собой, он вернулся в посольство. За завтраком ему доложили, о чем пишут газеты. Прежде всего, разумеется, коммунистические, которые поддерживали твердую антиимпериалистическую позицию Советского Союза. А резидент КГБ шепнул Хрущеву, что английский премьер в восемь часов утра встретился с Эйзенхауэром.

Так оно и было. Макмиллан плохо спал в ту ночь и действительно появился в американской резиденции в восемь часов утра. Вдвоем с президентом они сели завтракать в маленькой столовой на верхнем этаже. В своем дневнике премьер записал: «Двое слуг-французов в

перчатках подали набор совершенно невероятных блюд. Президент попробовал немного корнфлекса и (я думаю) несколько фигов, затем съел бифштекс и желе. Судьба была ко мне благосклонна, и я получил вареное яйцо».

За завтраком Эйзенхауэр сказал, что США не будут больше посылать свои самолеты-разведчики в Россию: очень скоро их функции смогут выполнять космические спутники.

Макмиллану такой поворот дела понравился. По его мнению, Хрушев больше всего был раздражен американскими заявлениями о намерении продолжать полеты У-2. Он полагал, что прояснение этой ситуации может оказаться чрезвычайно полезной в предстоящих дискуссиях с Хрущевым.

Тем не менее британскому премьеру показалось, что Эйзенхауэр пребывал в «депрессии и неопределенности». Он попробовал взбодрить его заверениями, что Англия не оставит Америку в беде, и они и дальше будут действовать вместе. «При этом слабый Эйзенхауэр, по-видимому, воспрянул духом, но все еще не знал, что делать».

Тут-то им и принесли первую плохую весть: Хрушев хочет, чтобы заседание началось в одиннадцать часов, а не в десять, как договаривались ранее. К тому же, это не будет встречей четырех лидеров с глазу на глаз в присутствии только переводчиков, Хрушев сообщал, что с ним приедут два советника. Из этого американский президент и британский премьер сделали совершенно правильный вывод: Хрушев намерен при свидетелях из своей свиты выдвинуть жесткие требования, которые позволят ему сообщить в Москву, что действовал он твердо и решительно.

После этого они принялись за проект заявления Эйзенхауэра при открытии встречи в верхах. Макмиллан прочитал его и посчитал слишком жестким. К тому же из него не было ясно, отказываются американцы от полетов над Советским Союзом или нет.

Начался спор. Постепенно комнату заполнили помощники Эйзенхауэра, которые тоже склонялись к мнению британского премьера. Президент, как вспо-

минает его сын, хотя и внимательно прислушивался ко всем высказанным идеям, но толку от этого, видимо, было мало. Макмиллан записал: «Была большая сумятица и небольшое разочарование. Я чувствовал, что американцы в сильном замешательстве. Однако в конце концов нужная фраза была согласована». Звучала она теперь так: «После недавнего инцидента эти полеты прекращены, и их не имеется в виду возобновлять». Довольный Макмиллан удалился.

Перед отъездом в Елисейский дворец в 10.30 Гертер направил в Вашингтон на имя Дилона следующую телеграмму: «Нарастающая информация свидетельствует о намерении Советского Союза, используя инцидент с У-2, сорвать конференцию сразу же по ее открытии. Пожалуйста, информируйте вице-президента. Сегодняшнее утреннее заседание, которое по требованию Хрущева превращено во встречу трех советников с каждой из сторон, а не одних глав с переводчиками, как планировалось, должно стать решающим».

В Елисейский дворец Хрущев приехал первым. По роскошной мраморной лестнице де Голль провел его в небольшую зеленую залу с золотистыми узорами. В ней Людовик XV давал когда-то интимные обеды своей любовнице маркизе де Помпадур. Пока президент Франции встречал других гостей, Хрущев чувствовал, что гнев его «нарастает внутри, как электрический заряд, который может в любой момент разрядиться огромной вспышкой».

Несколько минут спустя де Голль ввел англичан. Макмиллан и Хрущев пожали друг другу руки. Еще три минуты спустя появились американцы. Эйзенхауэр поздоровался с англичанами и французами. Как вспоминает Громыко, «он сделал было движение от своего места, чтобы направиться к главе советского правительства, но, встретив его холодный, я бы сказал, леденящий взгляд, все понял и остановился». Рукопожатие не состоялось. Президент только кивнул Хрущеву.

Без суеты и шуток, которые обычно предшествуют началу встреч великих мира сего, все молча и чинно разместились за столом, в центре которого стояли изящные золотые часы. В 11.01 двери за президентом Франции мягко затворились, и он торжественно произнес:

— Мы собрались на совещание, которое называется совещанием в верхах. Должен сказать, что вчера вечером один из его участников, а именно господин Хру-

щев сделал мне устное заявление, содержание которого я сообщил другим участникам: президенту Эйзенхауэру и премьер-министру Макмиллану. Таким образом, все в курсе дела. Хочет ли кто взять слово?

Здесь и далее заявления участников цитируются по советской протокольной записи совещания, которую вели Юрий Дубинин, Виктор Суходрев и Надежда Гаврилова.

Это было краткое, но хорошо продуманное заявление. Оно точно направляло совещание в то русло, которое наметили прошлым вечером руководители трех западных держав. Казалось бы, что после этого Хрущеву, по сути дела, говорить уже было не о чем, и слово практически передавалось американскому президенту. Но Хрущева было не так-то просто провести.

— Я бы хотел сделать заявление, — выкрикнул он.

— Я тоже хотел бы сделать заявление, — вслед за ним сказал Эйзенхауэр.

Де Голль решил выдержать намеченный курс:

— Может быть, заслушаем то, что скажет президент?

Хрущев горячо возразил:

— Нет, я первым попросил слова и прошу удовлетворить мою просьбу в первую очередь.

Де Голль удивленно поднял брови и посмотрел на Эйзенхауэра. Тот только пожал плечами. А Хрущев уже надел очки без оправы и начал говорить горячо и гневно. Как отметили потом американцы, его левая бровь дергалась, и рука, державшая бумагу, дрожала. В течение сорока пяти минут он читал, прерываясь только для того, чтобы отпить несколько глотков из стакана и дать возможность переводчикам перевести текст.

Все было хорошо известно в его заявлении: и решительное осуждение шпионских полетов, и коварство американцев, и вынужденное признание Эйзенхауэра, что полеты над «советской территорией были и будут оставаться рассчитанной политикой Соединенных Штатов...».

Интересно было наблюдать за участниками этого шоу. Громыко сидел с угрюмой маской на лице, уста-

вившись в одну точку. Ни один мускул не дрогнул на его каменной физиономии. Зато Малиновский довольно улыбался и согласно кивал своей большой головой в такт гневным тирадам Хрущева. Пятьдесят четыре ордена и медали на его широкой груди, обтянутой маршалским мундиром, тоже, казалось, одобрительно побрякивали. Среди них был и американский орден «За заслуги».

Эйзенхауэр стиснул зубы. Его лысая голова и шея покрылись красными пятнами. Гертеру он написал записочку: «Я собираюсь снова начать курить» (он бросил курить десять лет назад). Болен прошипел: «Мы не можем спокойно сидеть и слушать все это». Выражение растерянности на лице Макмиллана сменилось отчаянием. Лишь де Голль всем своим видом выказывал вежливую скуку. Когда Хрущев слишком повысил голос, он сказал:

— В этой комнате прекрасная акустика. Мы все хорошо слышим председателя.

Хрущев только глянул на него и продолжал читать условия своего ультиматума Соединенным Штатам:

— «Осудить провокационные действия своих военно-воздушных сил; привлечь к строгой ответственности виновных; отказаться от проведения полетов над советской территорией в будущем.

— Без этого, — яростно говорил Хрущев, — мы не можем работать на совещании. Пусть те, на кого возложена ответственность за определение политического курса США, проанализируют, какую они взяли на себя ответственность, объявив агрессивный курс в отношениях с Советским Союзом. Поэтому мы считаем, что нет лучшего выхода, как перенести совещание глав примерно на шесть—восемь месяцев. Кроме того, сейчас следует отложить поездку президента США в Советский Союз и договориться о сроках этого визита, когда созреют условия...

Хрущев кончил читать. В зале царила мертвая тишина. Слышно было только тиканье золотых часов, стоящих в центре стола.

В отличие от Хрущева, Эйзенхауэр говорил спокойно, хотя гнев, видимо, переполнял и его. Гертер по-

ложил перед ним записку: «Не давайте Хрущеву вас прерывать, как бы он ни пытался».

— Премьера Хрущева дезинформировали, — сказал Эйзенхауэр. — После недавнего инцидента эти облеты были прекращены и не будут возобновлены. Мы готовы либо прекратить обсуждение этого вопроса, либо приступить к двусторонним переговорам между США и СССР одновременно с продолжением работы данного совещания. Я приехал в Париж искать согласия с Советским Союзом, чтобы устранить необходимость всех форм шпионажа, включая облеты. Я не вижу оснований использовать этот инцидент для срыва совещания в верхах. Если окажется невозможным договориться об этом здесь, в Париже, из-за позиции Советского Союза, я планирую в ближайшем будущем представить в ООН предложения о создании воздушного наблюдения ООН для обнаружения подготовки к нападению.

Речь Эйзенхауэра была умеренной, а его заявление о прекращении полетов над территорией Советского Союза шло навстречу Хрущеву. Кроме того, он предлагал провести двусторонний обмен мнениями, что можно было расценить и как готовность к дальнейшим уступкам. В другое время Хрущев непременно ухватился бы за такое заявление, но теперь все пути к маневрированию были ему отрезаны еще в Кремле, где с великим подозрением наблюдали, как ведет себя премьер в Париже.

Макмиллан попытался сыграть роль примирителя.

— Главная озабоченность господина Хрущева, — мягким голосом начал он, — это вторжение с воздуха на его территорию. Только что передо мною президент США объявил: облеты не будут возобновлены. Таким образом, инцидент исчерпан. Я рад, что господин Хрущев предложил не отменить, а только перенести совещание в верхах. Однако я хотел бы сказать ему, что, как гласит французская поговорка, — что отложено, то потеряно...

Де Голль выступил в ином ключе. Он был резок. По его мнению, поведение Хрущева означало одно — шантаж. Но в политике нельзя поддаваться шантажу. Встав раз на этот путь, уже не остановишься, — сама

логика уступок под давлением угроз будет подсказывать следующий шаг в этом направлении.

После этого французский президент обратился непосредственно к Хрущеву:

— Инцидент произошел первого мая. Сегодня шестнадцатое мая. Разве не было возможности за это время поставить вопрос так, как он был поставлен сейчас? После того как У-2 был сбит, я послал моего посла к вам спросить, должна ли эта встреча состояться или ее следует отложить. Вы сказали моему послу, что эта конференция должна состояться и она будет полезной. Вы собрали здесь господина Макмиллана, который прилетел из Лондона, генерала Эйзенхауэра из США и причинили мне много неудобств в организации встречи, которую ваша неуступчивость делает невозможной... Что касается облетов, то, проводятся они самолетами, ракетами или спутниками, — дело, конечно, серьезное. Они повышают напряженность. Поэтому мы должны изучить этот вопрос в надлежащих рамках — то есть разоружения и разрядки международной напряженности. Срыв конференции из-за этого мелкого инцидента не послужит интересам человечества. Я предлагаю перерыв на один день.

Теперь все смотрели на Хрущева — что он скажет? Позиция Запада давала возможность для маневра: ему был обещан пряник, но и показан кнут.

Однако, нужно повторить, у Хрущева поля для маневра не было, он все время чувствовал за своей спиной Кремль.

— Эйзенхауэр не извинился за свой агрессивный акт, — набычившись, заявил он. — Из выступления президента не понятно, будут остановлены полеты навсегда или только на время этого совещания? Если речь идет о недоразумении и США пересмотрят свою политику, то пусть они заявят об этом во всеуслышание перед всем миром. А то угрожают громогласно, а о прекращении полетов говорят в небольшом зале. Причем в словах президента нет ни осуждения, ни сожаления, хотя нашей стране нанесено оскорбление. Что касается высказывания Эйзенхауэра о двусторонней встрече, то

это хорошая идея. Но я, признаться, скептически отношусь к этому предложению потому, что на той платформе, о которой говорил президент, нельзя прийти к взаимоприемлемому двустороннему соглашению или пониманию. Если правительство США не заявит публично, что оно не будет проводить более шпионских полетов над нашей страной, то мы не сможем участвовать в работе совещания.

Президент говорил здесь об «открытом небе». Я слышал от него об этом еще в 1955 году в Женеве. Мы заявили тогда, что мы — против, и я могу повторить это сейчас: мы никому не разрешим, повторяю — никому, нарушать наш суверенитет. Каждое правительство должно быть хозяином в собственном доме...

Тут де Голль не выдержал и вмешался, риторика Хрущева вывела его из себя:

— Спутник, который вы вчера запустили для того, чтобы произвести на нас впечатление, облетел небо Франции без моего разрешения восемнадцать раз. Откуда я знаю, что вы не поставили на нем камеры, которые производят фотосъемки моей страны?

Хрущев: Наш последний спутник не имеет камер.

Де Голль: Хорошо, а как тогда вы сделали те фотографии обратной стороны Луны, которые показывали нам с такой оправданной гордостью?

Хрущев: На том спутнике были камеры.

Де Голль: Ах, на том были. Умоляю, продолжайте...

— Идея перерыва, — сказал Хрущев голосом на тон ниже прежнего, — хорошая идея. Его можно было бы сделать на несколько часов или на несколько дней. Мы могли бы использовать это время для размышления и немного поостыть. В Париже много тенистых каштанов. Под ними можно посидеть, подумать, и что-нибудь путное появится.

А затем, вдруг прямо обращаясь к Эйзенхауэру и снова почти срываясь на крик:

— Я не знаю, допустимо ли здесь такое выражение, но мне хочется спросить: какой черт толкнул кое-кого из вас на провокацию против нашей страны, особенно накануне совещания? Если бы этого не произошло, мы встретились бы в спокойной обстановке.

Для вящей убедительности — то ли искренне, то ли играя — Хрущев воздел руки к небу:

— Бог мне свидетель. Я приехал с чистыми руками и чистой душой!

Это был, пожалуй, самый драматический момент на встрече, и теперь уже де Голль понял, что надо спасать положение.

— Много дьяволов в этом мире, — умиротворяюще произнес он. — Задача нашего совещания — изгнать их. Я положительно отношусь к идее двусторонних контактов. Может быть, собраться завтра? Посмотрим, как будут обстоять дела. Тем временем делегации установят между собой контакты. Я готов помогать этому, а пока, думаю, не следует публиковать официальных заявлений в печати о том, что происходит на совещании.

Настал черед Эйзенхауэра. Когда Хрущев произнес свою тираду, он едва не задохнулся от гнева. Но примирительное вмешательство де Голля позволило ему немного остыть.

— Согласен, — сказал президент. — Но я не могу говорить за своих преемников...

Хрущев (перебивая его): Я тоже не вечен...

Эйзенхауэр: Полеты не будут проводиться не только в течение этого совещания, но и во время всего срока моего президентства.

Хрущев: Для нас этого недостаточно. В заявлении правительства США нет упоминания об осуждении или даже сожалении за оскорбление, которое было нам нанесено. Поэтому мы вынуждены опубликовать наше заявление в печати. Иначе советские люди будут думать, что США заставили Советский Союз встать на колени, когда мы приехали в Париж. Мы не хотим ухудшать отношения. Но поймите, что наша внутренняя политика требует этого. Это — долг чести.

Гертер: Что имеется в виду — опубликовать и ту часть заявления Хрущева, где говорится об отмене визита Эйзенхауэра в Советский Союз?

Хрущев: Да, все заявление? Как я могу пригласить в качестве дорогого гостя лидера страны, которая совершила агрессивный акт против нас? Даже мой маленький

внук спросит дедушку: разве мы можем приветствовать как почетного гостя того, кто посылает летать над нами свои шпионские самолеты?

Макмиллан: Пусть Хрущев опубликует заявление, которое он передал де Голлю, — там не говорится об отмене визита Эйзенхауэра. Или же соответствующим образом усеченную часть своего сегодняшнего заявления.

Хрущев: Не могу. Советский народ должен знать правду.

Макмиллан: Было бы желательно зафиксировать время завтрашней встречи. Иначе пресса может подумать, что конференция сорвана.

Де Голль: Завтрашнее заседание состоится в одиннадцать часов.

Хрущев: Совещание еще не началось. Мы рассматриваем сегодняшнюю встречу как предварительную. Я заявил, что не буду участвовать в совещании до тех пор, пока США не снимут свою угрозу публично.

Де Голль: Если завтра будет заседание, оно состоится в одиннадцать часов.

На этом трехчасовая встреча в Париже глав четырех великих держав окончилась. Величественный де Голль молча проводил Хрущева во двор, где стояли машины советской делегации. Хрущев хлопнул по плечу охранника, распахнувшего перед ним дверь бронированного ЗИЛа, и громко, чтобы все слышали, сказал:

— Только у меня красное лицо. У Эйзенхауэра оно белое. А у Макмиллана оно вообще бесцветное.

И уехал.

А наверху в Зеленой гостиной осталась тройка руководителей западных держав. По мнению де Голля, с которым согласился Макмиллан, Хрущев скорее выглядел учеником, повторяющим заданный урок, чем деятелем, отстаивающим собственные взгляды и убеждения. Но Эйзенхауэр был взбешен и не скрывал этого:

— Какого еще извинения хочет этот человек?

Де Голль по-отечески взял его за руку.

— Я не знаю, что Хрущев собирается предпринять и что произойдет, но я хочу, чтобы вы знали — с вами я до конца.

Эйзенхауэр был тронут. Нужно было случиться кризису, чтобы де Голль изменил своему обычаю подчеркивать независимость. Покидая Елисейский дворец, президент сказал полковнику Уолтерсу:

— А этот де Голль оказался настоящим мужчиной.

Вернулся в посольство Хрущев в большом возбуждении. Глаза его сверкали: врезал империалистам так, что не скоро теперь очухаются. Вокруг него собралась вся делегация с советниками и экспертами, которые не без доли фальши поздравляли его с победой. Но те, кто хорошо знали Хрущева, помалкивали. В этом состоянии он легко поддавался неконтролируемому гневу, и любое слово, пусть даже ему во хвалу, мог истолковать так, что потом не поздоровится.

На этот раз пронесло. Широким жестом Никита Сергеевич пригласил всех обедать. Приказал подать водку и коньяк. Налил себе полстакана водки и произнес тост:

— За советскую дипломатию ленинской выучки, которая била, бьет и будет бить империалистов. — И, смачно выпив, заметил: — Мы думали — это очень сложно заниматься дипломатией, а оказалось, что совсем просто. Ну-ка, Андрей, подтверди.

Громыко начал долго говорить, что буржуазия специально окутывает дипломатическую деятельность ореолом избранности и недоступности, чтобы обмануть трудящихся, скрыть от них правду. Поэтому ленинская дипломатия строится на совершенно иных принципах. Чтобы быть дипломатом, надо прежде всего освоить теорию и искусство марксизма-ленинизма.

— Ладно, — прервал его Хрущев. — Дипломаты у них хорошие — не чета нашим. — И он прошелся недобрый взглядом по своей дипломатической рати, как-то разом поскучевшей. — Давайте лучше посмотрим, где мы очутились и что нам дальше делать. Отказ от дальнейших шпионских полетов мы у них вырвали. Это наша победа. Если мы теперь опубликуем наше заявление, то и американцам придется опубликовать свой ответ. В молчанку им здесь не сыграть. А если упираться станут, то мы их подтолкнем к этому и сами все опубликуем. Печать у нас боевая.

Тут его монолог прервал Малиновский:

— Никита Сергеевич, американский президент говорил не об отказе, а о приостановке шпионских полетов. Через полгода его сменят, а что тогда — начинать все сначала? И извинений он нам не принес, а о том, чтобы наказать виновных, и речи нет. В общем, задачу, поставленную нам Президиумом, мы пока не выполнили.

Громыко попробовал вернуть разговор в прежнее русло:

— Это правильно, Родион Яковлевич. Признание Эйзенхауэра — скорее, полупризнание. Но ведь в дипломатии все происходит не так, как в танковом наступлении, — здесь все строится на полутонах. Заявление об отказе от полетов, сделанное даже в такой неполной форме, — важное достижение. Теперь, отталкиваясь от него, нам нужно расширить занятый плацдарм и добиваться дальнейших уступок от Эйзенхауэра. Тем более что он сам предложил начать двусторонние переговоры — значит, есть у него что-то еще за душой, где он может уступить...

Не угадал Громыко настроений Хозяина. Косо посмотрел на него Хрушев и бросил:

— Прав Родион. Это — не признание, и даже не полупризнание, а самая настоящая увертка от признания. Нас такое заявление удовлетворить не может. Прислужников империализма, может быть, оно и удовлетворит. Империалисты привыкли делать так, как поступали в старину русские купцы: мазали лакеям губы горчицей, а те говорили им спасибо и низко кланялись. Но мы с оскорблением мириться не будем, у нас есть гордость и достоинство. Думаю, нам спешить некуда — день еще большой. Да и завтрашний тоже. Сегодня мы всю вину свалили на американцев. Теперь ответ за ними. Если есть у них что за душой, как-нибудь на Божий свет выплывет. Если не сами принесут, то через Макмиллана передадут. Он сегодня уж очень убивался, что встреча ко дну идет. А если американцы с повинной не придут — этому совещанию не бывать. Вот наша тактика — она же и стратегия.

После этого Никита Сергеевич заявил, что пойдет соснуть часок.

А в это время в особняке американского посла на улице Иена происходили следующие события. Подъехала вереница машин, и взбешенный президент буквально ворвался в дом с криком:

— Можно подумать, что это мы виноваты в том, что произошло в Венгрии!

Видимо, спало напряжение трехчасовых переговоров, и он дал теперь волю чувствам. Обычно спокойный и доброжелательный, Эйзенхауэр бежал вверх по лестнице и выкрикивал:

— Я сыт по горло! Я сыт по горло!

Больше всего его возмущало бесстыдство и притворство Хрущева.

— Да он просто сукин сын, — причитал президент. — Приехал в Париж с позицией бескомпромиссной и оскорбительной для Соединенных Штатов только для того, чтобы произвести впечатление в Кремле... Что? Хрущев берет назад приглашение приехать в Россию? Прекрасно! Это только освобождает меня от хлопот самому отклонить это приглашение.

Болен напомнил Эйзенхауэру, что русские собираются опубликовать заявление Хрущева, и президент поручил ему и Хеггерти написать американский проект. После ланча, прошедшего в мрачной обстановке, Эйзенхауэр просмотрел это заявление и поднялся наверх поспать.

Этим вечером он пригласил на коктейль де Голля и Макмиллана, чтобы обсудить положение и наметить общую линию. Но Кув де Мюрвиль посчитал, что эта встреча будет выглядеть как антихрущевский заговор, и де Голь не приехал. Видимо, своенравный генерал после заверений о дружбе с Америкой решил все-таки сохранить видимость нейтралитета.

В 18.30 Эйзенхауэр надел смокинг и спустился вниз. Гости еще не собрались. Он прошелся по приемным залам и вышел в небольшой сад, где оставался, пока не приехал Макмиллан. Британский премьер рассказал, что был у де Голля, который считает, что Москва решила сорвать саммит и надежды на его спасение нет.

В дневнике Макмиллан запишет: «Эйзенхауэр успокоился, но осуждал Хрущева в весьма сильных выражениях. Он не видел, что еще можно сделать... Ему просто невозможно осудить акцию, на которую сам дал разрешение. Требование о наказании абсурдно. Что еще можно сделать? Я сказал, что, возможно, он мог бы сказать, что «сожалеет», или, что предпочтительней, принесет формальное дипломатическое извинение. Но, как оказалось, я не смог убедить Эйзенхауэра. Его окружение (включая Гертера) определенно считало, что он должен был реагировать более решительно или даже сам уйти с переговоров. Это ужасно, когда президента оскорбляют подобным образом».

Уже в десятом часу Макмиллан откланялся и поехал на улицу Гренель, чтобы поговорить с Хрущевым. Он еще не терял надежды хоть как-то уладить разразившийся скандал.

После его отъезда президент пригласил гостей на обед, и они разговаривали почти до полуночи. Кто-то предложил: пусть Эйзенхауэр пойдет завтра играть в гольф, дабы показать всему миру, что у него не сдали нервы после скандала, устроенного Хрущевым. Но идея с гольфом не прошла: и так слишком много говорят, что президент играет в гольф, вместо того чтобы принимать важные решения.

Хрущев проснулся, и ему сразу доложили: просится Макмиллан. Так и сказали — «просится». Никита Сергеевич довольно ухмыльнулся и сказал:

— Ага, значит, не выдержали нервы у нашего лорда. Что ж, послушаем, что скажет.

В ожидании британского премьера он прочитал подготовленную помощниками информацию для Президиума о встрече «большой четверки» и велел немедленно направить ее в Москву. Потом оба резидента спецслужб по очереди доложили ему, что вчера ночью в Соединенных Штатах была объявлена боевая тревога. По всему миру, в том числе и в Европе, американские войска приведены в боевую готовность.

Хрущев отреагировал на это спокойно:

— Совсем с ума посходили в Вашингтоне или теперь

уже в Париже — не знаю даже где. Надо же так самих себя пугать. — А потом, толкнув в бок Малиновского: — Слышь, Родя, а может быть, у них военные власть берут? Сначала шпионский самолет послали. Теперь милитаристские страсти нагоняют. В общем, в Вашингтоне правит бал военщина. Так и в печать надо будет запустить.

В 9.30 приехал Макмиллан. Он был не один: с ним в комнату для переговоров прошли английский посол в Москве Райли и оба помощника — Зауетта и Бишоп.

— Вчера вы посетили меня, господин Хрущев, — начал издалека британский премьер. — А сегодня я решил нанести вам ответный визит и поговорить. Из наших бесед в Москве и вчерашнего заявления я вижу, что вы понимаете необходимость урегулирования международных проблем. Сегодня вы и президент США сделали публичные заявления. Но разве после этого мы не можем сесть за стол переговоров? Мы поработали бы здесь три-четыре дня, наметили проблемы и создали рабочие органы. А через шесть-восемь месяцев встретимся снова и посмотри, что сделано. Прошу как друга не будем доводить дело до разрыва... Прошу как руководителя великого государства: давайте спокойно и достойным образом перейдем к работе.

Хрущев: 9 апреля американский самолет летел над Аральским морем. Наши военные прозевали его, и мы с маршалом Малиновским кое-кого вздрючили.

Первого мая Малиновский разбудил меня телефонным звонком. Он сообщил, что иностранный самолет вторгся в пределы Советского Союза и находится под наблюдением. Как быть? — спросил он. Я ответил, что самолет надо сбить.

Я построил свой доклад на сессии Верховного Совета так, чтобы не раскрывать фактов и запутать американцев. Вы спросите почему? Потому что я не верю Эйзенхауэру. Вот вы выражаете сожаление, а он не говорит о сожалении. Вместо этого повторяет предложение об «открытом небе», заявляет: я внесу это предложение в ООН. Я сделаю то. Я сделаю другое. Что он якает! Это ему не Вашингтон!

Мы согласны побыть еще один, два, три дня в Париже. Но если со стороны американцев не будет извинения, мы уедем. Он должен осудить эти полеты, отменить их и не предпринимать в будущем.

Макмиллан: Две ваши просьбы — отмена полетов и запрет на их проведение в будущем — Эйзенхауэр уже выполнил, причем сделал это публично. Но разве он может осудить сам себя?

На этом распрощались. «Хрущев был вежлив, но не уступчив, — записал потом в своем дневнике Макмиллан. — Присутствовали маршал (молчаливый, неподвижный, почти даже не мигающий) и Громыко (тоже молчаливый), а также другие члены хрущевского антуража».

Покидая посольство, британский премьер пробормотал:

— Русские, может, и знают, как делать спутники, но они определенно не знают, как шить брюки.

# САММИТА НЕ БУДЕТ

17 мая, вторник. Рабочий день в посольстве на улице Гренель начался с завтрака, на который Хрущев пригласил руководителей французской коммунистической партии Мориса Тореза и Жанетту Вермерш. Встреча эта носила не деловой, а, скорее, ритуальный характер. Поэтому, наскоро позавтракав, Никита Сергеевич вернулся в кабинет посла, где уже собралась делегация.

— Ну, что происходит? — с нетерпением спросил Хрущев.

Ему доложили, что вся иностранная печать в один голос пишет, что советский премьер сорвал саммит в Париже. «Нью-Йорк таймс», например, вышла с большим заголовком на первой полосе: «Столкновение между СССР и США сорвало переговоры на высшем уровне. Хрущев отменил визит Эйзенхауэра. Президент сообщил, что со шпионскими полетами У-2 покончено».

По телефону из Москвы сообщили, что «Правда» и «Известия» публикуют материалы о митингах, которые проходят в эти дни по всей стране. На них трудящиеся клеймят позором агрессивную политику американского президента и заявляют, что его приезд в Советский Союз нужно отменить. «Литературная газета» опубликовала открытое письмо Михаила Шолохова и других видных советских писателей, которые осуждают шпионские полеты США. Вечером московское теле-

видение показало документальный фильм о зверствах американских империалистов в Корее. Снова началось глушение «Голоса Америки» и других вражеских голосов, которое было приостановлено после кэмп-дэвидской встречи.

Хрущев удовлетворенно кивал: все идет как надо.

— А что слышно в Париже?

Резидент КГБ, как бы стесняясь, сообщил: по городу распространяется слух, что вчерашнее заявление президента США, отменившего шпионские полеты, практически сняло препятствие к открытию саммита. Дело теперь за чистой формальностью. Сегодня, очевидно, состоится телефонный разговор между советским премьером и американским президентом, в ходе которого Эйзенхауэр выразит свое сожаление.

Хрущев сразу посуровел:

— Кто распустил этот слух?

— Мы не располагаем пока достоверной информацией...

Кто-то из дипломатов предположил, что едва ли это сделали американцы. Скорее, это дело рук англичан или французов, которые забрасывают такую приманку и нам, и американцам.

— Нет, — твердо сказал Хрущев, — мелко берешь. Тут явно видна волосатая лапа хозяина — американских спецслужб. Это они кашу заваривают. А зачем нам нужны их извинения? Разве после того, что произошло, можно о чем-либо договориться? Даже этот карась-идеалист Макмиллан, который у нас вчера плакался, и тот понимает, что все надо начинать сначала.

Потом, после некоторого раздумья, спросил:

— А что, болтаются где-нибудь поблизости иностранные журналисты?

Ему доложили, что стоят у ворот человек десять.

— Сейчас я им все разобъясню.

Хрущев вышел за ворота посольства — на часах было примерно половина десятого. Журналисты сразу же бросились к нему. Он остановился, широко улыбаясь, так, что сверкнули нержавеющей сталью его зубы, и громко произнес:

— Если президент Эйзенхауэр не принесет мне извинений и не признает, что Соединенные Штаты совершили агрессивный акт против Советского Союза, я возвращаюсь домой.

И показал рукой, как взлетает самолет.

— Все, господа. Гуд бай!

Довольный собой, он смотрел, как дружно бросились иностранные корреспонденты к ближайшим телефонам, чтобы сообщить в редакции эту сенсационную новость.

Вернувшись в кабинет, Никита Сергеевич сказал:

— Слушай, Родион, а не поехать ли нам с тобой погулять. Пусть Эйзенхауэр мне звонит, а меня нет. Вот попрыгает «май френд»! А на хозяйстве Громыко оставим, но со строгими инструкциями ничего не делать и ничего не решать. У него это хорошо получается. — И Хрущев засмеялся. — Только, пожалуй, пусть к своему дружку Ллойду съездит и послушает, что он интересного расскажет. Как, Родион?

— Так точно, Никита Сергеевич, идея хорошая, — поднялся со своего места маршал. — Я тут служил еще во время первой мировой войны, совсем неподалеку от Парижа наша часть стояла. Можно съездить и посмотреть.

Хрущеву это предложение понравилось. Тут явно можно было перекинуть мостик к общим интересам России и Франции в борьбе против германского реваншизма. Пусть французы вспомнят, что и русские проливали кровь на французских полях, защищая их от немцев.

Через пяднадцать минут вереница черных лимузинов выкатила из ворот посольства. Все движение в центре Парижа замерло. Напрасно французские водители, не привыкшие к таким задержкам, сигналили перед светофорами, пока черные машины мчались к полям, где происходила битва на Марне.

Поистине правы были те шутники во французской столице, которые, глядя на всю эту кутерьму, горько иронизировали, что Бог создал американцев по образу и подобию русских.

Этим же утром Эйзенхауэр пригласил к себе в рези-

денцию на улице Иена Гертера, Гудпастера и Хеггери. Он тоже хотел обсудить тактическую линию на предстоящий день и послушать новости. Все это было в порядке вещей.

Помощники рассказали президенту, что русские распускают по Парижу слух: прекращение полетов У-2 снимает главное препятствие к саммиту. Нужен простой телефонный звонок Эйзенхауэра Хрущеву с выражением сожаления, и саммит сможет начать работу. Однако было и другое сообщение — пилоты Хрущева срочно покинули квартиры и выехали в аэропорт. После небольшой дискуссии все это было сочтено интригой русских, намеревавшихся вести войну нервов и заставить Соединенные Штаты принять их требования.

Что же делать?

Еще накануне Эйзенхауэр, де Голль и Макмиллан условились встретиться в десять часов утра в Елисейском дворце. Теперь на совещании у Эйзенхауэра было решено, что президент официально попросит созыва встречи на высшем уровне. Если Хрушев откажется, все бремя ответственности за ее срыв будет лежать на нем.

В Елисейском дворце три западных лидера так и решили: де Голль пошлет Хрущеву письменное приглашение на открытие встречи в верхах сегодня в три часа дня и попросит дать письменный ответ. Дальше все зависит от Хрущева — отказ будет означать, что это он сорвал парижский саммит. Тем более что в Елисейском дворце уже знали о сенсационном заявлении Хрущева журналистам у ворот советского посольства.

В английское посольство Макмиллан вернулся не один. С ним был Эйзенхауэр. Они сели под тенистыми каштанами и попросили кофе. Президент был приветлив и предложил Макмиллану поехать за город, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Он хотел показать британскому премьеру замок в местечке Маранс ля Коке, где он жил, будучи Верховным главнокомандующим штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. В своем дневнике Макмиллан записал: «Цель Эйзенхауэра была простой — бесхитростно

простой: если Хрущев должен поломать встречу в верхах, нет оснований позволить ему сломать англо-американский союз».

Через двадцать пять минут Эйзенхауэр и Макмиллан были уже в замке. Отсюда все и началось, пояснил президент. В феврале 1952 года здесь чете Эйзенхауэров показали документальный фильм о полуночной демонстрации на Медисон Сквер-Гарден. 15 тысяч человек выкрикивали лозунг: «Мы хотим Айка!». Мамми рыдала. Когда включили свет, гости подняли бокалы: «За президента».

Теперь на этом же месте все и кончалось. Вступая в борьбу за президентское кресло, он хотел уменьшить международную напряженность. Однако получилось так, что он лишь усилил ее... Он хотел проводить честную и открытую политику, а кончил ложью и недомолвками... Пропало вдруг все, что раньше создавало имидж Эйзенхауэра, — честное имя, терпеливое умение проводить осторожную, но твердую линию, непререкаемый авторитет руководителя и даже обыкновенное везение.

Только-только отъехал Эйзенхауэр с Макмилланом, как в английском посольстве появился Громыко. Видимо, помня строгий наказ Хрущева ничего не делать и ничего не решать, он держался сухо. На все вопросы английского министра иностранных дел, как быть дальше и что предпринять, Громыко церемонно отвечал, что обращает на себя внимание предложение Никиты Сергеевича отложить встречу в верхах на шесть-восемь месяцев, пока не созреют условия.

Ллойд сказал, что английское правительство хотело достичь серьезного прогресса в деле запрещения испытаний ядерного оружия. Остается решить всего лишь три проблемы — срок моратория, квоту инспекций и состав контрольной комиссии. Они хотели бы, чтобы руководители Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии обсудили эти темы и нашли решение. Он явно пытался втянуть Громыко в конкретное обсуждение этих вопросов.

Но не тут-то было. Андрей Андреевич многозначительно молчал. А в конце мрачно заметил, что Пен-

тагон не хочет запрещения ядерных испытаний и Соединенные Штаты блокировали работу Комитета по разоружению в Женеве.

А в это время вереница черных машин мчалась все дальше на восток в безвестное селение Плер-Сюр-Марн, где в 1919 году служил Малиновский — рядовой второго полка первой бригады русского экспедиционного корпуса во Франции.

Уже подъезжали к селению, когда дорогу перегородило упавшее дерево. Возле него не спеша копошилось несколько рабочих. Хрущев вышел из машины, подошел к ним и, не говоря ни слова, взял у одного из них большой топор. Все замерли. А он сильными уверенными движениями начал рубить дерево. Рабочие, охранники и маршал образовали круг, наблюдая, как работает советский премьер. Но Хрущев ухмылялся: пусть все увидят, что Советское правительство состоит из простых рабочих.

Закончив работу и отбросив разрубленное дерево в сторону, Хрущев представился лесорубам. Они не выразили особого удивления и предложили ему распить бутылочку «бужеле», Никита Сергеевич, разумеется, не отказался.

Но вот и селение Плер. Оно не отличается от десятка других французских деревень, которые только что проехал Хрущев, — маленькие домики, утопающие в зелени садов, а кругом аккуратно возделанные поля. Скоро все население высыпало на улицу посмотреть на высоких гостей из России. И тут надо признать, впервые, да и, пожалуй, единственный раз за все время своего десятилетнего правления, Хрущев уступил пальму первенства, — не он, а Малиновский пользовался интересом у крестьян. На маршала показывали пальцами и перешептывались, что этот грузный русский в странной униформе был когда-то солдатом и жил у них в деревне, а теперь он маршал и командует советскими войсками, которые не сегодня-завтра могут захватить всю Европу и Францию... Между тем Малиновский на каком-то ломаном языке, в котором жители все-таки узнали французский, обращался к ним и спрашивал, жива ли его хозяйка, мо-

лодушка Мария-Луиза. Он так и сказал «молoduшка Мария-Луиза».

Ее быстро нашли. Пожилая женщина с огрубевшими от солнца и работы чертами лица и советский маршал обнялись и стали вспоминать, что было тридцать пять лет назад. Глядя на них, французы тут же решили, что постоялец и молодая хозяйка были любовниками. Ее сын принес вина и сыра. Все выпили, и Мария-Луиза внимательно слушала, видимо с трудом понимая, военные истории, которые рассказывал ей Малиновский. Хрущев улыбался.

Потом они вышли во двор. Местные жители уже снесли туда всякую снедь: телятину, жирных кур, овощи, ну и конечно же доброе французское вино в больших плетеных бутылках. В центре внимания по-прежнему был Малиновский.

— Конечно же мы помним вас, — раздавались голоса. — В вашей роте был еще русский медведь. Не так ли?

Маршал рассмеялся и сказал Хрущеву, что по пути во Францию они действительно подобрали медвежонка. Малиновский спросил:

— А где та красивая молодая женщина, которая работала в местном кабачке?

Кто-то сказал:

— Смотри-ка, помнит, а женщины давно нет — уехала куда-то.

Хрущев отметил про себя, что эта женщина неспроста запомнилась Малиновскому. Ай да Родя.

Неожиданно два жандарма на мотоциклах с грохотом ворвались на крестьянский двор. Они передали Хрущеву срочное послание из Елисейского дворца. Никита Сергеевич разорвал конверт, и переводчик прочитал: это приглашение приехать на заседание руководителей четырех великих держав, которое состоится в Елисейском дворце сегодня в три часа дня.

— Надо ехать в Париж, — помрачнел Хрущев.

И сразу же кавалькада черных лимузинов двинулась в Париж.

В три часа дня 17 мая Эйзенхауэр, Макмиллан и де Голль сели за стол переговоров в Елисейском дворце.

це. Де Голль сообщил, что ответ от Хрущева не поступил. По последним сведениям, он целовал детей на улицах и произносил лозунги в поддержку французской коммунистической партии.

А Хрущев в это время отдыхал, принимая ванну, в резиденции советского посла. Накануне Виноградов рассказал ему историю, как русский император Александр III ловил рыбу в пруду и кто-то из его свиты прибежал к нему со срочным обращением от германского кайзера. Однако царь даже не обернулся. «Пусть Европа подождет, пока русский царь рыбу ловит», — бросил он через плечо.

Хрущеву эта история понравилась. Теперь, лежа в ванне, он кричал:

— Пусть весь мир подождет, пока Первый секретарь ЦК КПСС помоеется!

В 15.20 один из его помощников позвонил в Елисейский дворец и спросил, является ли это официальной встречей на высшем уровне или еще одним предварительным заседанием для разъяснения вопросов, обсуждавшихся в понедельник. Если это встреча на высшем уровне, Хрущев не может принять в ней участие, потому что Эйзенхауэр еще не извинился за инцидент с У-2.

Кув де Мюрвилль принес эту весть в зал заседаний. Де Голль прорычал, что Хрущев получил письменное приглашение и должен ответить в письменном виде. Таким образом, будет письменное свидетельство, которое покажет миру, кто сорвал саммит. Первая фраза была передана Хрущеву, но он догадался, куда клонит де Голль, и в расставленную ему ловушку не пошел. Президенту Франции он велел передать, что хочет получить ответ на свой вопрос и не будет отвечать в письменном виде.

Де Голль рассердился:

— Скажите ему, что среди цивилизованных наций есть обычай отвечать на письмо письмом.

— Хорошо, — сказал Хрущев, — они хотят от меня письмо — они получают его. — И хитро улыбаясь, велел подготовить следующий текст: «Господин Президент. В связи с Вашим письмом от 17 мая с. г. на

мое имя возникла следующая неясность, на которую не дается ответа в этом письме.

В Вашем письме ничего не сказано о том, имеется ли в виду собраться главам государств — Франции, СССР, Великобритании и США для предварительной встречи с целью выяснения, существуют ли условия, позволяющие начать совещание в верхах, или речь идет о начале работы самого совещания в верхах.

Как много уже было сказано вчера, я как глава правительства СССР готов принять участие в совещании в верхах, если правительство США устранил препятствие, которое не позволяет мне принять участие в указанном совещании. (Далее следовали известные уже условия, которые не раз выдвигал Хрушев, — осуждение шпионской акции, выражение сожаления, наказание виновных и обещание больше не совершать таких действий.)

Само собой разумеется, что я готов, как это уже было сообщено директору Вашего кабинета, принять участие во встрече, если такая встреча будет носить предварительный характер.

С уважением Н. Хрушев».

Не зная, какую хитрость готовит им Хрушев, де Голль и Эйзенхауэр уже хотели объявить всему миру, что советский премьер отказался прибыть на саммит и со встречей в верхах потому покончено. Но со слезами на глазах Макмиллан просил позволить ему обратиться еще раз к Хрущеву, чтобы он вернулся за стол переговоров.

— Два года тяжелой работы в пользу мира могут вот-вот рухнуть и принести жесточайший кризис, — говорил он, — который моя страна не переживала со времен второй мировой войны. По всем Британским островам народ верит и молится в церквах. Срыв саммита сокрушит их надежды и вдохновение.

Эйзенхауэр прошептал Гертеру:

— Вы знаете, старый бедный Хал очень расстроен, и, я думаю, мы можем пойти ему навстречу.

Болен, который сидел сзади и услышал этот разговор, тут же написал Гертеру яростную записку, что эмоциональные призывы — это не путь к общению с

советскими лидерами. Но де Голль уже сам заявил, что не может согласиться с Макмилланом. Его предложение выглядит «слишком византийским». Никогда не нужно забывать, что Византийская империя погибла под бременем подобных интриг и хождений вокруг да около. «Его тон был ледяным и высокомерным, — пишет в своих воспоминаниях Болен. — Во всяком случае, де Голль наповал убил идею нового обращения к Хрущеву».

Пока они дискутировали таким образом, пришло письмо от Хрущева. Едва ли оно могло повлиять на настрой западных лидеров, да и не было рассчитано на это. Де Голль, Макмиллан и Эйзенхауэр записали в совместном коммюнике: «Было отмечено отсутствие премьера Хрущева. Президент де Голль объявил, что в этих условиях запланированная дискуссия не может иметь места».

Много позднее, уже на пенсии, Хрущев напишет в своих мемуарах, что его не покидала надежда, что де Голль и Макмиллан все-таки заставят Эйзенхауэра извиниться за инцидент с У-2. «Де Голль всегда неукоснительно охранял честь Франции и французского народа, так что мы подозревали, что по крайней мере тайно он симпатизирует нашим действиям в защиту чести». А Макмиллан никогда не скрывал своего стремления достичь согласия на этом саммите.

Что ж, может быть, так оно и было — правду пишет Никита Сергеевич о своих прошлых иллюзиях спустя десятилетие. Но вот у советских дипломатов, которые были рядом с Хрущевым в те дни, — Зорина, Солдатова, Виноградова и Ильичева — сложилось тогда иное впечатление: советский премьер сознательно вел дело к срыву совещания в верхах. Он знал, что Эйзенхауэр не принесет извинения, да оно было и не нужно — только осложнило бы ему положение.

Из всех участников этой драмы один Хрущев развил бурную деятельность в тот вечер. Он давал интервью, встречался с рабочими парижской типографии, где печаталась его книга «Н. С. Хрущев во Франции».

И везде говорил гневно, многословно, повторяя одно и то же, виня во всех грехах империализм Соединенных Штатов.

В резиденции США на улице Иена доктор мерил Эйзенхауэру давление, опасаясь, что эти два сумасшедших дня перенапрягли сердечно-сосудистую систему президента. Но самого Эйзенхауэра больше интересовало, уехал Хрущев из Парижа или нет.

Позвонила Мамми Эйзенхауэр из Вашингтона: ее беспокоило состояние мужа после всех этих передраг. Она слышала, что Хрущев отменил приглашение чете Эйзенхауэров посетить Советский Союз. Дело тут не в политике, убеждала она Айка, видимо, Хрущев просто обиделся, когда их сын Джон запретил внукам ехать в Москву...

А Макмиллан записал в дневнике: «Так закончилась, даже не начавшись, конференция на высшем уровне».

18 мая, среда. Утро не принесло новостей в особняк американского посла. Стало лишь окончательно ясно, что с саммитом покончено.

Надо было собираться в дорогу, но куда? Раньше планировалось, что из Парижа Эйзенхауэр полетит в Лиссабон. Но теперь из-за срыва совещания в верхах у президента оказалась свободной почти вся неделя. Что делать? Не сидеть же ему пять дней в Париже. Последовала серия срочных звонков в португальскую столицу, и проблема была решена: президент вылетает в Португалию завтра.

А что делать сегодня? Гольф исключался. Хотели было слетать на вертолетах в Шартрез, но, как назло, из низких облаков полил дождь. Тогда вместе с послом Хоугтоном Эйзенхауэр решил поехать в Собор парижской Богородицы.

А Никита Сергеевич в это время уже наносил прощальные визиты. Первым был Макмиллан. Британский премьер надеялся, что Хрущев приедет один и с ним можно будет серьезно и откровенно поговорить. Но Хрущев притащил с собой всю команду — Малиновского, Громыко... Суть его жаркой речи сводилась к тому, что британский премьер должен оказать воз-

действие на Эйзенхауэра, чтобы тот принял все условия Советского Союза.

— Вы действительно так думаете? — скептически спросил Макмиллан.

Никита Сергеевич тут же ответил, что по выражению лица видит, что Макмиллан понимает правоту советской позиции и просто из чувства солидарности защищает своего союзника. Макмиллан грустно заметил на это, что, видно, не остается ничего другого, как ждать, когда уляжется пыль.

Следующим был де Голль. Ему Никита Сергеевич заявил, что операция со шпионским самолетом У-2 была проделана американцами сознательно, чтобы сорвать совещание в верхах.

— После всего этого у меня остался неприятный осадок, — говорил Хрущев. — Вы с Макмилланом не проявили необходимой воли, чтобы осудить агрессивные действия Соединенных Штатов.

Де Голль молча проигнорировал эти эскапады Хрущева, держался сухо и формально. Но Никиту Сергеевича не так-то легко было сбить со взятого им курса.

— Я понимаю, — сказал Хрущев, — что не следует плохо говорить о третьем лице в его отсутствии. Но причина нынешнего развития событий — безмолвие президента Эйзенхауэра. Так же он вел себя и во время войны. Он, скорее, выступал в роли интенданта и военного дипломата, чем в роли крупного полковника. Так же поступает он и сейчас. Вот и получается, что в США кто в лес, кто по дрова, налицо неорганизованность и безответственность американского руководства. Как говорится, кто палку взял, тот и капрал. Трудно не согласиться с той оценкой, которую дали Эйзенхауэру в своих мемуарах Монтгомери и Черчилль.

Де Голль стал защищать президента, но неожиданно их разговор переключился на Сталина.

Н. С. Хрущев: Вы знаете, например, что мы с большим уважением относимся к Сталину. Он много сделал хорошего для страны, и поэтому мы похоронили его со всеми почестями. Однако это не помешало

нам резко критиковать его за совершенные им ошибки.

Де Голль: Сталин не очень хотел предстать перед судом истории. Но ему не удалось избежать этой участи. И история, мне кажется, еще не сказала своего последнего слова в отношении него. Точно так же она вынесет приговор и всем нам.

Вечер Эйзенхауэр и Хрущев провели по-разному. А в пять часов пополудни Хрущев, которого, как всегда вместе с охранниками, сопровождали Громыко и Малиновский, появился во дворце Шайо. Душный зал был переполнен — более двух тысяч корреспондентов со всего мира собрались на пресс-конференцию, которую давал советский премьер. Он поднялся на сцену и поднял руки над головой. Зал ответил аплодисментами, восторженными криками, свистом и улюлюканием. Как бы зарядившись этой наэлектризованной атмосферой, Хрущев побагровел и принялся стучать кулаком по столу, да так, что повалилась бутылка с минеральной водой.

Так продолжалось несколько минут. А когда шум стал стихать, Хрущев заговорил. Сначала он шел по написанному тексту, разъясняя все перипетии истории с У-2. Потом стал все чаще и чаще отрываться от бумаги и переходить на повышенные тона.

— Эти горячие головы в США торпедировали встречу в верхах еще до того, как она началась, — заявил он. Потом без всякого перехода выкрикнул: — Теперь, господа, я хочу ответить той группе лиц, которая здесь «укала», шумела, пытаясь создать атмосферу недружелюбия. Меня информировали, что подручные канцлера Аденауэра прислали сюда своих агентов из числа фашистов, не добитых нами под Сталинградом. Всем памятны времена, когда гитлеровцы с «уканием» шли в Советский Союз. Но советский народ так им «укнул», что сразу на три метра в землю вогнал многих из этих захватчиков.

Голос из зала:

— Это пропаганда!

— Вы слышите? — сразу же отреагировал Хрущев. — Для него это «пропаганда». Ишь какой! Мы

всеми своими делами показываем, какая это «пропаганда»! А в отношении людей, которые своими криками пытаются сбить меня, я говорю, что это не представители немецкого народа, а фашистские ублюдки. Меня радуют эти злобные выкрики потому, что они свидетельствуют о ярости врагов нашего святого дела. Если вы на меня «укаете», этим вы только бодрости придаете мне в нашей классовой борьбе за дело рабочего класса, в борьбе за дело народов, жаждущих прочного мира.

Тут его прервали бурные аплодисменты. Переждав, Хрущев заявил:

— Господа! Я не хочу скрывать от вас своего удовольствия — люблю драться с врагами рабочего класса. Мне приятно слушать, как беснуются лакеи империализма.

Выкрикивая эти отрывочные фразы, Хрущев неистово размахивал кулаками. Лицо его налилось кровью, набухли и выступили на лбу вены, глаза дико сверкали. Как записал американский журналист А. Верт, «казалось, он был вне себя от гнева, почти в истеричном состоянии, каким я никогда не видел его раньше».

Зал немного поутих, и Хрущев принялся отвечать на вопросы корреспондентов. В конце концов, обессиленный после двух с половиной часов пребывания на этой горячей сцене, Хрущев поднял стакан с минеральной водой и прокричал в зал по-французски:

— Вив ля пэ! (Да здравствует мир! )

Запад был шокирован столь неприличными выходками советского лидера. Если в инциденте с У-2 Хрущев и набрал очки, то своим поведением в Париже он их напрочь утратил. Как заметил Макмиллан, «Хрущев напоминал Гитлера в худшем его исполнении».

Но и на этом активность Хрущева в этот вечер не закончилась — уже через час он встретился с коллективом советского посольства, где ошарашил дипломатов, заявив, что весь Запад находится «под пятой у Аденауэра и воздушных пиратов».

И мало кто догадывался, что Хрущев своими эска-

падами пытался умаслить кремлевских ястребов. Это была его стратегия борьбы за сохранение личной власти.

Эйзенхауэр, напротив, провел вечер спокойно в кругу друзей. У него был свой испытанный способ снимать нервное напряжение — надеть фартук и стать за плиту. Услышав, к примеру, в свое время сообщение о нападении Японии на Перл-Харбор, он прямоком направился на кухню и стал готовить овощной суп.

В тот вечер, 18 мая, он также отправился на задний двор резиденции жарить стейки. В гости были приглашены только свои — чета Гейтсов, чета Томпсонов, чета Хоугтонов и, конечно, помощники. Они не удивились, застав президента за этим занятием, в Америке это обычное дело, когда хозяин сам готовит. Жарить мясо — своего рода искусство.

Они расположились вокруг с бокалами виски и спокойно переговаривались, а Лаура Хоугтон их фотографировала.

Очень скоро Эйзенхауэр скомандовал:

— Бросайте все и идите в столовую...

И это было в порядке вещей — гости должны быть уже за столом, когда подают мясо, чтобы оно не остыло.

После обеда мужчины уединились в гостиной. Они пили коньяк и беседовали на отвлеченные темы. В это время Эйзенхауэру принесли телеграфную ленту с изложением пресс-конференции Хрущева во дворце Шайо. Пробегая текст глазами, президент время от времени бормотал:

— Поразительно! Невероятно!

Хрущев уезжал из Парижа утром на следующий день. В сопровождении свиты, довольный и улыбающийся, он спускался из своей представительской квартиры на третьем этаже особняка на рю де Гренелль. Внизу толпились старшие дипломаты, чтобы помахать ему рукой, а потом вскочить в машины и помчаться в аэропорт, чтобы изобразить там ликующую толпу провожающих.

На площадке третьего этажа навстречу премьеру вы-

шел посол Виноградов. Он выглядел бледным и растерянным, но шел с явным намерением что-то сказать Хрущеву, хотя неписанные правила не позволяют послу вот так прямо обращаться к руководителю государства. Но Хрущев остановился и с интересом посмотрел на Виноградова.

— Ну, вот и посол появился. Что у тебя там случилось? — добродушно спросил он.

— Никита Сергеевич, — взволнованно начал Виноградов. — Здесь на стене висел гобелен начала XVIII века. Это — национальное достояние Франции — их всего таких четыре штуки осталось. А ваши люди из хозяйственного управления велели его снять и отправить в Москву.

В простенке второго этажа, где раньше висел старый-старый выцветший гобелен, изображавший какую-то сцену из деяний Александра Македонского, зияла пустота. Хрущев нахмурился.

— Немедленно вернуть. Безобразие какое, — резко бросил он кому-то позади себя. — А в Москве я с вами разберусь.

Дипломаты переглянулись. Поступок Виноградова был просто безрассудным — ради какого-то гобелена всей карьерой рисковать! Его поведение никак не вписывалось в обычный образ действий советской дипломатии, которая просто закрывала глаза на разграбление своих посольств, начинавшее только-только входить в моду у партийных сановников. Но не таков был Сергей Александрович Виноградов — очень честный и интеллигентный человек. Благодаря Виноградову гобелен до сих пор является украшением парадной лестницы российского посольства в Париже. Он действительно бесценен — один из двенадцати, специально сделанных для Лувра в начале XVIII века на Лионской мануфактуре, и один из четырех, уцелевших до наших дней. О его художественной и исторической ценности говорит тот факт, что, когда в 1979 году проводилась капитальная реставрация дворца, французское министерство культуры предлагало за этот гобелен провести реконструкцию всего здания.

В остальном отъезд Хрущева прошел без происше-

ствий. Ровно в 11.00 самолет взмыл в воздух и взял курс на Берлин. Посол Виноградов махал ему вслед рукой и повторял про себя фразу, которую не раз приходилось слышать от него: «Нет слаще пыли, чем пыль из-под колес отъезжающего начальства!»

Начавшая «бродить» вольнодумием молодая советская интеллигенция по-своему откликнулась на парижскую встречу в верхах. В то время стали входить в моду барды. Толчок этому дал ставший потом легендой Булат Окуджава. Но и до него, и помимо него десятки безымянных поэтов где-нибудь на кухне после бутылки водки с воодушевлением пели под гитару придуманные ими песни весьма вольного содержания.

Одна из них, исполнявшаяся той весной, так и называлась — «Скандал в Париже». Пели ее на мотив старой блатной песенки:

Помню я, когда-то в Париже  
Совещание было в верхах.  
Там собрались четыре министра —  
Говорили о разных делах.

И так далее...

# КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Как утром после хорошей пьянки с дракой и битьем посуды, Москва и Вашингтон с ужасом вспоминали, что же все-таки произошло в Париже, пытались сообразить, можно ли еще что-нибудь спасти.

Запад явно мучился глубокой тревогой — а что дальше? Там силились понять Хрущева. Чем вызвано его поведение: очередным всплеском эмоций или это новый курс Советского Союза?

Но в Москве решили — гулять так гулять, давай дальше бить посуду! Тем более что куражу прибавляли верноподданнические сообщения Ильичева и его отдела агитации и пропаганды ЦК о том, что весь мир вроде бы трепещет, когда видит, как лихо русские расправляются с этими недотепами американцами.

Хрущев прилетел в Москву в субботу 21 мая 1960 года. Во Внуково его встречали все члены Президиума. Прошли в маленькую комнату, где неделю назад прощались. Но как неузнаваемо изменились за эту неделю физиономии «верных» соратников. Тогда они были мрачно насуплены и со всех сторон слышалось глухое ворчание. Теперь же все радостно улыбались и пожимали ему руки:

— Молодец, Никита Сергеевич! Здорово им врезали!

Даже Суслов изобразил нечто вроде улыбки. Зато Брежнев, ставший недавно Председателем Президиума Верховного Совета СССР, излучал само радушие. Один из помощников Хрущева шепнул шефу на ухо,

что «новый президент» начал широко знакомиться с иностранными послами в Москве, приглашает их к себе в кремлевские апартаменты, беседует о пустяках, а на прощание дает три шоколадных конфетки, приговаривая: «Съешьте одну за свою страну, другую за себя, а третью — за ваших детей...»

После церемонии встречи кортеж машин двинулся в столицу. По неписаному кремлевскому протоколу, Хрущева должны были приветствовать восторженные толпы людей. Но на этот раз улицы были пусты. Еще в Берлине, посоветовавшись по ВЧ с Суловым и Козловым, решили на этот раз людей не выводить. Конечно, Хрущев был уверен, что все будут приветствовать его, как обычно, дружно и радостно. Но чувствовал, что радоваться в общем-то нечему. Встреча в верхах, на которую в мире возлагалось столько надежд, провалилась, потому и выступать перед трудящимися не стал, а решил сначала осмотреться, чтобы найти правильный тон.

Двадцать четвертого мая Хрущев собрал у себя в кабинете группу членов Политбюро, секретарей ЦК, верушку международного отдела и Министерства иностранных дел. Вопрос был один — как вести дело дальше после провала парижской встречи в верхах? Все начали было тянуть привычную песню похвалы мудрой политике, но Никита Сергеевич резко оборвал ее и сказал:

— Ни стоять на месте, ожидая, что нам принесут мир на блюдечке с голубой каемочкой, ни тем более отступать назад мы не можем. Это значит расписаться в том, что Советский Союз виноват в срыве парижской встречи. Поэтому у нас есть только один путь — идти вперед и еще решительнее и злее разоблачать американцев и их прихлебателей. Все равно Соединенные Штаты на ближайшие полгода будут выключены из мировой политики — им, видите ли, не до этого, у них выборы. Ну а мы их за ушко да на солнышко и там пожарим немного. Эйзенхауэр уже практически недееспособен. А новый президент — пусть на его ошибках поучится!

Это был четко заданный курс, который полностью отвечал настроению членов Президиума, и они встретили его с одобрением.

— Но перегибать палку тоже не следует, — предупредил Хрущев. — Самая горячая проблема сейчас — это объединение Германии и Западный Берлин. Конечно, у нас есть полное моральное право без дальнейших оттяжек подписать мирный договор с ГДР и решить на этой основе вопрос о Западном Берлине. Ведь поступили таким же образом Соединенные Штаты, заключив односторонний мирный договор с Японией. Но, думаю, спешить с этим сейчас не следует. Лучше всего положить пока германский вопрос в холодильник. И пусть он там померзнет шесть—восемь месяцев, пока в Америке не появится дееспособный президент. А там посмотрим, что делать.

Но главное наступление Никита Сергеевич предлагал развернуть на фронте разоружения. Так и сказал «на фронте».

— Здесь на стороне Советского Союза будут все народы мира. А у американцев позиция дохлая. Там нет разоружения, один лишь шпионаж. Поэтому, — говорил Хрущев, — борьбу за мир надо развернуть так, чтобы она стала делом каждого человека на земле. Начну я с послания всем руководителям государств с новыми предложениями о всеобщем и полном разоружении. Потом внесем их в Комитет десяти по разоружению. По линии всех общественных организаций — Комитета защиты мира, профсоюзов, молодежных форумов — надо начать интенсивную кампанию поддержки. Перед товарищем Пономаревым и его международным отделом ЦК ставим задачу — вздыбить народы в борьбе за мир.

— А если американцы и их прихвостни откажутся, — Хрущев грозно посмотрел вокруг, — мы им второй Париж устроим — уйдем из Комитета десяти, хлопнув дверью, и поставим рассмотрение всего комплекса вопросов разоружения на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

— А как быть с ядерными испытаниями? — спросил В. В. Кузнецов.

Хрущев немного подумал и затем сказал:

— Пусть переговоры в Женеве идут как раньше.

Надо дать Царапкину те директивы, которые были подготовлены к встрече в верхах, а там посмотрим.

Между тем события в мире развивались так, как будто их ход был действительно определен Хрущевым на этом майском совещании в ЦК.

Двадцать седьмого мая 1960 года в Анкаре произошел переворот. Правительство Аднана Мендереса, которое втайне согласилось на полеты У-2 и пошло на сотрудничество с американцами, было свергнуто. Самого Мендереса арестовали и вскоре повесили. А к власти, как сообщало советское посольство, пришли сторонники курса национального возрождения Турции — наследники великого Ататюрка, которому протянул руку дружбы великий Ленин.

Недели не прошло, как с президентом Эйзенхауэром случился новый международный конфуз. Чтобы поддержать свое пошатнувшееся реноме, вместо Советского Союза он решил совершить турне по странам Юго-Восточной Азии: Филиппины, Корея, Таиланд, Окинава, Япония. Но произошло невероятное. Япония буквально взорвалась протестом. Парламент требовал отставки премьера Киси, предлагавшего заключить договор о совместной безопасности с Соединенными Штатами. По всей стране шли демонстрации протеста против приезда Эйзенхауэра.

Когда пресс-секретарь президента Джим Хегерти приехал в Токио с передовой группой готовить визит Эйзенхауэра, его машину окружила разъяренная толпа японцев. Они скандировали: «Мы не любим Айка!», «Вспомни Хиросиму!», «Айк не спасет Киси!», «Катись к черту, Айк!», «Уберите ваши базы!» Полиция оказалась бессильной. Разбушевавшаяся толпа помяла крышу автомобиля и выбила стекла. Хегерти не потерял самообладания. Он спокойно сидел, покуривая сигарету, и делал вид, что увлечен фотосъемкой разбушевавшейся толпы. Но вызволять его пришлось с помощью американского вертолета.

Газета «Правда» писала, что это только генеральная репетиция к предстоящей встрече президента. Премьер-министр Киси пообещал послать 27 тысяч полицейских, чтобы очистить столицу от хулиганов, но де-

монстрации продолжались. Во время одной из них, когда толпа прорывалась к парламенту, была насмерть растоптана женщина. Тем не менее американский посол Маккарти настаивал на визите. «Беспорядки улягутся», — утверждал он.

Но Аллен Даллес не был уверен в этом. Больше всего он опасался нападения самоубийц-камикадзе. В конце концов Гудпастер позвонил из Манилы в Токио и прямо спросил американского посла:

— Вы уверены, что не произойдет беспорядков, и готовы рискнуть своей карьерой?

Первым сдался Киси. 16 июня он отменил приглашение Эйзенхауэру и подал в отставку.

Устраивали все эти беспорядки не злокозненные коммунисты, а социал-демократы и либералы. И били японского премьера по заднице не левые, а правые националисты. Но, вернувшись в Америку, Эйзенхауэр совершил явный промах, заявив, что срыв его визита в Японию дело рук коммунистов.

— Мы в США, — сказал он, — не должны впадать в ошибку, виня себя за то, что делают коммунисты. В конце концов, коммунисты всегда будут действовать как коммунисты!

Это позволило Хрущеву надувать щеки, хотя никакого отношения к массовым выступлениям в Японии Советский Союз не имел. Газета «Правда» писала, что президент США терпит одно фиаско за другим.

Третьего июня 1960 года Валериан Александрович Зорин, возглавлявший советскую делегацию на переговорах в Комитете десяти государств по разоружению, выехал в Женеву. Худой, низкого роста, с костлявым лицом, на котором выделялся крупный крючковатый нос, Зорин, когда улыбался, походил на Мефистофеля. Но его внешность была обманчива, он никогда не повышал голоса на подчиненных. Самое страшное ругательство, которое можно было от него услышать, — какой вы чудак-человек, право! Это означало, что он действительно сердится.

Его неизменно всегда и всюду сопровождала жена Мария Павловна — маленькая, хрупкая женщина, которая стойко без слов переносила все злоключения

мужа и очень переживала за него. Едут они вдвоем в машине на заднем сиденье, крепко взявшись за руки, впереди шофер и переводчик. Молчат. Зорин думает о чем-то своем.

— Э-хе-хе, Мария Павловна, — неожиданно вздыхает он.

— Э-хе-хе, Валериан Александрович, — тотчас отзовется она.

И дальше опять молчание.

Много позднее Зорин жаловался, что всю свою жизнь исполнял одни лишь тягостные поручения. Он был советским послом в Чехословакии, когда там произошел переворот. А потом, уже будучи заместителем министра, руководил образованием соцлагеря. Ему довелось стать первым послом в ФРГ и принять на свои плечи все тяготы, связанные с германскими делами и Берлином. Только стал представителем СССР в ООН, как туда заявился Хрущев и устроил скандал. А потом разразился Карибский кризис, и ему пришлось краснеть перед всем миром, доказывая в Совете Безопасности, что советских ракет нет на Кубе... Одно только было хорошее назначение — главой советской делегации на переговорах по разоружению в Женеве. Разоружение — дело благородное, интеллигентное. Женева — место тихое.

Первый раунд весной 1960 года прошел действительно вполне спокойно. Но теперь напутствие Хрущева было жестким: если США и их союзники откажутся принять нашу программу всеобщего и полного разоружения, — разоблачить их перед всем миром как виновников гонки вооружений.

Возобновление работы Комитета десяти 7 июня обставлялось, как и задумал Хрущев, с большой пропагандистской помпой. Было его послание главам правительств — участников Комитета. Остальным государствам Москва направила ноту правительства СССР. К ней прилагался проект основных положений будущего договора. Поэтому говорить Зорину было уже нечего. Он просто повторил, что Советский Союз предлагает осуществить всеобщее и полное разоружение в три этапа. После его завершения у государств останутся

лишь формирования полиции или милиции, оснащенные легким стрелковым оружием. Начать такое разоружение, как в свое время посоветовал де Голль, Советский Союз предлагал теперь с ликвидацией средств доставки ядерного оружия.

Интересно, верил ли сам Никита Сергеевич в громаде своих планов всеобщего и полного разоружения? Скорее всего нет. Будучи человеком практической сметки, он не мог не понимать, что все эти предложения не реальны и не осуществимы. Да и не делалось никогда ни в Генштабе, ни в Министерстве обороны, ни в научных институтах каких-либо детальных проработок сокращения и ликвидации вооружений. И это Хрущев тоже знал. Поэтому для него всеобщее и полное разоружение было прежде всего красивой пропагандистской идеей, которая придаст новый привлекательный облик социализму, станет противопоставлением безудержной гонке вооружений, которую разжигают империалисты.

Но был и сугубо практический вопрос, который побуждал Хрущева так резко и остро ставить вопросы разоружения. Это — собственные военные. Хрущев считал, что вооруженные силы и оборонка разрослись непомерно, и им нужно подрезать жирок.

Но военные, надо отдать им должное, очень быстро поняли, что всеобщее и полное разоружение, в силу утопичности этой идеи, им никак не грозит. Поэтому, как это ни звучит парадоксально, не было в Советском Союзе более яростных сторонников всеобщего разоружения, чем маршалы Малиновский, Гречко и все Министерство обороны.

Но за этой стойкой преданностью всеобщему разоружению таилась и своя маленькая хитрость. Она позволяла военным столь же стойко выступать против любых «частичных» мер в области сокращения или ограничения ядерных и обычных вооружений. Нечего нам всякими мелочами заниматься и отвлекать внимание народов от программы всеобщего и полного разоружения, говорили они мидовским коллегам, которые предлагали приступить хотя бы к некоторым практическим шагам в деле разоружения. И по мере того как позиции Хруще-

ва в партийной верхушке ослабевали, так называемые частичные, а по сути своей, реалистичные меры разоружения тоже постепенно исчезали из советской программы. Громыко относился к этому стоически, на Президиуме с военными никогда не спорил, а уступал. Единственную тему, которую он старался удержать на плаву, — прекращение ядерных испытаний — и то проталкивал через Хрущева, оставаясь как бы в стороне.

По этим причинам пропаганда всеобщего и полного разоружения велась агрессивно, с шумом и бранью, так, что вызывала к себе инстинктивное недоверие и отторжение. В советской делегации в Женеве это называлось «эффектом Шустова».

Шустов — начинающий дипломат из делегации Царапкина, ныне посол по особым поручениям — был очень изобретательный, живой и остроумный молодой человек, которым гордилась вся славная референтура. Каждое утро он шел пешком узкими улочками района Паки из отеля «Метрополь» до рю де ля Пэ, где работала советская делегация. По пути у одной из вилл за небольшой изгородью обычно сидела собака, самая обыкновенная, добрая и умная швейцарская собака, которая и лаять-то по-настоящему не умела — отвыкла, инстинкты пропали. Так вот, Володя Шустов, проходя каждое утро мимо этой доброй собаки, делал злое лицо и орал на нее страшным голосом: «Мир!!! Дружба!!!» Сначала собака удивлялась, а потом стала злиться все больше и больше. Постепенно восстановились природные инстинкты, и теперь, когда Шустов появлялся на улице, собака с лаем бросалась на ограду еще до того, как услышит ненавистные «мир и дружба».

Кончилось все это печально для Шустова. Однажды, когда он шел, как обычно, на работу и мирно беседовал с приятелем, обсуждая какие-то свои разоруженческие дела, собака оказалась на улице. Она молча сидела и, видимо, давно поджидала обидчика. Увидев Шустова, она молча, без лая бросилась на него. Тому оставалось только отмахиваться портфелем и жалостно просить о помощи, пока не вступились хозяева и не спасли советского дипломата.

Примерно такой же эффект вызывала назойливая и

агрессивная пропаганда всеобщего и полного разоружения. Молодые сотрудники советской делегации в Женеве только удивлялись — неужели наверху не видят, что наши призывы приводят к результатам совершенно прогивоположным. Советским предложениям не верят — они вызывают подозрительность в отношении истинных намерений советской политики. Но, чтобы подкрепить пропагандистские успехи Кремля, в Женеву приехала специальная ударная группа из Комитета защиты мира. В ней были подобраны люди на все вкусы и взгляды: рабочие, крестьяне, поэты, артисты и даже священник. Возглавлял ее писатель Корнейчук.

Борцы за мир сначала выпили хорошенько, а потом устроили беседу по душам с той же советской делегацией — спрашивали, какие трудности она испытывает с продвижением программы всеобщего и полного разоружения. Сначала им пытались по-хорошему объяснить, что дело это пустое, поэтому на него никто не клюет. Но борцы за мир лезли на рожон и возмущались. Тогда один из сотрудников делегации, Володя Баскаков возьми и скажи им:

— Понимаете, для среднего западного человека наши призывы к борьбе за мир звучат порой так же абсурдно, как призывы трахаться во имя сохранения девственности.

Боже, что тут случилось. Борцы за мир, приехавшие из Москвы, были настолько возмущены, что не помогла даже новая бутылка коньяка. Утром они пожаловались Зорину на его сотрудников, да еще намекнули, что в его делегации слабо обстоит дело с политико-воспитательной работой. Дед, как между собой звали Зорина, обещал им наказать виновных, но наказывать, конечно, не стал, а только сказал:

— Ну что вы, чудаки-люди, разве не видите, с кем имеете дело.

На этом, к счастью, все и кончилось. Но — не с всеобщим и полным разоружением.

Сам Зорин слабо верил, что из советских предложений может выйти какой-либо толк. Да они и не были предназначены или разработаны для того, чтобы стать основой соглашения. В лучшем случае, отталкиваясь

от них, можно было соорудить нечто вроде общих принципов. Этот путь Зорин осторожно предложил своим западным партнерам. Но отклика его предложение не встретило.

В Комитете началась дискуссия, и Запад опять стал выдвигать на первый план вопросы контроля. Слово за словом возникла полемика со взаимными выпадами и обвинениями. В общем, все шло по знакомому шаблону.

Тут, правда, произошел казус, который не часто случается на переговорах. Английский курьер по ошибке принес в советское посольство на рю де ля Пэ пакет с протоколом заседания группы натовских делегаций в Женеве. Дежурный комендант усомнился, нам ли этот пакет предназначен.

— Вам, вам, — заверил курьер. — Всем делегациям разносим.

Когда дипломаты вскрыли конверт, они не поверили глазам. Перед ними лежала стенограмма встречи руководителей пяти натовских делегаций в Женеве, в ходе которой они без стеснения шельмовали советские предложения как пустую пропаганду и договаривались о тактической линии, которую займут в ближайшие дни. В этой стенограмме не было ничего нового, кроме разве что грифа секретности и пикантных обстоятельств, благодаря которым этот документ оказался на Белой вилле. Поэтому сразу же возник соблазн передать его в печать и разоблачить коварство и двуличие Запада. Но у Зорина душа к этому не лежала, и он решил посоветоваться с Громыко. Из Женевы в Москву полетел специальный курьер со злосчастным протоколом. Громыко, переговорив с Хрущевым, собственной рукой, что делал весьма редко, написал Зорину телеграмму: «Документ не следует в Женеве оглашать в какой бы то ни было форме».

Это было 17 июня. На душе вроде бы отлегло. А через 10 дней Зорин получил указание, которого давно ожидал и боялся: «27 июня сделайте заявление, в котором укажите, что Советский Союз и соцстраны прерывают участие в работе Комитета десяти с тем, чтобы поставить на рассмотрение очередной сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН вопрос о разоружении и о положении с выполнением резолюции ГА ООН от 20 декабря 1959 года».

Далее все произошло как в плохом водевиле. Председателем группы соцстран в Женеве был в тот месяц польский заместитель министра иностранных дел М. Нашковский. Зорин поручил Б. П. Красулину из «доблестной референтуры» немедленно связаться с Нашковским и пригласить того приехать в советское представительство. В те времена «друзья» не обсуждали указаний, полученных из Москвы, а быстро их исполняли.

На следующий день, как только открылось заседание, Нашковский, пользуясь правом председателя, сам предоставил себе слово. «США и другие западные державы, — заявил он, — используют Комитет десяти в качестве ширмы для прикрытия развязанной ими гонки вооружений и обмана народов. При таком положении участие соцстран в его работе лишь дезориентировало бы общественное мнение. Правительства соцстран прерывают свое участие в Комитете десяти, чтобы вынести вопрос о разоружении на Генеральную Ассамблею ООН».

Сначала западные представители просто не поверили своим ушам — ведь ничего экстраординарного в Женеве не произошло. Все шло как всегда. Но когда Нашковский сложил с себя полномочия председателя, а пять делегаций — СССР, Польши, Венгрии, Чехословакии и Румынии — дружно встали и направились к выходу, в зале началась кутерьма. Все повскакивали со своих мест. Французский представитель, убитенный сединами, Жюль Мок кричал в микрофон:

— Фашисты!!!

Кто-то принялся свистеть и улюлюкать. Но на делегации соцстран это не подействовало. Пять западных стран — США, Англия, Франция, Италия и Канада — решили продолжать работу без них. Они надеялись, что Советский Союз и его союзники все же вернуться за стол переговоров. На следующий день они собрались во Дворце наций, но никто больше не пришел. Тогда они осудили соцстраны и разошлись. Комитет десяти госу-

дарств по разоружению, создания которого так упорно добивался Хрущев, приказал долго жить.

Журналисты долго еще гадали, что же произошло, почему русские так неожиданно покинули Женеву. Одни писали, что Хрущев столкнулся с внутренними трудностями и военные заставили его уйти с переговоров. Другие считали, что это жест в сторону Китая, своего рода попытка задобрить его. Но на самом деле это был лишь первый шаг продуманной и глубоко эшелонированной линии на конфронтацию с Западом.

Между тем как-то незаметно в эти летние месяцы 1960 года начал завязываться в тугой узел конфликт, породивший впоследствии кризис, который принес миру немало тревог. Речь идет о Карибском кризисе. Более нелепой ситуации с его возникновением трудно представить. Прежде всего потому, что ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты, во всяком случае поначалу, не имели никаких особых планов в отношении Кубы. Все совершалось самотеком — по воле случая или, скорее, глупости.

Первого января 1959 года в Гаване был свергнут диктатор Батиста. Соединенные Штаты не обратили на это внимания. Диктаторов в Латинской Америке свергали тогда ежегодно чуть ли не по нескольку штук, и на их место приходили новые не менее жесткие и антидемократические режимы. Фидель Кастро со своими компаньерами казались из Вашингтона не лучше и не хуже других ловцов фортуны, выступающих с популистскими и националистическими лозунгами. Кроме того, сам Фидель происходил из семьи крупных латифундистов и социалистическими идеями вроде бы не баловался. Поэтому в Вашингтоне без особого интереса следили за тем, что происходит в Гаване, ожидая, что будет дальше.

А Москву Куба совсем не интересовала. Этот район лежал тогда вне сферы политических и идеологических интересов Советского Союза. Свержение американского ставленника Батисты — дело, конечно, хорошее. Поэтому в январе СССР признал правительство Кастро и установил с ним дипломатические отношения. Но и только. По традиционному московскому мышлению

этот переворот означал лишь, что Батиста стал слишком одиозной фигурой для Вашингтона, и потому одну американскую марионетку сменили другой.

Это был обычный советский подход к политическим катаклизмам, происходящим в Латинской Америке в те далекие времена. Тем более что в своих заявлениях Кастро не выказывал тогда никаких симпатий Советскому Союзу. Правда, его брат Рауль Кастро считался коммунистом, но скрывал это почему-то от своего брата. А взгляды другого лидера кубинских повстанцев знаменитого Чегевары очень уж напоминали ненавистный троцкизм. Вот и решили два ведущих отдела ЦК — агитпроп и международный, что новые кубинские лидеры не наши люди и делать нам с ними нечего. Такая позиция была доложена Суслову, и он согласился. А Громыко не нужно было убеждать. Он руками и ногами отбивался оттого, чтобы влезть в Латинскую Америку.

Поведение кубинцев, казалось, подтверждало правоту этой линии. Всего три месяца прошло после победы кубинской революции, а Фидель Кастро был уже в Вашингтоне. И хотя президент от встречи с ним уклонился, его приняли вице-президент Никсон и государственный секретарь Гертер. Кастро заверил их, что с коммунистами у него нет ничего общего. А выступая в Обществе издателей американских газет, обещал свободу печати на острове. В сенатской же комиссии по иностранным делам обязался не экспроприировать американскую собственность.

Он явно не хотел ссориться с Америкой. Больше того — искал ее дружбы и поддержки. Докладывая Эйзенхауэру о своих впечатлениях от бесед с Кастро, Гертер сказал:

— Он очень похож на ребенка... Очень неопытен, озадачен и сбит с толку возникшими практическими трудностями.

В Москве расценили тогда, что Кастро поехал на поклон к дяде Сэму просить милостыни. И это было действительно так.

Если бы Эйзенхауэр поманил тогда Кастро хотя бы пальчиком, предложил ему пусть даже пустяковую эко-

номическую помощь, Куба могла прочно войти в сферу американского влияния. Позднее Кеннеди скажет: «Я не знаю, почему мы не приняли Кастро в свои объятия, когда он был в нашей стране, умоляя о помощи. Вместо этого мы сделали из него врага и теперь недовольны тем, что русские дают ему деньги, делая для него то, что должны были сделать мы».

Но президент был занят тогда Европой. Латинская Америка его особо не тревожила, и Вашингтон с холодным любопытством взирал на то, как барахтаются в политических и экономических неурядицах вновьявленные кубинские патриоты.

Положение Кубы, особенно экономическое, было очень тяжелым. И, наверное, американцы в конце концов протянули бы ей руку помощи. Такие проекты были. Но... чистая случайность все повернула в другую колею.

Зять Хрущева — Алексей Аджубей дружил с корреспондентом ТАСС в Аргентине Александром Алексеевым. Это была влиятельная фигура в КГБ — ветеран испанской войны, заведующий латиноамериканским отделом в Первом главном управлении (разведка) и ярый сторонник советского проникновения в Латинскую Америку. Он быстро сошелся с Фиделем Кастро, и они понравились друг другу. Прежде всего потому, что Алексеев совсем не походил на традиционного советского «советника по культуре», наглухо застегнутого на все пуговицы с обязательным галстуком, мрачно и уверенно изрекающего прописные истины. Как раз наоборот — он был раскован и остроумен, носил шорты и рубашку с короткими рукавами, принимал активное участие не только в острых политических дебатах кубинских лидеров, но и в их веселых застольях с вином и девушками, длившихся порою всю ночь.

В ноябре 1959 года Алексеев написал три ярких статьи об антиимпериалистической, антиамериканской борьбе кубинского народа во главе с мужественным и бородатым партизаном Фиделем Кастро. Под его руководством, писал он, кубинцы сделали выбор — «Родина или смерть!», который отражает их непреклонную волю отстаивать свободу и обеспечить развитие

Кубы по пути мира, демократии и социального прогресса.

Аджубей улучил момент и обратил внимание Никиты Сергеевича на эти пламенные статьи и сам вслух с выражением прочитал их ему. На Хрущева они произвели сильное впечатление. Несмотря на внешнюю суровость, Хрущев, как и многие властные натуры, был человеком сентиментальным. Он сразу вспомнил свою молодость, бои с белыми бандами, и героический облик кубинских повстанцев явно пришелся ему по душе.

А тут еще аналогичную информацию, но уже полученную по каналам вездесущего КГБ, положил ему на стол Шелепин. И не просто положил, а рассказал много интересных деталей о героической борьбе кубинского народа. Трудно сказать, договорились ли между собой Аджубей и Шелепин, но скорее всего так оно и было. В то время они еще играли в одной команде.

Хрущев все это намотал на ус, хотя каких-либо действий в поддержку Кастро пока не предпринял, он тогда еще делал ставку на разрядку и дружбу с Америкой. Но в феврале 1960 года послал Микояна на Кубу посмотреть и доложить, что происходит на этом таинственном острове.

Маленький, худенький Микоян с черными усиками а ля Чарли Чаплин был непотопляемой фигурой в советском руководстве, хотя в печати регулярно появлялись сообщения, что тучи над его головой сгущаются и он вот-вот падет. Но тучи рассеивались, и он продолжал ходить в близких друзьях и Сталина, и Хрущева.

Всю жизнь прожив в России, Микоян продолжал говорить с жутким армянским акцентом. Понять, что он хочет сказать, было порой просто невозможно. Особенно доставалось бедным переводчикам — не дай Бог переспросить: Микоян приходил в дикую ярость. Но с сильными мира сего он был по-восточному доброжелателен, произносил изящные тосты и рассказывал смешные истории. В общем, был душой компании.

С Фиделем Кастро он легко подружился, но оружия не предлагал. А вернувшись в Москву, дал кубинским революционерам весьма позитивную характеристику — они, конечно, еще не коммунисты, но стойкие борцы

против империализма за национальную независимость Кубы.

И тут как нельзя вовремя — был уже март 1960 года — на гаванском рейде взорвалось французское грузовое судно «Кобур». По словам Алексева, сомнений тут быть не могло — это ЦРУ подложило бомбу. После этого Кастро попросил оружие у Советского Союза. А затем — и топливо.

К лету 1960 года, как уже было показано, международная ситуация в корне изменилась. Хрущев метал громы и молнии, обвиняя Америку во всех смертных грехах. Поэтому на Кубу смотрели уже совсем другими глазами. Тем более что Кастро, проведя аграрную реформу, начал национализацию промышленности и банков, принадлежавших в основном американцам.

Правительство Эйзенхауэра решило поставить Кубу на колени старым и испытанным способом — экономической блокадой, — ограничив в первую очередь импорт кубинского сахара, который был тогда главным источником доходов Кубы. А Никита Сергеевич приказал заключить с Кубой экономическое соглашение. Он обещал поставлять ей до пяти миллионов тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно и закупать у нее два-три миллиона тонн сахара.

В начале июля, будучи в Австрии, Никита Сергеевич экспромтом выдал такую речь в поддержку Кубы, что не только в Вашингтоне — в Москве схватились за голову. Заявив, что Советский Союз окажет народу Кубы поддержку в его справедливой борьбе, Хрущев обрушился на США. «Не следует забывать, — выкрикнул он, — что теперь Соединенные Штаты не находятся на таком недостижимом расстоянии от Советского Союза, как прежде. Образно говоря, в случае необходимости советские артиллеристы могут своим ракетным огнем поддержать кубинский народ, если агрессивные силы в Пентагоне осмелятся начать интервенцию против Кубы. И пусть в Пентагоне не забывают, что, как показали последние испытания, у нас имеются ракеты, способные попадать точно в заданный квадрат на расстоянии тринадцати тысяч километров. Это, если хотите, является предупреждением...»

А когда в середине июля в Москве появился брат Фиделя Рауль Кастро, который занимал должность министра революционных вооруженных сил республики, Хрущев принял его и публично заверил, что Советский Союз «использует все для того, чтобы поддержать Кубу, ее мужественный народ в борьбе за свободу и национальную независимость. Поработить кубинский народ никому не удастся».

Заявления Хрущева произвели в Америке эффект внезапно разорвавшейся бомбы. Они разозлили и встревожили американцев больше, чем все, что делал и заявлял Хрущев до того. Еще бы — ведь теперь речь шла о появлении просоветского режима в 90 милях от побережья США.

Кубинская проблема сразу же оказалась в центре предвыборных баталий. Кеннеди сориентировался быстрее и неожиданно нанес нокаутирующий удар Никсону, обвинив администрацию Эйзенхауэра в бездеятельности, когда коммунистическая угроза появляется в девяти минутах полетного времени современного военного самолета от Флориды. Под этим знаменем он развернул энергичную кампанию в поддержку кубинских эмигрантов, которые ведут борьбу против ненавистного режима Кастро.

Пиком этой пропагандистской кампании было его заявление в конце октября: «США должны укрепить демократические силы на Кубе, которые дают надежду на свержение Кастро». Говоря это, Кеннеди знал, что ЦРУ с ведома правительства уже готовило кубинских эмигрантов к выступлению против Кастро. Но ажиотаж предвыборной борьбы брал верх над реальными фактами, и он продолжал обвинять демократов в бездеятельности. А тем оставалось только скрипеть зубами и бранить его самыми непотребными словами. Ведь публично заявить о том, что правительство готовит вторжение на Кубу, они не могли.

А тут еще новая напасть, точно как в русской поговорке «пришла беда — отворяй ворота». 1 июля в 10 часов утра бомбардировщик-разведчик ВВС США РБ-47 поднялся в воздух с базы Бриззортон в Англии. Он был начинен разведывательной аппаратурой и совершал

обычный облет вдоль «железного занавеса». У побережья Норвегии самолет пересек арктический круг, повернул к Баренцеву морю и полетел вдоль Кольского полуострова на расстоянии примерно 50 миль от берега, то есть в международных водах.

Все шло нормально. Только однажды вдалеке у горизонта появился советский истребитель и исчез. Американские летчики не придали этому никакого значения. И напрасно. В Москву сразу же пошло сообщение, что неизвестный самолет типа РБ-47, видимо американский, со шпионскими целями летит в направлении Кольского полуострова и далее, восточнее мыса Северный Нос, к Архангельску. Доложили Хрущеву, и он вспылил:

— Что, опять свой нос суют в наши дела? Сбить его к чертовой матери!

В 5.58 вечера самолет достиг крайней отметки на юго-востоке, за которой он должен был повернуть к северу и возвращаться домой на базу в Англию. Командир корабля майор Пальм отдал команду, и штурман Маккоун переключил радары от Кольского побережья. И сразу же справа, как тень, появился советский истребитель. Пальм все же повернул самолет к северу, но советский МиГ продолжал висеть на хвосте и открыл огонь. Старший лейтенант Ольмстед ответил залпом из двух 22-миллиметровых пушек. Но поздно, оба мотора на левом крыле были повреждены, а само крыло на глазах стало разваливаться. Самолет завалился влево и потерял скорость, с треском лопнул фонарь. Тогда командир отдал приказ экипажу покинуть машину.

Ольмстед катапультировался, и его обожгло ледяной волной воздуха. Парашют раскрылся. Неподалеку от него опускался штурман Маккоун. Остальных не было видно.

Шесть часов Ольмстед и Маккоун плавали в ледяной воде на надувном плотике, пока их не подобрал проходивший мимо советский траулер. Тело майора Пальма было найдено и в цинковом гробу передано впоследствии американцам. Остальных трех членов экипажа так и не нашли.

Новость о гибели самолета Джон Эйзенхауэр принес

родителям, когда те праздновали 44-ю годовщину своей супружеской жизни. Джону показалось, что из отца как будто выпустили воздух, он весь обмяк.

Что случилось с самолетом? Никто толком не мог объяснить. Получалось, что он просто исчез с экрана радара. Его могли сбить русские, но и не исключалась авария. Громоздкая и сложная аппаратура, которой были напичканы самолеты-разведчики, приводила порой к непредвиденным неполадкам и даже взрывам.

Неопределенность сохранялась несколько дней. И только 11 июля американскому поверенному в делах в Москве была вручена нота протеста, где прямо указывалось, что американский самолет-разведчик нарушил советское воздушное пространство и был сбит.

В тот же день взбешенный Эйзенхауэр сказал Гертеру, что больше не доверяет русским. Если США смогут доказать, что самолет сбит над международными водами, он разорвет отношения с Советским Союзом. Но ему тут же возразили: тогда придется публиковать данные станций слежения, а это скомпрометирует США и подтвердит, что они занимаются глобальным шпионажем. Со своей стороны Аллен Даллес предупредил, что, нападая на американские самолеты, русские пытаются запугать союзников США, чтобы они отказались от американских баз.

Не без горечи президент заметил, что самолеты США летают вдоль «железного занавеса» в международном воздушном пространстве практически каждый день. Если русские начнут сбивать их, ему придется ответить тем же. Это может вызвать новую мировую войну.

В Совете Безопасности ООН состоялась очередная советско-американская дуэль. Как и в случае с У-2, она была яростной и бессмысленной. Лодж утверждал, что полет РБ-47 совершался над международными водами, и радары в Англии все время держали самолет в поле своего видения. Почему же тогда, задал каверзный вопрос советский представитель Кузнецов, американские суда искали пилотов совсем в другом месте? Лодж не нашелся, что ответить. А к обвинениям в провокациях и шпионаже добавился теперь еще и РБ-47.

Правда, в октябре американцы начали играть на по-

нижение конфликта и делать подходы к Хрущеву по поводу судьбы двух пленных летчиков. Ему доложили, что один из высокопоставленных республиканцев встретился с послом Меншиковым и просил их освободить. «Мы, конечно, поняли, — вспоминал впоследствии Хрущев, — что Никсон хотел нажать на этом политический капитал в преддверии выборов». Поэтому он сказал своим коллегам:

— Мы никогда не сделаем Никсону такого подарка. Оба кандидата в тупике. Если мы окажем хоть малую поддержку Никсону, это будет интерпретироваться как выражение нашего желания видеть его в Белом доме. Давайте лучше подержим летчиков в тюрьме до исхода выборов.

Трудно сказать, почему в этой лавине, сметавшей все слабые ростки разрядки, уцелел женевский комитет по прекращению ядерных испытаний. 25 мая, сразу после провала парижского саммита, мудрый сэр Майкл Райт сказал Царапкину, что договориться теперь будет куда труднее. А 20 июня Соболев сообщил из Нью-Йорка, что советник американского представительства при ООН в Нью-Йорке П. Тэчер говорил, будто Уодсворд пишет в телеграммах из Женевы о стремлении Советского Союза заморозить теперь и переговоры по ядерным испытаниям до прихода новой администрации.

Это было не так. 9 июня на заседании Президиума состоялся обмен мнениями относительно судьбы переговоров в Женеве. И Хрущеву с Громыко удалось настоять тогда, чтобы они были продолжены.

— Этому огоньку нельзя дать погаснуть, — говорил Громыко после заседания своим разоруженцам. — Что бы ни случилось, переговоры надо сохранить — соглашение в Женеве почти готово.

Через неделю на заседании Президиума снова обсуждалось положение дел в Женеве. Делегации предложили руководствоваться директивами, которые были подготовлены для парижского саммита. Правда, без тех уступок, которые Хрущев мог бы при случае сделать на месте для достижения окончательного соглашения. Практически это означало, что делегация могла дать со-

гласие только на три инспекции в год. Но и это уже был шаг вперед, особенно на фоне всеобщего обвала.

Поэтому, на удивление всему миру, заседания трех делегаций проходили, как обычно, в девятом зале Женевского Дворца наций. Началось даже совещание технических экспертов по усовершенствованию системы контроля за подземными ядерными взрывами ниже порога 4, 75, на чем давно настаивали американцы. А в конце июня советник американской делегации Дэвид Марк подошел к одному из сотрудников советской делегации и предложил своего рода сделку:

— Если Советский Союз назовет конкретное число квоты инспекций, то США назовут свой срок моратория.

Царапкин немедленно сообщил об этом в Москву. Его телеграмма была разослана по «большой разметке», то есть всем членам Президиума.

И все же общая атмосфера нараставшей конфронтации не могла не сказаться на ходе переговоров — они явно теряли темп и целеустремленность. Даже самые стойкие приверженцы договоренности в обеих делегациях поняли: нужно обождать до лучших времен.

17 августа 1960 года выдалось промозглым и дождливым. Но, несмотря на это, Дом Союзов на Пушкинской улице окружала огромная толпа. Ее сдерживала цепочка милиционеров и людей в штатском.

Москва уже привыкла — в Доме Союзов звучат не только симфонии Чайковского, но происходят куда более завлекательные зрелища. Всех партийных вождей, включая Сталина, провожали в последний путь из Колонного зала. Там происходили знаменитые процессы 30-х годов над врагами народа.

Теперь здесь разыгрывался очередной спектакль — суд над американским шпионом Пауэрсом. Поэтому Колонный зал был битком набит зрителями, которым выдавали пригласительные билеты через райкомы партии. Первые ряды были зарезервированы для особых гостей, в их числе семья Пауэрсов и сотрудники американского посольства. Над громадной сценой, декорированной под судебное присутствие, нависали огромные, отдающие стальным блеском серп и молот. Слева на небольшом возвышении восседали судьи в генеральских погонах — Пауэрса судила военная коллегия Верховного Суда СССР. А рядом со скамьей подсудимого, как бы ему в укор, были выставлены обломки злополучного У-2. И все это на фоне гигантских красных знамен,

придававших действию какой-то зловещий, средне-вековый характер.

Ударил колокол, и зал возмущенно загудел, когда ввели Пауэрса. На этой огромной сцене он выглядел маленьким и жалким. Яркий свет прожекторов ослепил его, и он, явно ошарашенный этим театральным эффектом, моргал и щурился, пытаясь разглядеть своих близких в темном провале партера.

Генеральный прокурор СССР Руденко зачитал обвинительное заключение. Оно было длинным, прокурор читал его занудным голосом, и зал откровенно скучал. Наконец прозвучали слова:

— На основе вышеизложенного Фрэнсис Гарри Пауэрс... обвиняется в том, что, будучи завербованным в 1956 году Центральным разведывательным управлением США, вел активную шпионскую деятельность против Советского Союза, являющуюся выражением агрессивной политики, проводимой правительством США.

Председатель суда В. В. Борисоглебский, пытаясь подражать дикторам Московского радио, торжественно спросил:

— Подсудимый Пауэрс, признаете ли вы себя виновным?

— Да, — грустно ответил Пауэрс, — признаю.

Его жена Барбара зарыдала в голос. При том, что всю прошлую ночь провела в объятиях любовника.

На дневном заседании начался допрос обвиняемого. Зал явно оживился. На глазах у всех разворачивалось увлекательное зрелище загонной охоты. Жертва еще держалась, пыталась увильнуть от вопросов прокурора, которые, как безжалостные гончие псы, гнали ее к месту гибели. Постепенно азарт охоты охватил зал — не дать уйти, не дать вывернуться, зафлажить, как волка, со всех сторон. Беспощадный, торжествующий инстинкт первобытного охотника возобладал над толпой.

Демонстрируя суду карту полета Пауэрса, прокурор грозно спрашивал, когда Пауэрсу впервые было поручено летать над Советским Союзом.

А Пауэрс, прикидываясь невинным мальчиком, говорил, что впервые узнал об этом утром 1 мая, когда услышал приказ полковника Шелтона. И вообще он, летчик-спортсмен, который нанимался перевозить богатых людей по всему миру. Ему просто не положено интересоваться, зачем и почему они туда летят.

— Какие задания вы совершили до первого мая тысяча девятьсот шестидесятого года?

— Несколько полетов вдоль южной границы Советского Союза. Я не помню, сколько их было.

— Что вы фотографировали?

— Я не знаю. Я просто нажимал кнопки.

Теперь слово было предоставлено защитнику Пауэрса Н. И. Гриневу. Он повел защиту в классическом стиле тех лет. Роли между ним и прокурором были четко распределены. Но спектакль был написан по одному сценарию. Судили не Пауэрса — с ним было все ясно. Судили Соединенные Штаты.

— Перед вами, — заявил Гринев, — типичная жертва капиталистического общества, которую экономические трудности, присущие капитализму, вынудили пойти в шпионы. — В подтверждение этого защитник показал фотографию скромного домика, в котором жила семья Пауэрса.

— Почему вы стали работать на ЦРУ? — участливо спросил он.

— Это давало мне возможность заплатить долги и скопить деньги. Я надеялся купить собственный дом и заняться бизнесом, чтобы не зависеть от родителей.

— Вы сожалеете сейчас о том, что случилось?

— Да, я понимаю, что прямым результатом моего полета явился срыв совещания в верхах и ответного визита президента Эйзенхауэра в Советский Союз. Произошло, как я понимаю, резкое увеличение напряженности в мире, и я искренне сожалею, что оказался причастным к этому.

Заседание суда 19 августа началось с выступления прокурора, который без обиняков заявил, что на

скамье подсудимых находится не только Пауэрс, но и «преступная агрессивная деятельность правящих кругов США, направленная против мира и безопасности народов».

— Пауэрса, — говорил он, — нельзя считать просто бессловесным исполнителем чужих приказов. Добровольно продав свою честь и совесть, всего себя за доллары, он совершил преступный акт, чреватый опасностью для многих миллионов людей. Если американские империалисты развяжут войну, то именно такие пауэрсы, взращенные в условиях так называемого свободного мира, будут сбрасывать атомные и водородные бомбы на мирную землю.

Прокурор не требовал смертной казни, учитывая раскаяние Пауэрса, но просил суд дать ему пятнадцать лет тюрьмы.

После него выступил защитник Гринев.

— Перед вами, — убеждал он, — всего лишь инструмент агрессивной политики администрации Эйзенхауэра — Никсона — Гертера, не более того. Массовая безработица вынудила его стать летчиком ВВС США. Как все американцы, он поклонялся его величеству Доллару. Он не понимал, что те две с половиной тысячи, которые он получал ежемесячно, издают мерзкое зловоние. Подписав контракт с ЦРУ, Пауэрс не знал, что ему уготовано. Но, давая честные показания советскому суду, он рискует навлечь гнев своих американских хозяев. Поэтому он заслуживает менее сурового наказания.

Пауэрс сказал в своем последнем слове:

— Я знаю, что совершил тяжкое преступление, и понимаю, что должен понести наказание. Но прошу суд принять во внимание, что секретная информация, которая мною была собрана, так и не достигла адресата. Я не враг русскому народу и очень раскаиваюсь.

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Из них первые три года он должен был просидеть в тюрьме, а остальные — в лагере. Однако уже через полтора года, 10 февраля 1962 года в Берлине произошел обмен шпионами. Коренастый Пау-

эрс в меховой шапке-ушанке прошел в Западный Берлин, а навстречу ему в восточную часть города — худой высокий человек в черных очках — Рудольф Иванович Абель, осужденный в Америке как советский шпион.

На следующий день после окончания суда Громыко направил письмо генеральному секретарю ООН Хаммаршельду с просьбой включить в повестку дня XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос «Об угрозе всеобщему миру, создаваемой агрессивными действиями США против Советского Союза». Этими действиями были полеты У-2 и РБ-47.

Дальнейшая судьба Фрэнсиса Гарри Пауэрса сложилась неудачно. По возвращении в Штаты его лишили воинского звания, армейской выслуги и уволили со службы без сохранения пенсии. Ему удалось устроиться на работу в авиакомпании «Локхид», но в августе 1977 года он погиб при катастрофе вертолета.

## «БАЛТИКА» БЕРЕТ КУРС НА НЬЮ-ЙОРК

Сообщения телеграфных агентств в июле и августе 1960 года напоминали сводки боевых действий с фронтов: У-2, РБ-47, Куба, Берлин, Конго, Лаос. Но это были разрозненные сражения. Главный и решительный бой американскому империализму Хрущев собирался дать осенью на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого он решил ехать в Нью-Йорк сам и собрать там всех глав государств и правительств. Устроить некое подобие совещания на высшем уровне, но уже с участием социалистических, нейтральных и неприсоединившихся стран. Хрущев был уверен, что они его поддержат.

Информируя Томпсона о своем решении ехать в США, Хрущев демонстративно наступил послу на ботинки и сказал при этом:

— В порядочном обществе, если кто-то сделает так, то извиняется.

Вечером 9 сентября 1960 года из военно-морской базы Балтийск возле бывшего Кенигсберга отплыл теплоход «Балтика». Он дал продолжительный отходный гудок, и на берегу сразу же грянули оркестры. Тысячи людей привычно скандировали: «Мир! Дружба!»

А сам белоснежный теплоход напоминал Ноев ковчег. Вместе с Хрущевым на палубе стояли руководители Болгарии, Румынии и Венгрии, а также Украины и Белоруссии — они тоже были членами ООН. Их сопровождали многочисленные советники и эксперты, так

что кают на всех не хватило. И тому, кто чином не вышел, пришлось размещаться в матросских кубриках.

В общем-то теплоход был комфортабельный, но старый — его построили в Амстердаме для Германии еще в 1940 году. После войны в счет репараций он был передан Советскому Союзу и получил название «Вячеслав Молотов». А в 1957 году был переименован в «Балтику».

В этом ответственном путешествии через океан «Балтику» сопровождали два минных тральщика: один спереди, другой за кормой — не дай Бог, коварные американцы подбросят мину и скажут, что это одна из тех, что еще плавают в океане после второй мировой войны. Такая возможность серьезно обсуждалась на Президиуме.

Сразу же после отплытия на борту состоялся пышный банкет в честь болгарских братьев, которые праздновали День свободы — очередную годовщину победы болгарской революции. Столы ломились от икры, осетрины и семги. Шампанское, водка и коньяк текли рекой. Поначалу гости в темных официальных костюмах чувствовали себя несколько скованно, но Хрущев быстро разрядил обстановку. Встав со своего места, стал ходить от стола к столу, чокаясь со всеми, произнося тосты и рассказывая смешные истории. Подойдя к корреспондентам, Хрущев сразу же выговорил им, что они больше пьют, чем едят.

— Что случилось, — сказал он, напуская на себя грозный вид. — Вам не подходят продукты, заготовленные на пищеблоке «Балтики»?

И, не дожидаясь ответа, схватил стакан с пивом, который стоял перед его зятем Аджубеем, понюхал и громко заявил:

— Так и знал, что ты пытаешься маскироваться. Но я поймал тебя — ты пьешь пиво пополам с водкой.

Со следующего дня жизнь на корабле вошла в строгий график. Ровно в восемь склянки отбили начало рабочего дня. Хрущев вышел на палубу и внимательно наблюдал церемонию поднятия государственного флага. Затем сел в плетеное кресло. Олег Трояновский стал читать ему вслух последнюю сводку новостей, пе-

реданную по радио из Москвы, и другие важные сообщения. Так было каждый день, даже в шторм, если только не лил дождь.

После этого здесь же, на палубе, или в кают-компании Хрущев собирал членов делегации — Громыко, Солдатов, некоторых советников — и начинал обсуждать проблемы, которые могут возникнуть в Нью-Йорке. Непременными членами этих «посиделок» были его помощники Лебедев и Трояновский. На совещаниях они обычно помалкивали, но потом, когда начиналась доработка документов, решали, что оставить, а что вычеркнуть.

Однако ведущими советчиками Хрущева на «Балтике» были не Громыко и его дипломаты, а главные редакторы «Известий» и «Правды», а также директор ТАСС Горюнов. Это они создавали пропагандистский ореол поездки. Для пушего эффекта к приезду в Америку приурочили даже запуск ракеты на Марс — вот шуму-то будет по всему миру. Не получилось — ракета взорвалась на старте.

Основная тема этих совещаний — выбор направления главного удара. Спор начался еще в Москве. Вспомнили, что еще Вышинский говорил — Советский Союз должен использовать в ООН тактику «заколачивания гвоздей». Это означало, что на сессии Генеральной Ассамблеи советская делегация вносила какой-нибудь один главный вопрос, который и задавал направление борьбы между империализмом и социализмом практически на весь год. Разумеется, Советский Союз выдвигал на обсуждение немало других проблем. Повестка дня нередко содержала более полутора сотен вопросов, которые распределялись затем по комитетам. Но был один стержневой, вокруг которого кипела основная дискуссия либо на самой Генеральной Ассамблее, либо в ее Политическом комитете. Выбору такого вопроса всегда уделялось большое внимание, и к его обсуждению готовились особенно тщательно:

На этот раз Хрущеву было предложено три вопроса, из которых нужно было выбрать главный.

Громыко считал нужным обсудить и принять на сессии основные принципы Договора о всеобщем и пол-

ном разоружении, идея которого получила одобрение в ООН еще в прошлом году. Комитет десяти по разоружению оказался не в силах решить эту задачу и превратился в ширму для гонки вооружений. Теперь Генеральная Ассамблея должна осудить милитаристскую политику Запада и одобрить основные принципы всеобщего разоружения, предложенные Советским Союзом.

План этот был всем хорош, кроме одного — яркая и эффектная идея всеобщего и полного разоружения уже была отстреляна на прошлой сессии самим Хрущевым и ошутимого пропагандистского успеха принести никак не могла. Аджубей и Сатюков справедливо указывали, что дискуссия переходит теперь в область технических деталей, в которых нелегко разобраться простому человеку с улицы. Поэтому на гвоздевой вопрос эта тема не тянет.

Шелепин предлагал поставить на сессии вопрос об обсуждении агрессивного американского шпионажа — инциденты с У-2, РБ-47 и другие. Тема эта, конечно, была выигрышной и злободневной. Она наверняка привлекла бы к себе внимание. Но слишком сильно выпирало в ней советско-американское противостояние, и третий мир, на чью поддержку рассчитывал Советский Союз, в ходе дискуссии мог ее проигнорировать. Кроме того, и МИД, и пропагандистская команда справедливо опасались, что Запад в ответ выдвинет столько контрбвинений, что неизвестно еще, кому придется больше отбиваться.

Тогда Громыко при поддержке международного отдела ЦК предложил идею Декларации ООН о полной и окончательной ликвидации колониализма. Пожалуй, это было как раз то, что искал Хрущев, — удар в самую болевую точку.

Известное изречение, что нигде так не врут, как на войне и на охоте, давно пора дополнить — и во время визитов на высшем уровне. Особенно когда речь идет о советских лидерах. Все должно быть помпезно и прекрасно, и ничто не может омрачать эту благостную картину. Даже погода, и та должна быть солнечной.

Взять, например, сообщение пресс-группы о втором дне путешествия на теплоходе «Балтика», 10 сентября.

«Сегодня море спокойное, солнечно. На «Балтике» деловая рабочая обстановка. Н. С. Хрущев, Н. В. Подгорный, К. Т. Мазуров, А. А. Громыко занимались текущими делами, обсуждали вопросы предстоящей сессии ГА ООН. Заняты работой и делегации Венгрии, Румынии, Болгарии, возглавляемые товарищами Я. Кадаром, Г. Георгиу-Деж, Т. Живковым... В 13 часов турбоэлектроход прошел в виду берегов Швеции и Дании».

А вот как было на самом деле.

«Второй день, — вспоминает Хрущев, — Балтика встретила нас недружественным образом. Опустился густой туман. И мы могли только слышать вой сирен и сигналы бакенов вокруг нас. Ничего практически не было видно. И капитан вел нас от одного бакена к другому, как в беге с эстафетой. В конце концов туман рассеялся, и мы увидели побережье Дании».

Но работали на «Балтике» действительно много. Хрущев своей энергией никому не давал покоя. Раздав многочисленные поручения, он после утреннего совещания вызывал машинисток и диктовал им заготовки к своим речам и беседам в Нью-Йорке или же указания в Москву. Машинистки едва успевали менять друг друга. Задиктовки были ужасными — факты и цифры зачастую искажены. А язык настолько безграмотный, что можно только удивляться, как такой человек правит великой державой.

Потом эти задиктовки часами приходилось править и придавать им нормальный, присущий русскому языку облик. Хрущев постоянно менял пропагандистскую окраску советских инициатив. Он не любил сухого чиновничьего стиля бумаг, которые ему готовил Громыко. Поэтому команда экспертов шлифовала в основном язык и стиль хрущевских речей так, чтобы сделать их понятными простому человеку, которого не интересуют политические тонкости.

На «Балтике» буквально шла охота за острым словом, ярким изречением и, конечно, пословицами и поговорками, до которых Хрущев, как уже говорилось, был большой любитель. Найти к месту такую поговорку считалось большим достижением. Громыко для этого

не годился. Но искусными мастерами здесь оказались Аджубей, Сатюков и некоторые хрущевские помощники.

Много работали и другие делегации, но каждая в своем углу. Разумеется, «друзья» были посвящены в замыслы основных советских инициатив, но деталей им не раскрывали. Время от времени какой-нибудь советник братской делегации зазывал к себе в каюту советского дружка, ставил на стол бутылку коньяка и пытался выпытать эти детали или заполучить текст советских речей. Особенно этим отличались болгары.

Тут приходилось держать ухо востро. Существовало неписаное правило — друзья-то они, конечно, друзья, но до конца с ними откровенными быть нельзя. Сколько раз бывало, что сказанное им на ушко в доверительном порядке становилось известным американцам. А потому проекты речей Хрущева им ни в коем случае не давали. Бывали случаи — покажешь другу-приятелю, такому же речеписцу, скажем, из Чехословакии советский проект, а он его, практически не меняя, вставит в речь своего премьера. А потом иди разбирайся, кто у кого украл.

Впрочем, между «друзьями» были явственно видны различия. Болгары и чехи демонстрировали тогда самое теплое отношение к русским братьям. Румыны, наоборот, подчеркивали особый характер своей позиции, прежде всего в мелочах. Остальные держались ровно, лояльно.

Во всем этом сложном переплетении взаимоотношений только Хрущев, казалось, оставался самим собой. Он бродил по пароходу, и всегда его сопровождала толпа, почтительно державшаяся на расстоянии. А Никита Сергеевич, не обращая на нее никакого внимания, вступал в разговоры и с Кадаром, и с Живковым, и с простыми матросами. Им он любил рассказывать свои нескончаемые истории, на удивление незамысловатые и даже примитивные, как какой-нибудь старый дед в деревне на завалинке или бывалый матрос в кубрике. «Гляжу, — вспоминал секретарь делегации Н. И. Моляков, — на носу толпа матросов собралась. Это значит, Хрущев свои байки рассказывает. Подхожу и слышу:

— Во время войны с японцами в тысяча девятьсот пятом году русским флотом командовал князь, которого все недолюбливали. Он не знал дела, но с моряков драл три шкуры. А его заместитель был наоборот — человек добрый и знающий морскую службу. Но вот пришло сообщение, что японцы потопили флагманский корабль и оба, командующий и его заместитель, погибли. Весь флот скорбил по заместителю и радовался, что утонул князь. Затем пришло второе сообщение — в нем говорилось, что кое-кому с затонувшего флагмана удалось спастись. Среди них — командующий, а вот его заместитель утонул точно. И я вам скажу, что говорили тогда простые матросы. Они говорили: «Мы знали это, потому что золото тонет, а дерьмо плавает».

По вечерам, за ужином, хорошенько выпивали, и начиналось веселье. Большею частью крутили кино, а один раз даже смотрели концерт художественной самодеятельности экипажа «Балтики». Сияющий Хрущев сидел в окружении руководителей других социалистических стран и горячо аплодировал. Только Георгиу-Деж сохранял каменное лицо и медленно прикладывал одну ладошку к другой.

После этого ходили друг к другу в гости и продолжали пить. Тут самым стойким партнером у Хрущева оказался Кадар. Одна помеха была в их дружбе — Кадар плохо говорил по-русски, а когда выпивал, собеседником уже быть не мог. Тогда Хрущев переключался на Живкова. Тот хотя и считался не столь сильным бойцом по части выпивки, но с ним можно было поговорить.

Глядя на руководителей, пили и гуляли советники, охмуря в барах и салонах «Балтики» стюардесс, машинисток и официанток. Случались и короткие романы. Правда, мидовцы вели себя осторожно. Сам Громько в гулянках Хрущева принимал участие только в случае крайней необходимости. И косо смотрел на тех своих сотрудников, которые, по его выражению, водили дружбу с бутылкой.

12 сентября, миновав мыс Корнуолл, «Балтика» вышла в открытый океан. Погода исправлялась, и во всю сияло солнце. Но дало себя знать тяжелое дыхание

океана. Упругий ветер срывал с волн белые шапки пены, а сами волны мерно раскачивали маленькую «Балтику». Это был еще не сам шторм, а отголосок разбушевавшейся стихии на далеких северных широтах.

Берега Англии скоро скрылись. Минные тральщики сопровождения повернули домой. Но «Балтика» не осталась одинокой в океане. Всем советским судам в Атлантике был дан приказ изменить курс и находиться на всякий случай вблизи парохода. Поэтому нет-нет да и попадались на глаза Хрущеву то танкер «Черновцы», то «Белгород» — всем им Хрущев слал приветственные телеграммы. Очень он любил этот ритуал.

Здесь, на выходе в Атлантику, было получено сообщение, что американское правительство, руководствуясь интересами безопасности Хрущева, решило ограничить его пребывание в Америке строго рамками района Манхэттена в Нью-Йорке. Никита Сергеевич отреагировал удивительно спокойно.

— Я ждал этого, — сказал он. — Американцы меня боятся. Они чувствуют правду и силу нашей позиции. Вот и хотят оградить народ от встреч со мной.

Однажды Хрущеву сказали, что около «Балтики» появилась неопознанная подводная лодка. Хрущев, который редко расставался с биноклем, сразу же навел его на субмарину и уверенно определил — американская.

— Зачем она поднялась на поверхность и идет рядом с нами одним курсом? — спрашивал Хрущев и сам же отвечал: — Несомненно, это своего рода провокация, недружественная демонстрация силы. Я думаю, что американцы хотят плеснуть нам в лицо холодную воду...

Надвигавшийся шторм сильно выкосил ряды советской делегации. Лучшим барометром служил обеденный стол — все меньше и меньше людей приходило завтракать и обедать.

Сам Хрущев, хотя и оказался первый раз в океане, морской болезни не был подвержен. Даже спал еще крепче. Как пишет в своих мемуарах, «я никогда не пропускал ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Иногда случалось, что только еще один человек сидел за столом — сотрудник какой-то братской делегации».

Даже охрана валялась в лежку. Не помогал и рецепт

Молякова: «Двести граммов с утра — и так весь день». Хрущев как-то меланхолично заметил: «Водка пользуется все меньшим спросом».

Правда, один из членов «доблестной референтуры», будущий шпион Аркадий Шевченко, волей случая оказавшийся на этом корабле, пишет, что совет Молякова ему помог и он смог даже не раз поговорить с Хрущевым, пользуясь тем, что привычные его собеседники лежали в каютах. Он даже попытался посеять у Хрущева сомнения в значимости идеи всеобщего и полного разоружения, которую сам когда-то ему и подкинул. Но тщетно.

А работать приходилось, несмотря на шторм. Из Конго поступали сообщения одно тревожнее другого. Там шла гражданская война. Поэтому, свидетельствует Хрущев, на «Балтике» особенно внимательно следили за событиями, которые стремительно развивались в этой стране. Часами просиживал он с Громыко, Солдатовым, Моляковым, обсуждая ход за ходом их неожиданные повороты. Чем-то это напоминало игру в шахматы, где четыре умудренных опытом гроссмейстера азартно разыгрывают дебют, а затем и различные комбинации. Вот только с эндшпилем у них все не клеилось.

...Народ Конго под руководством своего вождя Патриса Лумумбы в начале 1960 года поднял восстание против бельгийских колонизаторов и добился независимости. Это первый ординарный ход пешкой в начале шахматной партии, так сказать, e2—e4. Встречный ход, полностью вписывающийся в эти правила: внутренние беспорядки в Конго, ввод бельгийских войск и отделение Катанги, самой богатой и независимой провинции. Далее начиналась комбинация, хотя и сложная, но внутренняя логика которой была вполне предсказуемой.

Премьер Лумумба просит ООН направить войска для восстановления целостности и порядка в стране. 14 июля 1960 года Совет Безопасности, естественно, при поддержке Советского Союза принимает компромиссную резолюцию Туниса, в которой Бельгию призывают вывести войска из Конго. Генеральный секре-

тарь ООН по согласованию с конголезским правительством должен принять все меры для предоставления Конго «такой военной помощи, какая может оказаться необходимой...». Американский представитель тоже голосует за эту резолюцию. А Лумумба прилетает в США просить оружия и поддержки.

Все понятно. Игра идет по правилам. Лумумба — типичный представитель мелкой буржуазии, оказавшийся на гребне революционных событий, и к кому, как не к своим хозяевам, ему идти с протянутой рукой. Но дальше логика не срабатывает. В Вашингтоне Лумумбе отвечают отказом.

— Почему? — кричал Хрушев. — Объясните мне почему? Что, американцы совсем сдурели? С жиру бесятся? — И стучал своим огромным кулаком по столу.

Этот вопрос он выкрикивал еще в Москве в середине июля, когда из советского посольства в Вашингтоне пришли первые скудные сообщения о том, что американцы решили не оказывать Лумумбе никакой помощи. В чем дело?

Шеф КГБ Шелепин энергично рубил воздух рукой:

— Непременно разберемся, Никита Сергеевич, дадим указания всем нашим резидентурам...

Громыко глубокомысленно говорил о двойственном характере национально-освободительного движения, которое вызывает настороженность у Соединенных Штатов. Куба — лучший тому пример. Обожглись на молоке, дуют теперь на воду.

А секретарь ЦК Пономарев со своими партийными идеологами совсем запутались. Они объявили, что дряхлеющий американский империализм уже просто не способен ориентироваться в тонких политических процессах, загнивает.

Худо-бедно, но тогда пронесло. Все пошло по накатанной схеме. Не получив помощи в Вашингтоне, Лумумба обратился к Москве и встретил там горячую поддержку. Советская помощь в отличие от американской не заставила себя ждать — сначала экономическая, а потом и военная, включая транспортные средства и самолеты. В стране появились советские специалисты. В августе правительство СССР заявило, что окажет

Конго срочную помощь в создании национальной армии.

Вскоре в Конго пришли советские корабли с тракторами и специалистами, а на аэродромах оказались советские летчики. Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд тут же выразил протест. Это вызвало гнев Хрущева. Хам, как презрительно называл его Никита Сергеевич, превратился в главного козла отпущения — пособника империализма.

Тем не менее в сентябре ситуация развивалась явно не в пользу Лумумбы. Политическую обстановку он уже не контролировал, и президент Касавубу объявил по радио о его смещении. Борьба между ними продолжалась недолго. Сержант конголезской армии Джозеф Мобуто совершил военный переворот и, объявив себя диктатором, сформировал новое правительство в основном из студентов и технических специалистов. Дальше — больше. Он потребовал немедленно закрыть советское посольство, а советским дипломатам убираться домой.

В общем, случилось так, что, пока Хрущев плыл в Нью-Йорк, собираясь поставить там вопрос об освобождении колоний, в Конго ситуация до крайности обострилась, там появились сразу три правительства — Лумумбы, Касавубу и Мобуто. В Катанге сидел Чомбе, а войска ООН толком не знали, какое правительство они теперь должны поддерживать.

Сообщение об этом калейдоскопе событий, да еще в интерпретации советских послов и резидентов КГБ, передавалось на «Балтику», и там их часами обсуждали в узком кругу. Хрущев был очень недоволен.

— Конечно, — говорил он, — заговор против конголезского народа и его вождя Лумумбы возглавляют американские империалисты. Пользуясь слабостью Хама, американцам удалось использовать в своих целях командование войск ООН, а теперь генсек уходит в кусты и с умилением смотрит, как разыгрывается последний акт конголезской трагедии. Конго ускользает из наших рук, но мы не должны мириться с этим.

Особенно он сердился на Хаммаршельда.

— Плевал я на ООН, — кричал Хрущев в гневе. —

Это не наша организация. А никудышный Хам сует свой нос в важнейшие дела, которые его не касаются. Он присвоил власть, которая ему не принадлежит. За это ему придется поплатиться. Мы еще устроим ему жаркую баню...

С «Балтики» пошло указание Зорину в Нью-Йорк выразить протест Хаммаршельду, временно отозвать из Конго посольство СССР и потребовать созыва чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для рассмотрения вопроса «об угрозе территориальной целостности и политической независимости государства Конго». Тогда же на «Балтике» у Хрущева родилась идея, как избавиться от Хаммаршельда и парализовать любую неугодную Советскому Союзу деятельность генсека ООН.

— Нужно, — заявил он, — предложить вместо одного генсека трех: одного от социалистических стран, другого — от западных и третьего — от нейтральных. И пусть эта тройка решает все вопросы по согласованию между собой.

Против этой идеи осторожно возражал Громыко:

— Она противоречит нашей линии препятствовать ревизии Устава ООН. Если только начать процесс изменения этого Устава, то неизвестно, что от него останется.

Но Хрущеву идея тройки пришлась по душе, и он велел включить ее в текст своей главной речи на Ассамблее.

19 сентября. Раннее утро. Набережная Ист-ривер в Нью-Йорке. Из густого тумана, опустившегося на воду, неожиданно вырастает форштевень корабля. На носу его в ряд, как на Мавзолее, стоят Хрущев, Георгиу-Деж, Кадар, Живков, Подгорный и Мазуров.

Но на пирсе практически ни души, только жметесь жалкая кучка советских дипломатов и друзей из братских социалистических стран. От властей — никого. Официальная Америка встретила Хрущева холодно. Она не одобряла его импровизированного приезда в Нью-Йорк и не желала, чтобы сессия Генассамблеи превращалась в некое подобие совещания, а точнее, митинга на высшем уровне.

А тут еще неожиданная забастовка: профсоюз докеров, возглавляемый Гарри Бриджесом, который год назад так тепло приветствовал Никиту Сергеевича в Сан-Франциско, теперь в знак протеста против его приезда в США отказался принимать советский пароход. Пришлось загодя посылать советских моряков с «Балтики» на аварийных шлюпках, чтобы они первыми высадились на берег и приняли швартовы у причала. Операция эта была довольно сложной, так как им не были известны ни сила приливной волны, ни другие особенности нью-йоркской бухты. К тому же дипломаты, рьяно бросившиеся помогать матросам, только еще больше усложнили операцию высадки. К счастью, обошлось.

Хмурый Хрущев сошел на берег и осмотрелся. Пирс являл собой отвратительное зрелище. На причале, где пришвартовалась «Балтика», было грязно и запущено. Короче говоря, встретили Хрущева далеко не так, как он рассчитывал. Впрочем, во многом он был виноват сам. Еще на подходе к Нью-Йорку капитан спросил его, где просить место для стоянки судна, назвав цены от «королевской» до «угольной». Никита Сергеевич в свойственной ему манере взорвался:

— Какого черта мы должны тратить наши деньги на какой-то пирс. Какая разница, куда пристанет судно? Скажите нашему послу, чтобы он выторговал самый дешевый.

Посол Меньшиков и Зорин, который только-только был назначен советским представителем при ООН, выполнили этот наказ Хрущева буквально: пирс, который снял Меньшиков, практически был самым дешевым — им недавно вообще перестали пользоваться. Недовольный Хрущев сел в машину, и кавалькада тронулась в советское представительство на Парк-авеню.

Разумеется, в советской печати все это выглядело по-другому: «У причала с раннего утра собрались многочисленные встречающие. Развешаются государственные флаги СССР, Украины, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Румынии. На трапе появляется Н. С. Хрущев. Бурные аплодисменты...»

В тот же вечер Зорин пришел к Хрущеву обговорить

программу его пребывания в Нью-Йорке. Вышел он от него обескураженный. Поделится с сотрудниками:

— Никита Сергеевич сказал, что хочет завтра встретиться с Фиделем Кастро. Я предложил ему пригласить кубинца к нам в представительство, а он наотрез отказался — поеду к нему сам. Я ему говорю — это невозможно. Кастро живет в Гарлеме — нищем негритянском районе. Туда белые люди не ходят. Да и не принято руководителю Советского Союза ехать к главе маленькой латиноамериканской страны, которую никто не признает. КГБ также возражало — они не смогут обеспечить безопасность. А он на нас кричал. Плевал, говорит, я на ваш протокол и безопасность. Хочу поехать к Кастро и поеду. Пусть меня американцы танками останавливают!

Замысел Хрущева был ясен. Одно дело — принимать революционера Кастро в респектабельной советской резиденции в самом фешенебельном районе Нью-Йорка, а другое дело — поехать к нему в нищий Гарлем, не чинясь ни возрастом, ни положением. Демонстративно остановившись в Гарлеме, Кастро хотел показать, что он близок простым людям. Что ж, и он, Хрущев, не безразличен к простому народу.

На следующий день, не предупредив полицию и американскую службу безопасности, Хрущев отправился в Гарлем. Он считал, что любой член делегации, приехавший на сессию Генассамблеи, имеет право свободно передвигаться по городу. Но очень скоро понял, что без содействия нью-йоркской полиции ему не обойтись.

Поначалу автомобиль спокойно ехал, застревая временами в общем потоке. Но на полдороге полиция перехватила его машину и воем сирен привела в смятение весь поток транспорта. Началась грандиозная сумятица. Известно, как разгораются страсти во время пробок. Многие вообще не понимали, из-за чего возникло это вавилонское столпотворение. Но когда поняли, то разозлились. В машину Хрущева полетели помидоры и яблоки. Спасли мастерство и хладнокровие советского шофера, а также усиленные наряды полиции.

Возле отеля «Тереза», где остановилась кавалькада машин, бурлила толпа. Грязная, заплеванная пло-

щадь, окруженная ветхими домами, была заполнена неграми, пуэрториканцами, бежавшими с Кубы контрас. Одни выкрикивали приветствия, другие — проклятья.

Охрана Хрущева пробила узкий проход в толпе и протолкнула Никиту Сергеевича в холл. Лифт поднял его на этаж к Фиделю Кастро. В небольшой комнате скопилось столько народу, что не то что сесть, стоять было негде.

Хрущев и Кастро внимательно разглядывали друг друга. Они встречались впервые — пожилой маленький толстяк с лысой, блестящей, как бильярдный шар, головой и молодой гигант с черной, как смоль, бородой и пышной шевелюрой. Когда они обнялись, то зрелище было просто уморительное. Хрущев обнимал Кастро не за плечи, а где-то у талии, а голова его оказалась у кубинского премьера под мышкой.

В конце концов набившийся в кабинет народ удалили, и они остались одни. Беседа была недолгой. Но оба лидера остались ею довольны.

— Я считал своим долгом, — сказал Хрущев корреспондентам, — нанести визит этому героическому человеку, который поднял знамя борьбы кубинского народа за свою свободу и независимость, борьбы бедных против богатых и обеспечил победу трудового народа.

А американцам, которые внимательно следили за всеми маневрами Хрущева, эта встреча, конечно, не понравилась. Как записал в своих мемуарах Эйзенхауэр, она усилила их подозрения, что Кастро является коммунистом...

## БАЛАГАН НА ИСТ-РИВЕР

Вот так шумно, порой в стиле балаганного детектива развивались события перед открытием XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН, создавая ощущение искусственно нагнетаемой и одновременно реальной напряженности.

Надо сказать, что к острой политической борьбе эта организация, штаб которой размещался в районе Ист-Ривер, была не готова. Сессии Генеральной Ассамблеи давно стали рутинными. Даже ежегодные гневные выступления советского министра иностранных дел лишь на какой-то момент могли всколыхнуть сонное болото пустых ооновских дискуссий, направленных в конечном счете на то, чтобы принять очередную составленную из многочисленных компромиссов и потому мало значащую резолюцию, о которой вскоре забудут. Пока на сессии присутствовали министры, зал еще бывал относительно заполненным — тут действовала взаимная солидарность дипломатов: не придешь слушать чужого министра и на выступление твоего никто не придет. Что, естественно, твоему министру вряд ли понравится. Но когда министры разъезжались и начинали работать комитеты, залы бывали не то что полупусты, а просто пусты. Все дела делались не там, где произносились речи, а за кулисами, в многочисленных барах, где за обязательным мартини находились компромиссы, которые потом и затверждались Генеральной Ассамблей.

Хрушев, естественно, не знал всей этой механики.

когда решил в течение всех двадцати пяти дней лично участвовать в работе Генассамблеи. Однажды ему предстояло выступить на утреннем заседании, и в зале после воскресного дня было не больше десятка представителей различных стран. Это возмутило советского лидера. Обращаясь к председателю и к генеральному секретарю ООН, он потребовал немедленно обеспечить кворум.

— Народы, — восклицал Хрущев, — думают, что их полномочные представители в ООН борются за мир и справедливость, а на самом деле многие господа, видимо, не пришли в себя после воскресных развлечений.

Был объявлен краткий перерыв, а из баров и резиденций стали вытаскивать обескураженных дипломатов: «Приезжайте, Хрущев скандалит». Вскоре зал и галерея для гостей были полными, публика в ООН падка на скандалы.

В Вашингтоне долго ломали голову, зачем Хрущеву понадобилось ехать в ООН. Проталкивать свои предложения о всеобщем и полном разоружении? Устроить грандиозное политическое шоу с разоблачением американской политики и тем самым повлиять на выборы в США? Показать, что Советский Союз все еще является главным рупором коммунистических сил? А может быть, он просто искал повода встретиться с Кастро? На все эти вопросы не было рационального ответа потому, что само решение Хрущева о поездке в Америку было спонтанным и иррациональным.

Но в конце концов после долгих дискуссий Белый дом принял оптимальное решение. Какими бы мотивами Хрущев ни руководствовался, отправляясь в Нью-Йорк, он определенно начнет острые политические дебаты. Если Эйзенхауэр будет выступать где-то к концу сессии, ему, хочет он того или нет, а придется ввязаться в полемику с Хрущевым. Поэтому, пользуясь правом главы страны-хозяйки, он должен выступить в самом начале — при открытии сессии. Тем более что в ее работе будут участвовать свыше двадцати руководителей других государств — явление для ООН само по себе необычное — в том числе такие известные лидеры, как Джавахарлал Неру, Иосип Броз Тито, Гарольд Макмиллан и Абдель Насер.

Речь президента не содержала сенсаций и была выдержана в примирительных тонах. В общих чертах он поддержал деятельность войск ООН в Конго и объявил программу «Продовольствие для мира», которая предусматривала использование каналов ООН для передачи избытков продуктов из богатых стран в бедные.

На следующий день выступил советский премьер. Его речь даже по хрущевским стандартам «бури и натиска» была чересчур пламенной и агрессивной. В ней даже такие мирные предложения, как всеобщее разоружение, прозвучали прямой угрозой. Вместе с декларацией о ликвидации позорной системы колониализма они четко обозначили основные направления советских ударов по Западу и не могли восприниматься как позитивный вклад в созидательную работу ООН. Тем более что Хрущев потребовал снять генерального секретаря Хаммаршельда как «слугу монополистического капитала США». К всеобщему изумлению, он вообще потребовал упразднить этот пост, заменив изобретенной им «тройкой» — представителями от западных, социалистических и неприсоединившихся стран.

После Хрущева с разгромной антиамериканской речью на протяжении четырех с половиной часов выступал Фидель Кастро.

Эти два выступления задали конфронтационный тон всей сессии. Началась свара. Сам Хрущев активно в ней участвовал, аккуратно приходя практически на все заседания. Причем он не просто сидел в зале, а выступал по нескольку раз в день. Говорил страстно и пламенно, не заглядывая в написанные заранее тексты, а то и без текста, перемежая речь неожиданными задиристыми выпадами. Или начинал костить на чем свет стоит не понравившегося ему делегата, порой далеко не дипломатическими выражениями.

Председатель сессии Генеральной Ассамблеи ирландец Боланд не раз призывал его к порядку. Но Хрущев обращал на него не больше внимания, чем на назойливую муху. Это сердило спокойного и выдержанного ирландца. Однажды он с такой силой ударил по столу председательским молотком, что сломал рукоятку. Но Хрущев все равно продолжал говорить. Это походило

на плохо разыгранную комедию. Хрущев открывал рот, размахивая руками, но слов не было слышно — Боланд выключил микрофон.

Однако, и сидя в зале, Хрущев не мог спокойно слушать. Он постоянно подавал реплики, прерывал ораторов, делал им замечания. В общем, как на сессии Верховного Совета. Когда, например, британский премьер Макмиллан упомянул, что Хрущев сорвал парижский саммит, Никита Сергеевич тут же выкрикнул с места:

— Да, давайте поговорим о Пауэрсе! Не посылайте своих шпионских самолетов в нашу страну!

Несколько минут спустя, говоря о всеобщем и полном разоружении, Макмиллан сказал, что торопиться не следует — сперва нужно обсудить все проблемы разоружения и контроля в политическом и научном комитетах. Эти мысли Хрущев прокомментировал следующим образом:

— И вот этот научный комитет будет обсуждать, как лучше убить блоху: ноги ей вырвать или голову оторвать. Это, конечно, научная проблема, господа. Но это только для тех, кто не хочет разоружения.

Макмиллан реагировал на это в лучшей своей манере. Он просто молчал, когда Хрущев говорил, не спрашивая перевода реплик, а потом продолжал свою речь. Но многие делегаты, не оставаясь в долгу, также резко отвечали Хрущеву и кричали на него с места.

Обстановка накалилась до того, что лидеры пяти ведущих неприсоединившихся стран Нкрума, Неру, Тито, Насер и Сукарно внесли резолюцию, призывающую к встрече Хрущева и Эйзенхауэра с тем, чтобы поискать выход из создавшегося тупика.

Американцев эта резолюция ставила в дурацкое положение. Они правильно считали, что возможности договориться с Хрущевым нет. Поэтому если такая встреча состоится, то пропагандистские очки будет набирать Хрущев, выступая как авторитетный представитель коммунистического блока — ведь у сателлитов мнения не спрашивают. Эйзенхауэр же на такой встрече сможет говорить только от имени США, потому что остальной западный мир не давал ему полномочий выступать от его лица.

Однако новая встреча глав СССР и США не входила и в планы Хрущева. С Эйзенхауэром он не хотел иметь дела и уже брал курс на встречу с будущим президентом США.

Поэтому стараниями с обеих сторон резолюция нейтралов не прошла. США голосовали против, а Советский Союз воздержался.

Пиком разгоревшихся страстей на этой, пожалуй, самой горячей сессии в истории ООН явилась знаменитая история с ботинком. Начало ей положило обсуждение венгерского вопроса, который со времен советского вторжения в Венгрию в 1956 году регулярно вносился в повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Утром во время завтрака в советском представительстве Зорин, рассказывая о программе предстоящего дня, сказал, что Хрущева предупредят, когда в знак протеста надо будет встать и покинуть зал. Никита Сергеевич удивился:

— Покинуть зал, когда черт те кто будет поносить наших друзей, да еще отказаться от права на обструкцию?

И стал не без юмора рассказывать, как Бадаев, член большевистской фракции в царской думе, специально учился у петербургских мальчишек свистеть. В думе все большевики освистывали неудобных им ораторов, да так, что их речи было невозможно слушать.

И вот председательствовавший объявил о рассмотрении венгерского вопроса. Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления: «Советские не ушли». Тут-то и началось. Хрущев, пользуясь процедурными правилами и регламентом, вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, настаивал, чтобы ораторы предъявили мандаты членов делегаций.

Потом он выступил с речью, посвященной восстановлению законных прав КНР в ООН. Это было дежурное выступление, но Хрущев «завелся». Трудно сказать почему, но он недолюбливал испанского министра иностранных дел Фернандо Кастиелло. Впрочем, лучше послушать самого Никиту Сергеевича, который рассказал об этом так: «Перед нами сидела — такая уж выпала доля — испанская делегация. Я помню, что глава

этой делегации был уже немолодой человек с приличной лысиной, седой, худой, лицо сморщенное, нос вытянутый и лицо вытянутое. Лицо не плоское, а вытянутое вперед... А когда мы уезжали в Нью-Йорк, ко мне подошла Долорес Ибаррури\*, или, может быть, мы встретились на приеме — сейчас не помню. Она обратилась ко мне с просьбой: «Хорошо было бы, если бы вы выбрали какой-то момент и в реплике или в речи заклеили позором франкистский режим в Испании».

В общем, «мерзкий облик» испанского представителя и просьба испанских друзей соединились в голове Хрущева воедино, и он неожиданно для самого себя взорвался — оторвался от текста речи о восстановлении прав КНР в ООН и обрушился на генерала Франко. Он размахивал кулаками и бессвязно кричал, что в Испании воцарилась кровавая диктатура, что там рубят головы лучшим сынам испанского народа.

Председатель Боланд прервал его и призвал воздержаться от личных нападок на главу государства. Но это только раззадорило Хрущева. И он продолжал ругать на чем свет стоит Франко и его фашистский режим.

После этого, естественно, выступил испанский министр иностранных дел, который в сдержанных тонах ответил Хрущеву. Но советский премьер продолжал неистовствовать. То ли это действительно был неконтролируемый гнев, то ли актер, всегда сидевший в нем, переиграл, только он вскочил с места и начал выкрикивать ругательства в адрес испанского министра. Потом сел и начал азартно колотить по столу кулаком. Все члены советской делегации также стучали по столу. Их поддержали и некоторые делегации соцстран. Как на грех, с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок. Он был без шнурков, на растяжках, сшитый в родном совминовском ателье, и надевался на ногу, как галоша. Хрущев быстро скинул его, схватил и азартно начал стучать по столу.

Зал на мгновение оцепенел. Такого еще не случалось в ООН и вряд ли когда-нибудь еще случится. Громыко

---

\*Долорес Ибаррури — генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Испании.

сидел рядом с окаменевшим лицом, с поджатыми постарушечьи губами и методично стучал ребром ладони. Его оцепеневший взгляд был направлен куда-то вперед, вверх. Он старался сделать вид, что не замечает ботинка.

Зал наконец очнулся и разразился гулом возмущения. Испанский министр в это время закончил речь и направлялся к своему месту. Хрушев вскочил и, угрожающе размахивая кулаками, стремительно бросился к маленькому и шуплому Кастиелло. Испанец остановился, поднял кулачки и встал в позу боксера. Сцена была уморительная. Но зал не смеялся, глядя, как ооновская служба безопасности бросилась их разнимать.

В сообщении ТАСС об этом эпизоде, естественно, не было сказано и полслова. В советской печати сцена с башмаком сначала сконфуженно замалчивалась, а потом преподносилась как мастерский ход дипломатии нового типа — вот-де как нужно проводить в жизнь «классовый подход» и выражать презрение к «марионеткам американского империализма»...

Ну а на Западе открыто издевались над «башмачной дипломатией» Хрущева. Она лучше любого гневного разоблачения действовала против ее автора.

В Политическом комитете, когда Зорин стал уж слишком напирать на необходимость быстрее осуществления всеобщего разоружения, английский делегат Ормсби-Гор сказал:

— А почему бы нам не испробовать более радикальный путь: запретить все оружие, размер которого превышает башмак советского премьера.

Эта ирония, хотя и убийственная, едва ли могла остудить атмосферу горячей сессии. Раздраженный Эйзенхауэр сказал по телефону Гертеру, что собирается назвать Хрущева «убийцей Венгрии». По его мнению, советский премьер «пытается сеять хаос и смятение в мире, чтобы выяснить, какие страны поддаются его натиску, и собирается ловить рыбку в мутной воде». Вконец раздосадованный он заявил:

— Если бы я был диктатором, то прямо сейчас, пока Хрушев еще в Нью-Йорке, совершил нападение на Россию.

Но это были только сетования уже бессильного человека. В оставшиеся несколько месяцев перед выборами он был, как говорят американцы, «хромой уткой». К тому же провал парижского саммита и неуклюжая история с У-2 основательно подорвали его авторитет. Ему нечего было противопоставить хрущевским буре и натиску. Он не знал, как ответить Хрущеву. Не мог определиться, что предпринять в отношении Кастро. Его политика в Конго вконец запуталась. А тут еще президентская кампания у себя дома. Эйзенхауэр не испытывал никакого предвыборного энтузиазма, все политики от собственной республиканской партии не казались ему сколько-нибудь подходящими кандидатами. Он все время чего-то ждал, постепенно теряя контроль над ситуацией в стране и в мире.

Ранним утром или, наоборот, вечером, вернувшись из ООН, Хрущев, как правило, выходил на балкон изящного особняка на углу 68-й улицы и Парк-авеню, где находилось в те годы советское представительство ООН в Нью-Йорке. Он говорил, что коль скоро американские власти запретили ему выезжать за пределы Манхэттена, то хоть здесь, на балконе, они не могут запретить ему подышать свежим воздухом и посмотреть на живых американцев.

Внизу на тротуаре немедленно собирались репортеры, телеоператоры и толпа зевак. Никита Сергеевич только этого и ждал. Балкон был на втором этаже, и Хрущев без особого напряжения начинал импровизированную пресс-конференцию, а то и просто обменивался с прохожими репликами.

В отличие от ООН здесь его поведение было вполне приветливым. Он улыбался и отвечал на все, даже самые каверзные вопросы.

— Что вы можете сказать о своем пребывании в Америке? — кричали ему снизу.

— Мне не дают возможности увидеть Америку, — отвечал он, комично разводя руками. — Я нахожусь под домашним арестом и вынужден пользоваться этим балконом для прогулок.

— А вы слышите, как напротив девушки поют «Боже, храни Америку»? Что вы об этом думаете?

— Что ж, пусть поют. Мы тоже поем. Например, «Интернационал». Хорошо поем — «Вставай, проклятым заклеянный».

— А у вас народ выбирает правительство? Есть в Советском Союзе свобода выборов?

— У нас штанов нет. Все ходят без штанов. Бегите скорее и сообщите об этом.

— Как вы относитесь к тому, что один из членов экипажа «Балтики» сбежал в нью-йоркском порту и попросил в США убежища?

Хрущев чуть-чуть задумался — его об этом не предупредили, — но быстро сориентировался и, играя в простодушие, заметил:

— Что же этот молодой человек не обратился ко мне за советом и помощью? Я бы помог ему и советом, и деньгами. Ведь пропадет он тут у вас. Пропадет. А жаль...

Только однажды осерчал Никита Сергеевич, когда увидел, что по улице разъезжает автомобиль с антисоветским лозунгом. Налилось кровью лицо Хрущева, и, как тогда в ООН, он стал грозить кулаком. И тут корреспонденты не упустили своего шанса. На следующий день во всех газетах появился, пожалуй, самый разительный антисоветский плакат 60-х годов: Хрущев размахивает кулаком, его лицо искажено криком, вены на лбу вздулись, а внизу подпись: «Мы вас закопаем!»

Хрущев отбыл из Нью-Йорка 13 октября, чуть ли не месяц спустя после приезда. Одна американская газета поместила на первой полосе два фотоснимка. На одном из них грузный человек, взбирающийся по длиннющему трапу на борт Ту-114, на другом — вид зала Генассамблеи на следующее утро после отъезда Хрущева: кто-то выступает на трибуне и единственный делегат, дремлющий в кресле пустого зала.

Самая громкая сессия вернулась в свою обычную колею.

## БОМБА ПО ИМЕНИ «КУЗЬКИНА МАТЬ»

Прошли выборы, и президентом США стал молодой Джон Фицджералд Кеннеди.

Его первые шаги немало удивили Хрущева. Какое-то мельтешение, неуверенность чудились в его действиях: то просит чуть ли не униженно и сладкие слова о мире говорит, а то вдруг устраивает антикоммунистическую истерию.

Никита Сергеевич внимательно следил за этими шахраханиями Вашингтона. Даже свою излюбленную тактику изменил — теперь он молчал. Два месяца — февраль и март — в своих речах не трогал Америку. Но продолжал неуклонное политическое давление по всему фронту. Берлин, Куба, Конго, Индокитай стали районами прямого советско-американского противостояния. А на предложение Кеннеди о проведении встречи в верхах просто не ответил — молчал больше двух месяцев. Как будто ждал, что молодой президент совершит ошибку. И дождался.

На рассвете 15 апреля 1961 года шесть американских бомбардировщиков Б-26 с кубинскими опознавательными знаками нанесли удары по аэродромам на Кубе, уничтожив примерно половину всей авиации Фиделя Кастро. Тысячи кубинских эмигрантов, обученных и вооруженных в США, высадились на песчаных пляжах Залива свиней. Но на берегу их встретили не толпы восторженного народа, как значилось в американских планах, а танки и артиллерия Кастро. Напрасно они

ждали обещанного прикрытия с воздуха и моря. Генералы из Пентагона и разведчики из ЦРУ, запланировавшие эту операцию, умоляли президента отдать приказ о поддержке повстанцев огнем. Кеннеди был непреклонен — никакого вовлечения США быть не должно. Американские военные корабли только приблизились к острову и стали на якорь.

Это был смертный приговор плану Запада, как он значился в анналах ЦРУ. Без прикрытия с воздуха операция оказалась слишком слабой, чтобы рассчитывать на успех. Через несколько дней десант эмигрантов был разгромлен. Бывший президент Эйзенхауэр прямо спросил Кеннеди:

— Ради всего святого на земле, почему вы не использовали воздушное прикрытие?

Кеннеди ответил, что боялся, как бы русские не воспользовались этим, чтобы устроить Западу неприятности в Берлине. Отставной президент смерил его презрительным взглядом.

— В действительности, — сказал он, — все может произойти с точностью до наоборот. Советы всегда действуют по собственным планам, и, если видят, что мы проявляем слабость, они начинают оказывать на нас сильное давление. Неудачи в Заливе свиной побудят Советский Союз предпринять то, что при других обстоятельствах он бы не сделал.

Что ж, в данном случае Эйзенхауэр был на сто процентов прав. 12 мая Хрущев ответил согласием на предложение американского президента встретиться в Вене. Но теперь встреча в верхах Кеннеди была совсем не нужна. Униженный поражением на Кубе, боясь кризиса в Берлине, не имея четких ориентиров в политике, — с чем он мог прийти на венскую встречу? С предложением заключить договор о запрещении ядерных испытаний? Но даже в этом вопросе переговоры в Женеве давно уже зашли в тупик.

Встреча в австрийской столице, состоявшаяся в начале июня, подтвердила самые пессимистичные прогнозы. Два дня черные лимузины сновали от американского посольства к советскому под восторженные приветствия добродушных венцев. Но на переговорах обста-

новка была мрачной. Хрущев напористо, порой грубо, требовал заключить германский мирный договор, ухода западных войск из Западного Берлина и превращения его в вольный город. Кеннеди в ответ расписывал прелести прекращения ядерных взрывов. Встреча окончилась ничем.

Но она развязала руки Хрущеву. Более того, она разбудила в нем самые низменные, жестокие инстинкты первобытного человека при виде загнанного в ловушку зверя. В своем окружении он высказывал убеждение в том, что новый американский президент — человек слабый, неуверенный в себе и к тому же плохо ориентирующийся в международных делах. Поэтому на него надо давить, чем злее и грубее, тем лучше.

Его соратники по партии, руководство военных и КГБ вовсе и не думали сдерживать зарвавшегося вождя. Наоборот, они всячески подыгрывали ему и поощряли на принятие самых крайних решений. Посол Меншиков, хорошо ориентировавшийся в сложных хитросплетениях кремлевской политики, писал, например, 11 июля о своей встрече с братом президента Робертом Кеннеди, в ходе которой они сцепились по германскому вопросу: «Поражает тупость, скудоумие, неспособность привести ни одного довода или аргумента в защиту своей позиции... И это правая рука президента. Думаю, что эти новые американские «вожди» петушатся, пока еще есть время. А когда дело будет подходить к решительному моменту, они первыми наложат в штаны».

И это была не статья в «Литературной газете», а оценки, рекомендации советского посла в Вашингтоне. А Громыко? Он, как всегда, оставался верен своему принципу брать сторону сильного. А потому если и не подстрекал Хрущева, то и не останавливал его, не предупреждал об опасных последствиях нового курса. Он просто молчал.

8 июля с подачи Министерства обороны, КГБ и отделов ЦК было объявлено об отмене прежнего решения о сокращении Вооруженных Сил Советского Союза на один миллион двести тысяч человек, которое с таким трудом пробивал Хрущев после своего возвращения из

Кэмп-Дэвида. С его попытками хоть немного обуздать военно-промышленный комплекс и сократить военные расходы было покончено. Военный бюджет вырос на одну треть.

Кеннеди не заставил себя ждать. Совет национальной безопасности объявил о повышении боеготовности вооруженных сил США. Шесть дивизий приготовились к броску в Европу. Военный бюджет увеличивался на три с половиной миллиардов долларов.

Это был тот самый шаг, в котором нуждался Хрущев. Как раз в эти дни он готовил акцию в Берлине. Но совсем не ту, которую ожидали на Западе. Утром 14 августа там начали возводить берлинскую стену...

В общем, колесо событий неумолимо покатилося к военному кризису.

Утром 4 июля 1961 года в комнату № 1001 высотного здания на Смоленской площади позвонил К. В. Новиков. Он велел двум молодым сотрудникам своего отдела немедленно спуститься на седьмой этаж в секретариат Громыко:

— Быстро! Одна нога здесь — другая там. Министр ждет.

Вызов к министру и разговор с ним в те годы всегда был чреват неприятностями. С самого верха шла манера орать на подчиненных, и нередко Громыко возвращался из Кремля разгневанный и, получив там втык, в свою очередь срывал злость на том, кто попадал под руку.

На этот раз вроде бы пронесло. Помощник открыл отделанную под орех дверь, ведущую в кабинет. В конце его стоял огромный стол, к которому был приставлен маленький столик под зеленым сукном и два кресла. Поэтому если приглашенных было более двух, то тем, кто чином пониже, приходилось приносить стулья. Громыко пошевелил губами и голосом без выражения сказал:

— Вот, познакомьтесь.

Это была справка, подготовленная Минобороны и Минсредмашем, в которой излагалась необходимость проведения срочных испытаний боеголовок для новых межконтинентальных ракет Р-9 Королева и Р-16 Янге-

ля, а также мощной европейской ракеты Р-14 с дальностью полетов 4500 километров, то есть в пределах Европы. Упоминались боезаряды и для других ракет — крылатых и тактических. Неожиданно резанула глаз необычайная мощность ядерных боезарядов — 30, 50 и 100 мегатонн. И краткий вывод в конце: отказ от их испытаний нанесет непоправимый ущерб безопасности Советского Союза. Внизу две подписи: Малиновский, Славский.

«Вот это да, — переглянулись между собой дипломаты, — американцам такое и не снилось! Прощай теперь договор — уломали-таки военные Хрущева!»

В МИДе хорошо знали, что военные и ядерщики давно требуют проведения испытаний. Еще в марте генерал А. И. Устюменко, отвечавший в Минобороны за ядерные испытания и потому не раз выезжавший на женевские переговоры, сказал своим мидовским коллегам:

— Вы, ребята, поаккуратней с этой борьбой за мир. Мы на Новой Земле уже полигон готовим — рвать будем.

Хороший был человек Устюменко. Но ему тогда не поверили — военный все-таки, со своего угла узко на большую политику смотрит. Но теперь и Громыко подтверждает:

— Никита Сергеевич дал указание подготовить записку в ЦК о проведении испытаний ядерного оружия.

— А как быть с мораторием? Ведь мы его добивались, и два года американцы и англичане взрывов не производят, — спросил один из молодых дипломатов.

— Не будьте наивным ребенком, идите и пишите Записку в ЦК.

Задание казалось простым, хотя и неприятным. Собственно говоря, надо было написать три документа:

Записку в ЦК КПСС с изложением причин, побудивших Советский Союз начать испытания;

Постановление ЦК КПСС, которое одобряло бы соображения, изложенные в Записке, и поручало Минобороны и Минсредмашу подготовить и провести ядерные взрывы;

Заявление Советского правительства, объяснявшее народам мира эту советскую акцию.

Самыми трудными были первый и третий документы. Но молодые дипломаты решили не мудрствовать лукаво, а при написании Записки в ЦК взять за основу справку двух министров — Славского и Малиновского, тем более что ее одобрил сам Хрущев. Справка была у них под рукой, ее сократили немного, убрав конкретику, но подчеркнули, что в Советском Союзе разработаны новые эффективные виды ядерного оружия, которые требуют срочной проверки. Далее шла хвалебная характеристика этому оружию и делался вывод, что в интересах обеспечения безопасности Советского Союза надо возобновить ядерные взрывы. Реакция Запада на это нарушение моратория будет, естественно, негативной, и, очевидно, в ответ они также проведут испытания.

Через два часа проекты всех документов были на столе у Новикова. Он прочитал, поворчал что-то насчет того, что в его время так не размазывали, короче надо писать — просто и ясно: народ лучше поймет. Но особо править не стал. В общем, в таком виде документы послали Громыко.

Только-только вернулись творцы этой злополучной бумаги в свою любимую 1001-ю комнату и стали рассказывать раскрывшим от изумления рты товарищам о грядущих переменах, — ну полчаса не прошло, — как затрезвонили разом оба телефона в комнате. Звонили помощники Громыко:

— Авторы — на ковер! — И вполголоса добавили: — Очень сердится.

Громыко действительно рассвирепел. Редко можно было видеть его в таком состоянии. Он стоял посреди кабинета с красным, перекошенным гримасой лицом и размахивал над головой подготовленным документом.

— Вы чем думали, — орал он, — когда писали вот это?! Вы воображаете, что вы тут написали? Ну, ладно, эти — еще юнцы зеленые, а вы, Новиков, куда смотрели? Что, уже мышей ловить перестали? Простых вещей не понимаете? Ведь это же исторический документ! Пройдет тридцать лет. Откроют архив. Туда при-

дут историки. И что они прочтут? Что Советский Союз был инициатором гонки вооружений? Что он нарушил мораторий и первым начал ядерные испытания? Это вы хотите сказать, недоумки несчастные?!

Три дипломата молча стояли, понутив головы. А Громыко продолжал бушевать:

— Вы что, не умеете простой Записки в ЦК написать? Дожили! В Африке вам даже работу третьего секретаря доверить нельзя. Пишите!

И начал диктовать:

— По информации, полученной из различных источников, американские империалисты тайно готовятся к проведению мощной серии ядерных испытаний с целью отработки и создания новых современных систем оружия массового уничтожения. Подчеркните, что милитаристские круги США давно уже носятся с идеей создания нейтронной бомбы. А на женевских переговорах хотят выторговать для себя право проводить ядерные взрывы под землей.

— Еще лучше, — немного подумав, продолжил он, — начать с общей оценки международной обстановки. Скажем, так: народы мира являются сейчас свидетелями возрастающей агрессивности политики США, которые вовсю раскручивают маховик своей военной машины. Дело дошло до того, что они прибегают к угрозам развязать войну в ответ на заключение мирного договора с Германией. Такой заход нужен. Их эквилибристику на женевских переговорах поподробнее расписать. А потом уже сказать — перед лицом этих фактов Советское правительство считает себя обязанным принять необходимые меры, чтобы Советский Союз был в полной готовности обезвредить любого агрессора, если бы он попытался совершить нападение. — И закончил: — Вот так надо писать. Идите и работайте.

Тут надо бы добавить, что записывать за Андреем Андреевичем приходилось слово в слово. Память у него была цепкая и, не дай Бог, чего упустить — полетят головы.

Через день, 6 июля, Новиков направил министру полностью переработанные в соответствии с его задик-

товкой проекты Записки в ЦК и Декларации Советского правительства. Там все еще оставалась фраза о том, что в Советском Союзе разработан ряд новых ядерных устройств, которые требуют практической проверки. Такая проверка должна быть проведена безотлагательно.

Громыко чуть-чуть подправил документы, «порисовал», как он любил говорить, и отправил заинтересованным ведомствам — в Министерство обороны и Министерство среднего машиностроения. Там они надолго застряли.

А тем временем Хрущев собрал в Кремле совещание ученых-ядерщиков, военных, работников ВПК, чтобы обсудить с ними решение о начале ядерных взрывов. «Тайная вечеря», как ее назвал академик Федоров.

К этому времени логика противостояния уже привела Хрущева к принятию такого решения. Ему была нужна поддержка ученых. И он был в ней уверен. Тем более что взгляды их к тому времени существенно изменились. Если в 1958 году они довольно дружно выступали за прекращение ядерных взрывов, то два года спустя слышнее стали голоса тех, кто требовал возобновить ядерные испытания. Лейтмотив был узкопрофессиональным — время уходит, а с ним устаревают разработанные ими образцы нового оружия. Сами ученые и их труды становятся никому не нужными.

Поэтому заявление Хрущева о начале испытаний возражений с их стороны действительно не встретило. Наоборот, все выступавшие говорили о новом мудром шаге советского руководства. И только академик Андрей Сахаров прислал в Президиум неприятную записку: «Товарищу Н. С. Хрущеву. Я убежден, что возобновление испытаний сейчас нецелесообразно с точки зрения сравнительного усиления СССР и США. Сейчас после наших спутников они могут воспользоваться испытаниями для того, чтобы их изделия соответствовали бы более высоким требованиям. Они раньше нас недооценивали, а мы исходили из реальной ситуации. Не считаете ли Вы, что возобновление испытаний нанесет трудно исправимый ущерб переговорам о прекращении испытаний, всему делу разоружения и обеспечения мира во всем мире? А. Сахаров».

Никита Сергеевич прочел записку, сложил ее вчетверо и, бросив на Сахарова неприязненный взгляд, засунул в карман костюма. Когда закончились выступления, он встал, поблагодарил всех выступавших, а потом сказал:

— Теперь все мы можем отдохнуть, а через час приглашаю от имени Президиума и ЦК наших дорогих гостей отобедать. В соседнем зале нам пока готовят, что надо.

Через час ученые вошли в зал, где был накрыт большой парадный стол человек на шестьдесят — с вином, минеральной водой, салатами и икрой. Члены Президиума вошли в зал последними. После того как ученые расселись по указанным заранее местам, Хрущев выждал, когда все затихли, и взял в руку бокал с вином, собираясь произнести тост. Но тут же поставил бокал и стал говорить о записке Сахарова — сначала спокойно, а потом все более и более возбужденно.

— Я получил записку от академика Сахарова — вот она. Сахаров пишет, что испытания нам не нужны. Но вот у меня справка, сколько взрывов сделали мы и сколько американцы. Неужели Сахаров может нам доказать, что, проведя меньше испытаний, мы получили больше ценных сведений, чем американцы? Что, они глупее нас? Но Сахаров идет дальше. От техники он переходит к политике. Тут он лезет не в свое дело. Так что предоставьте нам, волей и неволей специалистам в этом деле, делать политику, а вы делайте и испытывайте свои бомбы. Тут мы вам мешать не будем, а даже поможем. Но вы должны понять, что мы просто обязаны вести политику с позиции силы. Мы не говорим этого вслух, но это так! Другой политики, другого языка наши противники не понимают. Я был бы последний слюнтяй, а не Председатель Совета Министров, если бы слушал таких, как Сахаров!

Этот монолог продолжался около получаса. Но на самой резкой ноте Хрущев оборвал себя, сказав:

— Может быть, на сегодня хватит. Давайте же выпьем за наши будущие успехи. Я бы выпил и за ваше, дорогие товарищи, здоровье. Жаль только, врачи мне ничего, кроме боржома, не разрешают.

Все выпили.

Только 27 июля Министерство среднего машиностроения вернуло наконец «бумагу» обратно в МИД вместе со своими замечаниями. Как ни странно, поправок было немного и все не по существу, а так, больше по стилю. Но вот все ссылки на необходимость испытаний новых образцов ядерного оружия в Советском Союзе были полностью сняты.

Теперь дело стало за военными. Правка у них была небольшая. Наконец 5 августа — месяц спустя после первого хрущевского импульса — в ЦК ушла Записка за подписью Громыко, заместителя министра среднего машиностроения Чурина и заместителя министра обороны Гречко.

Что задержало ее? Ведь указание шло от самого Хрущева. Прошел слух, что некоторые ученые все же обратились в ЦК с просьбой не возобновлять испытаний. Но В. С. Емельянов, председатель Комитета по использованию ядерной энергии, просто пожал плечами:

— Ходил Юлий Борисович Харитон к Брежневу. Говорил что-то несвязное. Но ведь Брежнев таких вопросов не решает, да и не может решить. Просто мы со Средмашем готовили под это Постановление ЦК развернутое Постановление Совмина, кому что делать конкретно. А вы не волнуйтесь, изделия на полигоне у нас уже готовы к испытаниям. Мы времени не теряли и начали работу сразу же после возвращения Никиты Сергеевича из Нью-Йорка, еще в прошлом году.

— А он знал об это?

— Конечно знал. Малиновский и Славский ему еще тогда докладывали.

— А Громыко знал?

— Вот это мне неизвестно.

Злополучная «бумага» легла на стол Хрущеву, помощники, видимо, ждали ее, а потому не отложили, не поставили в очередь, а сразу доложили. Никита Сергеевич сидел у себя в кремлевском кабинете, развалившись в кресле, а помощники читали ему вслух творение трех министров. Текст ему явно не понравился, и он сразу же стал делать замечания. И, как обычно, все более распалялся:

— А вообще, все по-семинарски написано, неудачно. Это язык бурсы. Мы не ноту для канцелярских крыс пишем, а обращение к народам мира.

И стал заново диктовать весь текст. Получилась огромная задиктовка на девятнадцати страницах. Новых мыслей там не появилось, а вот ругательств и колкостей добавилось изрядно.

Пришлось все начинать сызнова. Опять в 1001-й комнате сели переводить задиктовку на нормальный человеческий язык. Потом она попала к заведующему отделом К. В. Новикову, от него — к Громыко, от Громыко — к Славскому и Малиновскому.

Только 16 августа Андрей Андреевич направил в ЦК следующую Записку: «ЦК КПСС. В соответствии с поручением МИД СССР представляет проект Заявления Советского правительства по вопросу об испытаниях ядерного оружия. Заявление подготовлено на основании текста задиктовки Н. С. Хрущева. А. Громыко».

Но и новый проект Заявления вызвал замечания Хрущева. Поэтому 19 августа Громыко представил в ЦК еще один, на этот раз уже окончательный текст. Он был принят Президиумом без обсуждения 23 августа 1961 года. В нем содержался новый пункт: «Опубликовать в печати за 1-2 дня перед проведением испытаний».

Заявление Советского правительства было опубликовано 31 августа 1961 года.

А что американцы? Кеннеди пришел к выводу, что проблема запрещения ядерных испытаний более других созрела для решения. Поэтому и выдвигал ее на первый план для переговоров с Хрущевым, хотя Москва четко обозначила свои приоритеты — германский мирный договор и Западный Берлин.

В результате объединенная группа начальников штабов предложила начать испытания, если в ближайшие шестьдесят дней на переговорах в Женеве не будет достигнут прогресс. В пользу возобновления испытаний выступили влиятельные силы в конгрессе, да и в общественном мнении произошел определенный поворот в пользу ужесточения политики в отношении СССР.

Тем не менее Кеннеди довольно ловко противостоял этому давлению, хотя на венской встрече ему так и не

удалось склонить Хрущева к заключению соглашения. Чтобы успокоить своих критиков, Кеннеди образовал специальную рабочую группу из одиннадцати ведущих американских ученых во главе с В. Пановски для того, чтобы заново рассмотреть технические вопросы, относящиеся к обнаружению подземных взрывов. Они должны были ответить на такой каверзный вопрос — может ли Советский Союз, пользуясь мораторием, тайно проводить ядерные испытания?

Группа завершила свою работу только к началу августа. Разумеется, за это время никаких решений относительно возобновления испытаний ядерного оружия не принималось. Равно как и не проводилось какой-либо подготовки к их проведению.

Между тем ученые так и не смогли четко ответить на поставленные вопросы. Существовала все та же фатальная неопределенность — теоретически, считали они, Советский Союз может тайно проводить ядерные взрывы во время моратория. Но вот проводил он их или нет, они сказать не могли.

Это было в середине августа 1961 года. До возобновления испытаний Советским Союзом оставалось две недели. Но в Вашингтоне, очевидно, даже не подозревали об этом, хотя специальный помощник президента США по вопросам разоружения Маклой сигнализировал из Москвы в конце июля, что Хрущев сказал ему в Пицунде о том, что ученые и военные требуют от него провести испытания 100-мегатонной бомбы... В Вашингтоне этому сообщению не придали особого значения, считая, что Хрущев опять блефует.

Первый взрыв не заставил себя ждать. 1 сентября небо над Семипалатинским полигоном прорезал неземной, ослепительно яркий свет. Это была взорвана боеголовка для новой межконтинентальной ракеты Янгеля Р-16. Через несколько секунд гигантский огненный шар стал медленно подниматься над пустыней, меняя цвет и сплющиваясь под воздействием отраженной от земли ударной волны. Как гигантская воронка, он начал всасывать в себя воздух и землю, превращаясь в хорошо известный зловещий гриб.

На обозрение этого чудовищного зрелища ушло при-

мерно сорок секунд. Потом все, кто наблюдал за взрывом, бросились в окоп, чтобы укрыться от приближающейся мощной взрывной волны.

Это было только началом. С сентября по декабрь 1961 года в Советском Союзе было взорвано атомных и водородных бомб больше, чем за все предыдущие годы. Гвоздем программы стал обещанный Хрущевым подарок: взрыв 50-мегатонной бомбы — самой мощной из когда-либо произведенных человеком.

Собирали ее в Арзамасе-16 в специальном помещении, прямо на железнодорожной платформе. Была эта бомба размером с троллейбус, огромная и неуклюжая. Когда работа над ней закончилась, стены помещения разобрали и поезд повез ее на аэродром.

Каких только прозвищ ей не давали. А арзамасские острословы окрестили ее «Кузькиной матерью». Очевидно, из особой привязанности Хрущева к этому живописному обороту речи, который он неоднократно применял в своих выступлениях и частных беседах.

Широко была известна история, когда он ошарашил этим словосочетанием вице-президента Никсона во время приезда того в Москву на открытие американской выставки. Хрущев обвинил Никсона в том, что тот привез выставку-показуху в надежде, что советские люди будут охать и ахать над всем этим «хламом». Разгорелся спор, чья страна сильнее.

— На угрозу мы ответим угрозой, — кричал Никита Сергеевич. — В нашем распоряжении есть средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия.

— У нас тоже имеются такие средства, — парировал Никсон.

— А наши лучше, — не унимался Хрущев. — Да! Да! Да! Мы вам еще покажем кузькину мать!

На этой последней фразе Александр Акаловский, переводчик Никсона, блестяще владевший русским языком, споткнулся: «кузькина мать»? На ум никакого английского аналога не приходило, а времени на раздумья у него не было ни секунды — оба, Никсон и Хрущев, смотрели на него в упор, начиная терять терпение. И тогда Акаловский, не найдя ничего лучшего, пере-

вел эту фразу дословно. В английском переводе это прозвучало так: «Мы вам еще покажем мать Кузьмы!»

Американцы были ошарашены: что это? Новое оружие, еще более грозное, чем ракетно-ядерное?

Александр Акаловский долго убеждал вице-президента, что речь шла вовсе не об оружии, что это специфическое русское выражение, попросту говоря — идиома, которую никак нельзя перевести на английский язык.

Эта анекдотическая история стала широко известна, и над ней немало потешались во всем мире.

А еще эту бомбу-монстра именовали «политической», потому что с военной точки зрения она была бессмысленна, ведь межконтинентальной ракеты, которая смогла бы поднять ее в воздух, у Советского Союза в те годы еще не было. И выходит — рвали ее просто так, чтобы попутать белый свет.

Огромный Ту-95 ждал свою ношу в дальнем углу северного сектора аэродрома. И самолет этот тоже был необычный, специальный. Не только корпус его, но и лопасти винтов были выкрашены ослепительно белой краской — для отражения светового излучения при взрыве. «Ну прямо невеста под фатой!» — шутили ученые.

Но даже в его огромное чрево атомное чудище не влезло. Бомбу прикрепили к корпусу самолета буквально «за уши». Теперь «невеста» была готова к вылету — она должна пересечь Баренцево море, взять курс на полигон Новая Земля и сбросить бомбу над ним. Рядом готовился к вылету другой белоснежный красавец, превращенный в исследовательскую лабораторию.

«Свадьба» произошла 30 октября 1961 года. Новую Землю потом трясло еще трое суток. А самолет, несмотря на специальную белую окраску, сильно обгорел. Досталось и экипажу, хотя все летчики остались живы и получили награды.

Когда подсчитали, оказалось, что мощность взрыва равнялась 57 мегатоннам. Однако американский физик Ганс Бете, проанализировав продукты распада, пришел к выводу, что, если бы расщепляющийся матери-

ал был помещен в свинцовый или урановый контейнер, мощность взрыва достигла бы 100 мегатонн.

На следующий день, закрывая XXII съезд КПСС, Никита Сергеевич произнес свои знаменитые слова:

— Наши цели ясны. Задачи определены. За работу, товарищи! За победу коммунизма!

Все, что было потом, — хорошо известно. Кубинский или, как его чаще у нас называют, Карибский кризис. Руки — на ядерных кнопках. Москва и Вашингтон, застывшие от ужаса. Мир на самом краю бездны ядерного уничтожения.

Потом — стремительный бросок назад от этой бездны. И — вперед, навстречу друг другу. Лихорадочная установка линии «горячей связи» между Кремлем и Белым домом. Заключение договора о запрещении ядерных испытаний. Переговоры о нераспространении оружия массового уничтожения...

Большого сделать тогда не успели. Кеннеди был убит выстрелом в Далласе, а вскоре и Хрущев отстранен от власти и отправлен на пенсию.

Россия почти на двадцать лет погрузилась в топкое болото застоя.

... Много лет спустя мы бродили по лесу вдоль бесчисленных озер в окрестностях Стокгольма с профессором Корнельского университета Недом Лебоу и обсуждали события того далекого времени. Много загадок таит оно. Алогичен весь ход противоречивой истории тех лет.

— А что, если, — предположил Нед Лебоу, — Кеннеди и Хрущев на самом деле сговорились в Вене тайно от всех, даже от своих самых близких советников? Ведь есть же у вас в советском посольстве в Вене какой-нибудь двор?

— Есть, — ответил я, вспоминая маленький дворик, прилегающий к узорчатой православной церкви на Резнер-штрассе.

— Ну вот, пошли они погулять по этому дворику вдвоем и стали жаловаться друг другу, мол, жизни нет от военно-промышленного комплекса. Мы бы рады договориться о разоружении, но не позволяют военные, ни ваши, ни наши. Как бы их обуздать? И договорились. Давай устроим кризис, да такой, чтобы весь мир ахнул от ужаса и заткнул военным глотки. Ты, Никита, размещаешь вроде бы тайно от меня ракеты на Кубе. Я узнаю об этом и объявляю, что готов нанести по ним удар. Ты отвечаешь готовностью начать ядерную войну. Но оба мы знаем, что это лишь розыгрыш. Мы доводим дело до критической точки, понимая, что ни ты, ни я не перейдем через грань, за которой уже на-

стоящая война. Весь мир в ужасе. Народы рыдают. Но мы в последнюю минуту находим разумный выход: ты убираешь ракеты с Кубы, а я — из Турции. Все ликует, военным заткнули рот, и мы начинаем вместе возводить основание для наших новых отношений. Без угроз и без оружия. — И помолчав недолго, наблюдая за пролетающими над озером лебедями, добавил: — Не правда ли, вот теперь концы с концами сходятся?

Я согласился с Недом, и мы дружно рассмеялись. Красивая получилась история. Чем не сюжет для фантастического детективного романа?

Хотя по логике здравого смысла это было бы, пожалуй, лучшим из всех возможных вариантов. Ибо от него выиграли бы все, и на Востоке, и на Западе.

... Убежден, что сам Хрущев на своей подмосковной даче не раз прокручивал в мыслях перипетии тех лет. Вспоминал тот злополучный день 7 апреля 1960 года, когда в Ореховой комнате Кремля поддался нажиму своих горе-соратников и отказался от политики разрядки.

Мог ли он тогда поступить иначе и пойти им наперекор, настоять на продолжении курса Кэмп-Дэвида, которому искренне был в тот момент привержен? Пожалуй, нет. Он позволил им себя убедить, потому что сам не был окончательно убежден в своей правоте. Марксизм, который он изучал не по Марксу, а по Сталину, прочно укоренился в его подкорке, и внутренний голос ему постоянно твердил, что империалистам верить нельзя, это волки, которые время от времени облачаются в овечью шкуру.

В своей двойственной политике Хрущев постоянно оглядывался назад, его постоянно мучили сомнения, а верно ли он сделал, открыв в стране эпоху «оттепели», как назвал ее Илья Эренбург? Не задушит ли джинн, выпущенный из бутылки, само социалистическое общество? «Мы были напуганы, — читаем в его воспоминаниях, — действительно напуганы. Мы боялись, что оттепель вызовет наводнение, которое не будем в состоянии контролировать и которое смоеет, затопит нас... Оно выйдет из русла берегов советской реки и образует приливную волну, которая смоеет все барьеры и подпорные стены нашего общества».

К тому же, чего греха таить, очень Никита Сергеевич любил власть, пусть еще хотя бы на несколько лет хотел продлить ее, а потому и не решался на слишком рискованное сопротивление ястребам из своего кремлевского окружения. Шел на компромиссы, которые в конечном счете не могли не обернуться поражением.

Не была готова в то время к восприятию общечеловеческого мышления и Америка. И было от чего: человека, который искренне протягивал ей руку, она воспринимала как могильщика, который хочет ее закопать, пропаганда усиленно поддерживала в американцах это убеждение.

Бывали отдельные проблески озарения у Эйзенхауэра, который, как и Хрущев, тоже искренне желал разрядить международную напряженность, пытался освободить мир от страха. Но, не будучи по природе бойцом, а главное, не чувствуя поддержки со стороны своей команды, он в политике нередко действовал, подыгрывая недругам Хрущева из партийной верхушки, армии и КГБ.

В этом ряду история с самолетом-шпионом У-2, которая им обоим подрезала крылья, была особенно неприятна. Хотя, конечно, и не сыграла решающей роли в дальнейшем развитии событий.

Понадобились еще десятилетия жестокой конфронтации и застоя, чтобы люди по ту и другую сторону осознали, что дальше так жить нельзя.

**Олег Александрович ГРИНЕВСКИЙ**  
**ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА**

Редактор *Э.М. Розенталь*  
Младший редактор *Е.А. Моргунова*  
Художественный редактор *О.Г. Дмитриева*  
Технолог *М.С. Белоусова*  
Оператор компьютерной верстки *И.В. Соколова*  
Зав. корректорской *А.Ю. Минаева*  
Зам. зав. корректорской *Н.Ш. Таласбаева*  
Корректоры *В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский*  
OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа

Издательская лицензия № 101053 от 4 апреля 1997 года.  
Подписано в печать 17.10.97. Формат 84 × 108/32.  
Гарнитура Таймс. Печать высокая.  
Объем 23 печ. л. Тираж 15 000 экз.  
Изд. № 494. Заказ № 638.

Издательство «ВАГРИУС»  
103064, Москва, ул. Казакова, 18  
Интернет/Home page — <http://www.vagrius.com>  
Электронная почта (E-Mail) — [vagrius@mail.sitek.ru](mailto:vagrius@mail.sitek.ru)

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Государственном ордена Октябрьской Революции,  
ордена Трудового Красного Знамени  
Московском предприятии  
«Первая Образцовая типография»  
Государственного комитета РФ по печати.  
113054, Москва, Валовая, 28.

